

29 175

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА  
ПРИ СОДЕЙСТВИИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ФИЛОСОФСКАГО ОБЩЕСТВА.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ  
и  
ПСИХОЛОГИИ.

ЖУРНАЛЪ,

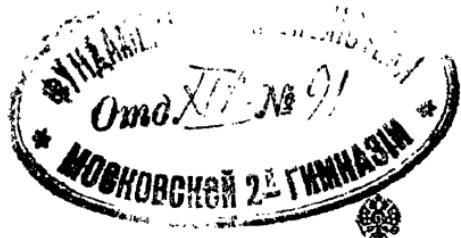
основанный проф. Н. Я. Громомъ и А. А. Абрикосовымъ.

ГОДЪ XXI.

Подъ редакціей Л. М. Лопатина.

Книга V (105).

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ.—1910 г.



МОСКВА.

Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко.

Пименовская ул., соб. домъ.

Библиотека "Руниверс"



# СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Cmp.</i>
<b>Отъ редакціі . . . . .</b>	V.
Памяти Вл. С. Соловьева. <b>Л. Лопатина . . . . .</b>	625
Владимір Соловьевъ и его дѣло. <b>Кн. Евгенія Трубецкого . . . . .</b>	637
Природа въ философіи Вл. Соловьева. <b>С. Булгакова . . . . .</b>	661
Джемсъ, какъ религіозный мыслитель. <b>С. Котляревскаго . . . . .</b>	697
Н. И. Пироговъ, какъ типъ русскаго. <b>В. Чижъ . . . . .</b>	720
Этика Д. Юма. Краткія критическія замѣчанія. <b>Н. Виноградова . . . . .</b>	746
<hr/>	
Гносеологическая проблема. (Къ критикѣ критицизма). <b>Н. Бердяева . . . . .</b>	281
Природа философскаго сомнѣнія. <b>В. Эрна . . . . .</b>	309
<hr/>	
<b>Критика и библіографія.</b>	
I. Обзоръ книгъ.	
St. v. <b>Dunin-Borkowski.</b> S. J. Der junge De-Spinozas Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie. Münster i. W. Aschendorff. 1910. Mit zwei Vierfarbendruken, dreizehn Autotypien und sieben Faksimiles. XXIII+633. <b>В. Половцовъ . . . . .</b>	325
I. B. <b>Séverac.</b> „Vladimir Soloviev“. Introduction et choix de textes traduits pour la première fois par—Docteur ès Lettres, professeur de philosophie. Paris. 1910. <b>В. Шилкарекаго . . . . .</b>	333
II. Библіографическій листокъ . . . . .	337
<b>Ізвѣстія и замѣтки. . . . .</b>	340
<b>Полемика.</b>	
Отвѣтъ проф. Новгородцеву. <b>В. Савальского . . . . .</b>	341
Г. Савальскій о самомъ себѣ и о другихъ. <b>П. Новгородцева . . . . .</b>	382
<b>Матеріалы для журнальной статистики . . . . .</b>	390
<b>Объявленія.</b>	



Надъ свѣжей могилой Л. Н. Толстого нѣтъ мѣста для критического анализа. Русское общество еще не пережило этого событія, намъ еще трудно оцѣнить истинные размѣры постигшей насъ національной утраты, истинное значеніе того духовнаго наслѣдія, которое мы получили. Сейчасть мы еще чувствуемъ болѣе инстинктомъ, чѣмъ разсудкомъ, но чувствуемъ какъ непреложную истину, какая большая пустота съ уходомъ изъ жизни Толстого осталась въ современной культурѣ—не только Россіи, но и всего человѣчества—несмотря на все богатство, многообразіе и многогранность этой культуры. Кончина Л. Н. Толстого есть величайшее опроверженіе того взгляда на человѣческую жизнь, который въ безличныхъ стихіяхъ исторіи стремится растворить свободную и живую человѣческую личность.

И въ русскомъ философскомъ сознаніи Л. Н. Толстой оставляетъ неизгладимый слѣдъ. Мы имѣемъ въ виду здѣсь не его непосредственныхъ послѣдователей. Величие усопшаго

и выражалось въ томъ, насколько плоды его духовнаго творчества мало соотвѣтствовали какой-нибудь сектантской замкнутости. Русская философская наука обязана Толстому прежде всего несравненнымъ по глубинѣ проникновеніемъ въ душевную жизнь отдѣльного человѣка, общественныхъ союзовъ и народныхъ массъ и творческому возсозданію этой жизни. Она обязана ему и постановкой тѣхъ великихъ, при всей кажущейся простотѣ и элементарности, нравственныхъ вопросовъ, о которыхъ такъ склонна забывать всякая схоластика, не способная выйти за предѣлы логического формализма. Она обязана, наконецъ, ему единымъ живымъ примѣромъ творческой геніальности. И если критическая оцѣнка того, что во всѣхъ этихъ направлѣніяхъ совершено Толстымъ, должна быть отложена, тѣмъ сильнѣе потребность всѣмъ, для кого философская мысль и философское образованіе — есть жизненное дѣло, вмѣстѣ со всей Россіи склониться,—склониться передъ незабвенной могилой.

## Памяти Вл. С. Соловьева.<sup>1)</sup>

Десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ умеръ Вл. С. Соловьевъ, а если имѣть въ виду, какъ много испытаній, увлеченій и страшныхъ разочарованій пережито русскимъ обществомъ за эти десять лѣтъ, періодъ, отдѣляющій насъ отъ послѣднихъ дней жизни Соловьева, невольно долженъ показаться еще гораздо болѣе длиннымъ. Во многихъ отношеніяхъ мы неизнаваемо измѣнились съ тѣхъ поръ, и въ мѣру этой перемѣны отодвинулось отъ насъ то, что занимало и волновало насъ въ годы вдохновенной дѣятельности Соловьева. Онъ и самъ какъ будто ушелъ отъ насъ далеко, но тѣмъ рельефнѣе обрисовываются для насъ общія и основные черты его духовнаго облика.

Этотъ обликъ пріобрѣтаетъ тѣмъ большую яркость, чѣмъ менѣе онъ похожъ на все, что мы видимъ передъ собою теперь. Вл. С. Соловьевъ представлялъ чрезвычайно сложную,—или, какъ теперь любятъ выражаться, многогранную,—и въ то же время очень цѣльную натуру. Въ немъ сочетались, казалось бы, несовмѣстимыя противоположности, и все же образъ его поражалъ единствомъ основного тона и наглядно воплощалъ въ себѣ одно общее коренное настроеніе. Глубокая религіозность съ ранняго дѣтства и черезъ всю жизнь, за исключеніемъ краткаго перерыва въ годы юности,—и полное свободомысліе. Напряженная сосредоточенность мощнаго и замѣчательно ori-

1) Рѣчи, произнесенная въ засѣданіи Психологического Общества, посвященнѣе въ память Вл. С. Соловьева 6 ноября 1910 г.

Рѣчи философіи, кн. 105.

гинального философского ума на самыхъ трудныхъ и возвышенныхъ проблемахъ жизни и знанія,—и чрезвычайная общительность, дѣлавшая его незамѣнимымъ собесѣдникомъ, отзывчивымъ товарищемъ, задушевнымъ, и любящимъ другомъ. Рѣдкая самобытность мысли, съ раннихъ лѣтъ заставлявшая его на все смотрѣть по-своему,—и удивительно развитая способность усвоять и проникаться чужими взглядами, лежавшая въ основаніи его громадной начитанности въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ, которая давалась ему какъ-будто сама собою, безъ всякихъ особыхъ усилий съ его стороны. По существу аскетической и печальный взглядъ на условія чувственного земного существованія, соединенный съ очень серьезной, искренней и строгой постановкой идеала душевной чистоты,—и ясная жизнерадостность, страстная пылкость темперамента, способность къ беззавѣтнымъ сердечнымъ увлеченіямъ, которые нерѣдко проносились опустошающими бурями въ его потрясенномъ духѣ. Мистическое прозрѣніе въ глубочайшій смыслъ жизни, скорбное сознаніе ея внутренняго трагизма,—и неизсякаемый юморъ, свѣтлая веселость, дѣтски заразительный хохотъ, которого не забудеть никто изъ знатныхъ Соловьевъ лично. Изумительная терпимость къ чужимъ мнѣніямъ, позволявшая ему близко сходиться съ людьми совсѣмъ другого умственнаго и духовнаго склада, чѣмъ онъ самъ,—и горячій задоръ въ спорахъ даже о незначительныхъ предметахъ. Безлечность, доходящая до безалаберности, въ устройствѣ своихъ личныхъ дѣлъ,—и трогательная заботливость о чужихъ дѣлахъ, не только готовность, но и тонкое практическое умѣніе помочь въ чужой нуждѣ. И много можно было бы привести еще такихъ же паръ противоположностей, и всѣ онѣ такъ гармонически уживались въ своеобразномъ единстве личности Соловьева, что его никакъ нельзяобразить безъ нихъ. И на всемъ этомъ лежала такая прочная и неистребимая печать внутренняго благородства, высшаго аристократизма души, что онъ органически былъ неспособенъ подчинять

свою волю какимъ-нибудь пошлымъ и низкимъ побуждениямъ. Высокій строй духа быль прирожденъ ему и оттого въ немъ не поколебали его никакія житейскія испытанія и никакія перемѣны судьбы, и онъ донесъ его до могилы.

Таковъ быль Соловьевъ, какъ человѣкъ. Въ какихъ общихъ чертахъ рисуется намъ въ настоящее время его дѣятельность? И въ этомъ отношеніи насъ поражаетъ его богатая многосторонность. Прежде всего это быль очень крупный писатель: не только изъ русскихъ философовъ никто не писалъ лучше его, онъ въ этомъ отношеніи смѣло можетъ выдержать сравненіе съ лучшими философскими писателями всѣхъ временъ. Съ полнымъ основаніемъ можно сказать, что онъ создалъ образцовый русскій философскій языкъ, поражающій своею ясностью, мѣткостью, изяществомъ и простотою. Правда, онъ не сразу достигъ такой высокой виртуозности философскаго изложенія: въ его первыхъ вещахъ, быть можетъ, подъ вліяніемъ его увлеченія сочиненіями корифеевъ нѣмецкаго идеализма, его языкъ иногда является чрезмѣрно отвлеченнымъ, отдѣльныя формулы кажутся загадочными и вычурными, нѣкоторые діалектическіе переходы мысли представляются слишкомъ сложными и даже искусственными. Но чѣмъ дальше развивалась его литературная дѣятельность, тѣмъ болѣе онъ овладѣвалъ своимъ удивительнымъ искусствомъ слова. Въ произведеніяхъ послѣднихъ лѣтъ жизни, какъ стилистъ, онъ никакъ не ниже Шопенгауера. Возвышенный душевный подъемъ рядомъ съ яркими вспышками благодушнаго юмора и безпощадной ироніи, обаятельная оригинальность взглядовъ по всѣмъ задѣваемымъ вопросамъ, безъ всякихъ преднамѣренныхъ усилій быть оригиналными во что бы то ни стало, энергія и картиность оборотовъ рѣчи, богатство и неожиданность сопоставленій, задушевная убѣжденность аргументаціи, глубина и простота мысли, захватывающей блескъ полемическихъ пріемовъ — все это въ нихъ сплетается въ одно неотразимое художественное впечатлѣніе. Въ своихъ „Трехъ разговорахъ“ онъ далъ такие прекрас-

ные образцы столь часто и обыкновенно столь неудачно примѣняемой философскими писателями діалогической формы изложенія философскихъ выводовъ, что ихъ можно сравнить съ лучшими діалогами Платона. Вообще, въ писаніяхъ этого времени литературный талантъ Соловьевъ достигаетъ своего высшаго расцвѣта.

Лучшій русскій философскій писатель, Вл. С. Соловьевъ одновременно былъ однимъ изъ лучшихъ русскихъ публицистовъ. По условіямъ своей литературной дѣятельности ему, конечно, приходилось рѣже выступать на публицистическомъ поприщѣ, чѣмъ Каткову или Аксакову, но по таланту онъ былъ едва-ли ниже ихъ. Я не говорю уже о томъ, что въ широтѣ своихъ идеаловъ, въ своемъ отвращеніи ко всяkimъ проявленіямъ самодовольнаго национализма, произвола и безправія, въ своихъ гуманныхъ и либеральныхъ симпатіяхъ, въ высотѣ своихъ нравственныхъ требованій отъ христіанской политики и христіанскаго соціального строя, онъ имѣлъ огромное преимущество передъ сейчасъ названными публицистами, особенно первымъ изъ нихъ.

Философъ и публицистъ, Соловьевъ былъ въ то же время поэтъ. Его стихотворенія постигла своеобразная судьба. Онъ самъ не придавалъ имъ значенія, смотрѣль на нихъ, какъ на случайную игру своихъ настроений и даже какъ будто извинялся за нихъ, когда издавалъ ихъ въ видѣ маленькаго сборника. Приблизительно такъ же относилась къ нимъ и публика: въ нихъ видѣли что-то случайное, несерьезную забаву талантливаго человѣка въ чуждой ему области. Теперь уже невольно приходится глядѣть на нихъ иначе. Протекшее послѣ смерти Соловьева десятилѣтіе, несмотря на прихотливую смѣшну литературныхъ направлений и вкусовъ, оказалось надъ ними безсильнымъ — они не потеряли своей красоты и свѣжести, они даже выросли и выдвинулись въ своихъ оригинальныхъ и крупныхъ достоинствахъ. Физіономія Вл. С. Соловьева, какъ поэта, постепенно опредѣлилась и получила устойчивый обликъ:

теперь онъ стоитъ передъ нами, какъ талантливый поэтъ—романтикъ въ лучшемъ значеніи этого слова. Ласкающая музыкальность стиха, оригинальность и богатство иногда загадочныхъ образовъ, захватывающая искренность настроенія, щемящая тоска о невозвратномъ прошломъ, неожиданныя молниі свѣтлаго смѣха, глубоко прочувствованное разочарование предъ картинами окружающей реальной жизни съ ея ничтожествомъ, глупостью и жестокостью и томительные порывы къ нездѣшнему миру въ его нетлѣнной красотѣ—вотъ что составляетъ непреходящій ароматъ поэзіи Соловьева. Не могу здѣсь не упомянуть о юмористическихъ стихотвореніяхъ Соловьева, его пародіяхъ и шаржахъ,—въ нихъ онъ достигаетъ такого совершенства, что къ нимъ нельзя приравнять никакихъ другихъ произведеній этого рода въ русской литературѣ, даже талантливыхъ произведеній знаменитой компаніи Кузьмы Пруткова. Немногимъ писателямъ удавалось такъ забавно играть контрастами, такъ непринужденно соединять торжественное съ зауряднымъ, такъ незамѣтно переходить отъ искреннихъ движений лирическаго подъема къ ихъ карикатурному преувеличенію, съ такимъ драматическимъ паѳосомъ громоздить наивныя несообразности и такъ пронизывать эти ка-призныя созданія своего необузданного фантазированія заразительною веселостью, которая неуловимо сливается съ серьезной ироніей надъ нелѣпостями человѣческаго существованія. Вообще я думаю, что если бы Соловьевъ родился пятьдесятъ лѣтъ раньше и дѣйствовалъ въ эпоху, когда трудно было сдѣлаться философомъ по профессіи, изъ него вышелъ бы крупный поэтъ изъ той блестательной плеяды, которая создала новую русскую литературу.

Въ наши дни Соловьевъ сталъ философомъ и проявилъ такую мощь и оригинальность мысли, которая во всякой болѣе культурной странѣ надолго обезпечили бы ему широкую популярность и общее признаніе. Мнѣ уже приходилось говорить раньше, что Вл. Соловьевъ былъ первымъ самостоятельнымъ русскимъ философомъ, что онъ создаль

свою собственную философскую систему, очень смѣлую по замыслу, тонко продуманную въ своихъ подробностяхъ, которую приходится цѣнить тѣмъ болѣе wysoko, что всѣмъ ея содержаніемъ онъ шелъ противъ господствовавшихъ въ его время теченій и не побоялся пробивать свой особый путь. Онъ подвергаетъ глубокомысленной и чрезвычайно остроумной критикѣ философскія начала позитивизма, материализма, отвлеченного идеализма кантовскаго и гегелевскаго типовъ и обнаруживаетъ ихъ несостоятельность и непригодность въ качествѣ основъ законченного міросозерцанія. Онъ показываетъ, что чувственный міръ даетъ намъ только наши собственные субъективныя переживанія, наши ощущенія и воспріятія, которыя ничего намъ не говорятъ о реальности вещей внѣ насъ; что, съ другой стороны, нашъ разумъ, поскольку мы захотимъ искать истины въ его чисто отвлеченной дѣятельности, ничего не доставляетъ намъ, кроме искусственныхъ абстракцій, которыя также ничему насъ не научатъ о дѣйствительномъ существѣ вещей. Онъ показываетъ наконецъ, что истинная реальность не можетъ заключаться во внѣшнихъ материальныхъ свойствахъ предметовъ,—въ ихъ протяженности, непроницаемости и подвижности, потому что внѣшность есть понятие относительное, — потому что все внѣшнее подразумѣвается внутреннее, — потому что въ основѣ всякой внѣшней принудительной силы, какъ ея неизбѣжно мыслимый коррелатъ, лежитъ самоопредѣляющаяся внутренняя сила. Ничто объективное невозможно безъ субъекта, ничто материальное немыслимо безъ духа. Итакъ, только духу принадлежитъ настоящая дѣйствительность: все, что кажется *не духовнымъ*, съ неизбѣжностью вырастаетъ изъ духовныхъ отношений.

Внутренняя духовность всякаго бытія, реальность только духовнаго—въ этомъ первая и основная метафизическая идея міросозерцанія Вл. С. Соловьева. А къ ней съ неизбѣжностью примыкаетъ вторая идея: о *всесединствѣ сущаго*. Если все реальное духовно, то и первое начало вещей есть безко-

нечный духъ. Богъ есть живой, свободный духъ, Онъ—творческая любовь, Онъ создаетъ міръ, какъ нѣчто отличное отъ него и въ то же время близкое къ нему, долженствующее осуществить въ себѣ полноту Его мысли и Его воли. Поэтому онъ не только начало самого себя и своей единой жизни, Онъ въ то же время начало и всего различнаго отъ него, всего, что обладаетъ какою бы то ни было реальностью, —Онъ *всесединое абсолютное*, которое все въ себѣ объединяетъ. Міръ потому только существуетъ, что въ немъ долженъ реализоваться идеалъ совершенного творенія. Но міръ, какъ мы наблюдаемъ его, далеко не отвѣчаетъ такому представлению объ идеальномъ совершенствѣ: во всемъ его строѣ ярко сказываются слѣды колоссальной трагедіи,—великаго отпаденія твари отъ своего Божественнаго источника. Вселенная рисуется нашему чувственному опыту рѣзкими чертами внутренняго распада: въ ней все раздвинуто и разрознено пространствомъ и временемъ, отдѣльные ея элементы замкнуты въ себѣ и непроницаемы другъ для друга, она вся охвачена слѣпой стихійной борьбой, протекающей по желѣзнымъ законамъ механической необходимости. Такимъ міръ данъ намъ, но не такимъ онъ долженъ быть. Извращеніе, внесенное въ бытіе грѣхопаденіемъ міровой души, не можетъ продолжаться вѣчно. Богъ есть любовь. Онъ хочетъ правды и добра, а не злобы,—гармоніи, а не борьбы и эгоизма. Онъ создалъ міръ, чтобы въ немъ имѣть свое живое подобіе, а не отрицаніе, и міръ долженъ выполнить это свое назначеніе. Этимъ опредѣляется внутренній смыслъ мірового процесса въ его цѣломъ: онъ состоитъ въ постепенномъ просвѣтленіи и одухотвореніи темныхъ стихій, въ возрастающемъ уподобленіи природы Божественному замыслу. Въ этомъ внутреннемъ преображеніи вселенной центральное мѣсто принадлежитъ человѣку, какъ одновременному носителю природныхъ стихій въ своемъ тѣлесномъ организмѣ и потенцій Божественного разума въ своемъ духѣ. На человѣка лежитъ грандіозная задача спасенія и внутренняго освященія міра. Но она явно не по

силамъ человѣку природному, который въ своей чувственности и своемъ эгоизмѣ самъ порабощенъ темнымъ стихіямъ міра; только человѣкъ, всецѣло возвысившійся надъ такимъ рабствомъ и свободный отъ него, человѣкъ, сдѣлавшій волю Божію своею волею, можетъ дѣйствительно обожествить міръ. Таковъ Богочеловикъ, и онъ явился въ исторіи человѣчества въ лицѣ Иисуса Христа, и съ тѣхъ поръ космический процессъ повернулся въ своихъ внутреннихъ двигателяхъ. Дальнѣйшая задача человѣчества въ томъ, чтобы оно все освятилось и очистилось и не только въ отдѣльныхъ людяхъ, но и въ своемъ цѣломъ—во всѣхъ подробностяхъ своей церковной, общественной и экономической организації. И когда это наступитъ, тогда пробьетъ великий часъ освобожденія міра отъ рабства мраку. Всеенная измѣнится; изъ нея исчезнетъ бездушная борьба, исчезнетъ страданіе, исчезнетъ смерть, и созданный Богомъ міръ явитъ собою истинное воплощеніе вѣчныхъ идеаловъ добра и красоты. Въ этомъ спасеніи всего живого чрезъ Богочеловѣчество заключается окончательный смыслъ идеи о Богочеловѣчествѣ, третьей руководящей идеи въ міросозерцаніи Соловьевъ, которая представляетъ связующее звено между его философскимъ и религіознымъ учениемъ.

Философскія изслѣдованія Соловьевъ составляютъ, какъ я думаю, самую прочную и незыблемую часть его жизненнаго дѣла. Это, конечно, не значитъ, чтобы онъ не выскаживалъ мнѣній, иногда очень спорныхъ, и чтобы его система и въ своемъ цѣломъ не вызывала никакихъ возраженій. Но все же мнѣ кажется, что какъ бы ни мѣнялись индивидуальная настроенія философовъ, но если только философія будетъ решать свойственные ей вопросы, а не отворачиваться отъ нихъ, философскія сочиненія Соловьевъ никогда не потеряютъ своей огромной цѣны. Этому служить ручательствомъ чрезвычайная своеобразность его взглядовъ, тонкость и широкая многосторонность его философскихъ анализовъ, глубина, остроуміе и неотразимая

сила его аргументациі: такія качества должны быть дороги въ глазахъ каждого мыслителя, какихъ бы взглядовъ онъ самъ ни держался. Точно также его величественное, поэтическое, полное задушевной, пламенной убѣжденности міросозерцаніе не можетъ безслѣдно затеряться между другими порожденіями искреннихъ и серьезныхъ думъ надъ вѣковѣчными проблемами человѣческой мысли.

Тѣмъ досаднѣе, что въ философскомъ творчествѣ Соловьева послѣдовалъ продолжительный перерывъ, и оно чрезъ это осталось незаконченнымъ, что его литературная дѣятельность только первыя семь лѣтъ была сосредоточена на философії, а потомъ онъ только мимоходомъ касался чисто-философскихъ проблемъ и вернулся къ нимъ опять лишь въ послѣдніе годы своей жизни. Въ его послѣднихъ философскихъ трудахъ намѣчаются какая-то важная перемѣна въ его міросозерцаніи, онъ какъ-будто дѣлаетъ серіозныя принципіальные уступки своимъ прежнимъ противникамъ, но въ чемъ эта перемѣна состояла, и къ чему бы она привела, такъ и осталось невыясненнымъ: смерть вырвала его въ самомъ началѣ его попытокъ пересмотрѣть свои прежніе взгляды. Въ промежуткѣ между этими двумя периодами Соловьевъ былъ весь охваченъ религіозными, даже церковными вопросами, въ связи съ вопросомъ о национальномъ значеніи Россіи, и они вовлекли его въ долговременную и тяжелую борьбу, которая принесла ему много горя и непріятностей, но не дала внутренняго удовлетворенія.

Какъ это могло случиться? Я укажу на двѣ интересныя особенности въ душевномъ складѣ Соловьева. Прежде всего онъ обладалъ чрезвычайнымъ реализмомъ мистического сознанія. Это былъ настоящій мистикъ, непосредственно воспринимавшій близость и полную дѣйствительность невидимаго духовнаго міра, что нерѣдко выражалось у него въ различныхъ аномальныхъ переживаніяхъ. Эта сила мистического чувства давала религіознымъ вопросамъ въ его глазахъ исключительно важное и совершенно реальное значение. Во-вторыхъ, у него была непоколебимая вѣра въ

близкое завершение исторического процесса. Въ этомъ онъ сходился съ своими современниками: вѣра въ исторію, въ прогрессъ, въ скорое и окончательное торжество надъ жизнью всѣхъ культурныхъ идеаловъ и возвращеніе среди людей земного рая, представляла своего рода религию русскихъ интеллигентныхъ слоевъ второй половины прошлаго вѣка. Въ годы юности, въ эпоху увлеченія материализмомъ, эта вѣра у Соловьевъ не имѣла ничего мистического: онъ просто былъ очень послѣдовательнымъ и убѣжденнымъ соціалистомъ. Но потомъ, съ общей перемѣной міросозерцанія, она пріобрѣтаетъ все болѣе мистической колоритъ и сливается съ преобразованною вѣрою во второе пришествіе. Подобно хиластамъ первобытной церкви, Соловьевъ удивительно конкретно былъ убѣженъ въ близости великаго переворота, которымъ долженъ закончиться космической и исторической процессъ. Этотъ переворотъ предносился его воображению, какъ торжество свободной теократіи, т.-е. полнаго осуществленія Божественной правды въ организаціи человѣчества. Какими историческими путями можетъ возвориться на землѣ истинный, свободный теократический строй? И въ решеніи этого вопроса у Соловьевъ можно отмѣтить два периода. Сначала онъ держался широкаго мистического толкованія и предвидѣлъ въ скоромъ будущемъ интенсивное изліяніе высшихъ духовныхъ силъ, которая направятъ человѣчество къ его верховному назначенію. Но дѣйствительность не оправдала этихъ надеждъ; а между тѣмъ вѣра въ близкій переворотъ у Соловьевъ все-таки не поколебалась. Тогда онъ сталъ искать среди существующихъ историческихъ силъ такую, которая бы была наиболѣе приспособлена къ тому, чтобы организовать человѣчество на христіанскомъ идеалѣ, и остановился на римскомъ католичествѣ: вѣдь именно католичество въ прошлой человѣческой эволюціи представляетъ главное русло развитія христіанства и важнѣйшій очагъ его культурныхъ вліяній; именно въ католичествѣ всѣ государственные и общественные силы принципіально подчинены высшему духовному авторитету, и оно

всегда стремилось къ реализації такого подчиненія. И вотъ Соловьеву стало казаться, что въ соединениі церквей подъ главенствомъ папы лежитъ ближайшій путь къ свободной организації человѣчества на началахъ христіанской правды.

Былъ ли Соловьевъ католикомъ? Несомнѣнно, онъ имъ не былъ, какъ бы искренно ни доказывали иногда его обращеніе въ католичество. Онъ постоянно и настойчиво отрицалъ свой переходъ въ католическую церковь, а онъ былъ человѣкъ правдивый и не лгалъ никогда. Когда онъ умиралъ, онъ позвалъ православнаго священника, исповѣдовался у него и причастился, хотя не было никакихъ препятствій пригласить католического. Вообще, въ католической церкви онъ цѣнилъ ея организаторскую мощь въ человѣческомъ обществѣ, но онъ решительно отрицалъ, чтобы только въ ней одной было возможно спасеніе. Онъ всецѣло прымкаль къ тому взгляду, что вѣроисповѣдныя перегородки до неба не доходятъ, и думалъ, что спастись можно во всякой церкви, даже во всякой религіи. Онъ вѣрно говорилъ мнѣ о себѣ: „Меня считаютъ католикомъ, а между тѣмъ я гораздо болѣе протестантъ, чѣмъ католикъ“.

Въ проповѣди соединенія церквей подъ главенствомъ папы заключался источникъ жизненной драмы Вл. С. Соловьева. Для него это соединеніе представляло не только теоретический интересъ, въ его немедленномъ осуществлѣніи онъ видѣлъ историческое назначеніе Россіи и весь смыслъ предшествующей эволюціи человѣчества. И вотъ въ своихъ призывахъ къ столь важной, въ его глазахъ, задачѣ онъ остался совсѣмъ одинокимъ: за единичными исключеніями, за нимъ никто не пошелъ. Его прежніе единомышленники относились къ его проповѣди или равнодушно, или прямо враждебно. Его новые союзники высоко цѣнили его безпощадную полемику съ падающимъ славянофильствомъ и приверженцами существующаго церковнаго строя и восхищались его блестящей защитой свободы слова и вѣротерпимости, но соединеніемъ церквей они интересовались еще менѣе, чѣмъ его противники. Къ тяжелому нрав-

ственному одиночеству у Соловьева, съ течениемъ времени, постепенно присоединилось горькое разочарованіе въ дѣлѣ, за которое онъ такъ долго и горячо ратовалъ. Въ его „Повѣсти объ антихристѣ“ ясно видно, какъ поблекли его надежды на будущее возрожденіе церкви.

Что сказать объ окончательныхъ результатахъ дѣятельности Вл. С. Соловьева? Онъ очень много далъ—особенно въ философіи. Самостоятельная русская философія начинаетъ съ него свое существованіе, и она сразу получила въ его лицѣ первостепенного мыслителя. Въ вопросахъ историческихъ, церковныхъ, общественныхъ онъ часто колебался, быть можетъ, заблуждался и обманывался. Допустимъ все это—вѣдь нѣть въ самомъ дѣлѣ на свѣтѣ непогрѣшимыхъ людей. Но онъ былъ честный, пламенный, неутомимый искатель правды на землѣ, и онъ вѣрилъ, что она сойдетъ на землю.

Л. Лопатинъ.

## Владимир Соловьевъ и его дѣло.

Ровно десять лѣтъ тому назадъ Московское Психологическое Общество впервые почтило на торжественномъ своемъ собраниі память Соловьева. Въ то время надъ свѣжей его могилой скорбь о дорогомъ почившемъ заставляла говорить преимущественно объ одномъ, о томъ, чию мы въ немъ утратили. И говорившіе воскрешали въ своихъ рѣчахъ то, что отошло отъ нась въ вѣчность,—духовный обликъ отшедшаго.

Теперь передъ нами ставится другая задача. Намъ предстоитъ говорить не столько о томъ, что мы утратили въ Соловьевѣ, сколько о томъ, что мы въ немъ имѣемъ, о томъ, что на вѣки наше. Сквозь призму вновь накопившихся переживаній Соловьевъ кажется намъ иногда человѣкомъ другой эпохи: его жизнь и дѣятельность представляется намъ далекимъ прошлымъ. Но именно это отдаленіе ставить нась въ особо благопріятныя условія, чтобы отдѣлить въ этой дѣятельности вѣчное отъ временнаго, разглядѣть въ этомъ прошломъ неумирающее настоящее.

И прежде всего намъ надлежитъ отмѣтить здѣсь, что въ ученіи Соловьева есть нечто сверхвременное, что пребываетъ въ смынѣ явлений и въ чередованіи историческихъ эпохъ. Это сверхвременное есть то самое, что Соловьевъ считалъ важнѣйшимъ своимъ дѣломъ—его ученіе о смыслѣ жизни, или, что то же самое,—его ученіе о Богочеловѣчествѣ.

Здѣсь сплетаются воедино всѣ нити его мысли, все его ученіе философское и религіозное. Вопросъ, обсуждавшійся

въ нашей литературѣ, чѣмъ больше былъ Соловьевъ—философомъ или религіознымъ проповѣдникомъ—просто не имѣетъ смысла: ибо то и другое въ Соловьевѣ—одно. Какъ философъ, какъ проповѣдникъ, богословъ и публицистъ онъ училъ одному и тому же.—„Азъ есмь путь и истина и жизнь”—этими словами Христовыми Соловьевъ самъ резюмируетъ всю свою философію—всю свою проповѣдь. Онъ доказываетъ, что иного жизненнаго пути, иного смысла жизни быть не можетъ.

И ходъ его мысли настолько же простъ, насколько и оригиналъ. Ему нетрудно доказать, что въ основѣ всей нашей духовной жизни лежитъ вѣра въ Абсолютное или Безусловное,—вѣра необходимая и неустранимая, потому что она предполагается каждымъ актомъ нашей мысли и каждымъ движеніемъ нашей воли. Умъ нашъ предполагаетъ безусловную *истину*, которая служить критеріемъ во всѣхъ нашихъ сужденіяхъ: безъ этого мы не могли бы познавать: безъ этой вѣры въ безусловное какъ основаніе и критерій познанія весь процессъ нашей мысли превращается въ безсмыслицу. Воля наша предполагаетъ предметъ безусловно достойный желанія—*добро*, ради котораго стоитъ жить; если бы не было безусловнаго добра, всякое желаніе наше стало бы суетнымъ и жить было бы незачѣмъ. Наконецъ, чувство наше предполагаетъ ту безусловную *красоту*, безъ коей не можетъ быть для настъ полнаго наслажденія, а, слѣдовательно,—и совершеннаго блага.

Въ нашемъ познаніи мы имѣемъ дѣло со множествомъ *частныхъ истинъ*; но всякая частная истина предполагаетъ единую истину, одинаковую для всѣхъ,—т.-е. истину *всебѣшнюю и безусловную*. Мы судимъ о множествѣ относительныхъ, конечныхъ предметовъ, намъ являющихся. Но, разъ намъ дано относительное, конечное, производное,—необходимо *есть* абсолютное и первоначальное. Разъ намъ даны явленія, необходимо *есть* и безусловная основа являющагося. Признавать существованіе какого либо конечнаго, относительнаго предмета или явленія—значить утверждать

ЧТО ОНЪ *есть* въ безусловномъ. Вѣрить въ нашу мысль, въ ея способность познать истину, хотя бы относительную и частную—значитъ предполагать безусловное или абсолютное. Предположеніе безусловного въ нась столь же необходимо, сколько и непосредственно: сно есть основаніе всякаго нашего сужденія: въ немъ и черезъ него мы судимъ все то, что мы судимъ.

Такъ же точно безусловное или абсолютное есть предположеніе или смыслъ всякаго нашего желанія—желательное, въ концѣ-концовѣ—то-же, что *цѣнное*; всякий актъ нашей воли непремѣнно направленъ на какую-нибудь цѣнность. Но цѣнности относительныя всегда предполагаютъ цѣнность *безусловную*—т.-е. такую, которая можетъ служить только цѣлью, а не средствомъ. Всякий актъ нашей воли предполагаетъ, что *есть* нѣчто желательное само по себѣ, а не ради чего либо другого.

Всей нашей мыслью мы утверждаемъ Безусловное какъ истину, которая служить критеріемъ и цѣлью нашего познанія; всей нашей жизнью мы предполагаемъ Безусловное какъ-цѣнность, какъ Добро, ради котораго стоитъ жить. Иначе говоря—вся жизнь наша и все наше разумѣніе покоятся на религіозномъ предположеніи. Ибо то Абсолютное которое дѣйствительно можетъ наполнить смысломъ наше жизненное стремленіе,—есть Богъ.

Человѣкъ отличается отъ всей прочей твари своимъ стремлениемъ жить сознательно, *разумно*; чтобы жить, ему нужно вѣрить въ *смыслъ* своей жизни. Но эта вѣра предполагаетъ, что смыслъ или разумъ есть во всемъ существующемъ. Моя жизнь есть ничтожная часть мірового цѣлага. Если безсмысленно цѣлое, то безсмыслена и часть. Или есть универсальный разумъ, осуществляющійся во всемъ, или его нѣть ни въ чёмъ.

Вѣрить въ безусловное, какъ смыслъ жизни, значитъ предполагать, что оно все въ себѣ объединяетъ, всему служить основаніемъ, цѣлью и средоточиемъ. Иначе говоря,—безусловное есть *вседѣлое*; ибо оно есть то, въ чёмъ все и всѣ едино.

Съ этой точки зрењія становится понятнымъ то центральное мѣсто, которое должна занять религія въ жизни человѣка. По Соловьеву она выражаетъ собою связь человѣка и міра съ безусловнымъ началомъ и средоточiemъ всего существующаго. Очевидно, что, если признавать дѣйствительность такого безусловнаго начала, то имъ должны опредѣлиться всѣ интересы, все содержаніе человѣческой жизни и сознанія; отъ него должно зависѣть и къ нему относиться все существенное, что человѣкъ дѣлаетъ, познаетъ и производитъ. Если мы допустимъ безусловное средоточие, то всѣ точки жизненнаго круга должны соединяться съ нимъ равными лучами. Безусловное, Божественное должно быть для человѣка всѣмъ; оно должно господствовать надъ цѣлымъ его существованіемъ; но если такъ, то и религія должна быть для насъ всѣмъ во всемъ: для всякаго, кто признаетъ религіозное начало, религія должна пріобрѣсти всеобъемлющее, центральное значеніе.

Все это дѣлаетъ понятнымъ, почему именно христіанство, а не какая-либо другая вѣра представляетъ собою совершенное и высшее выраженіе религіи. Именно въ основномъ христіанскомъ учениі о Богочеловѣчествѣ выражается совершенное и полное проникновеніе человѣка Богомъ.—И въ этомъ заключается основаніе, почему христіанство не можетъ быть превзойдено и упразднено какой либо иной формой религіознаго сознанія.

Во всѣхъ религіяхъ, какія были и есть, всегда выражалось исканіе Бога, стремленіе человѣка къ нему. Сознательно или безсознательно,—человѣкъ всегда вкладываетъ въ религіозное чувство свою личную надежду.—Для религіознаго чувства мало вѣрить въ Бога: нужно еще надѣяться на возможность соединенія его съ человѣкомъ: наше жизненное стремленіе предполагаетъ такого Бога, который бы наполнялъ смысломъ нашу человѣческую жизнь. Только въ христіанствѣ выразились во всей ихъ полнотѣ эти два неустранимыx религіозныхъ требованія—вѣра въ Бога и вѣра въ человѣка.

Въ другихъ религіяхъ богосознаніе не достигло своей законченной полноты и совершенства. Религіи Востока исходить изъ вѣры въ Бога, какъ безусловное и совершенное; но въ нихъ человѣкъ не находитъ себѣ мѣста: въ нихъ божественное понимается какъ безличное единство, въ которомъ исчезаетъ вся множественность конкретныхъ существъ: все индивидуальное, конкретное, конечное, а, стало быть и все человѣческое съ этой точки зрѣнія превращается въ пустую видимость, въ исчезающее, призрачное бытіе. Этотъ безчеловѣчный Богъ восточныхъ религій не можетъ наполнить смысломъ жизни человѣка и остается ему чуждыемъ. Но именно въ этомъ обнаруживается недостаточность и односторонность этихъ религій. *Доведенное до конца*, понятіе совершенного Бога ничего не исключаетъ и не подавляетъ: оно есть единство всего существующаго, слѣдовательно и единство нашего человѣческаго міра; но это и значитъ, что совершенный Богъ открывается въ единствѣ божескаго и человѣческаго, т.-е. въ Богочеловѣчествѣ.

Съ другой стороны до-христіанскія религіи Запада проникнуты вѣрой въ человѣческое начало: эта тенденція къ обожествленію человѣка сначала выражается въ поклоненіи человѣкообразнымъ божествамъ и, наконецъ, находитъ себѣ классическое выраженіе въ культѣ кесаря въ императорскомъ Римѣ. Ясно, что и эта вѣра въ человѣка, *доведенная до конца*—приводитъ къ иной, высшей формѣ богосознанія. Вѣра въ человѣка, какъ высшее, безусловное начало—не имѣетъ смысла: ибо нелѣпо вѣритъ въ безусловность того, что обречено смерти. Вѣра въ человѣка имѣть смыслъ только въ томъ предположеніи, что человѣкъ—возможный обладатель бессмертія—вѣчной и полной жизни. Но такой полнотой вѣчной жизни человѣкъ можетъ обладать не въ своей отдельности, а только въ единеніи съ безусловнымъ и всецѣльнымъ,—съ Богомъ, какъ началомъ всякой жизни: ясно такимъ образомъ, что идея Богочеловѣчества выражаетъ собою всю правду религіознаго исканія какъ Вос-

Вопросы философіи, кн. 105.

тока, такъ и Запада,—то безусловное содержаніе религіознаго сознанія, безъ коего религія превращается въ безсмыслицу.

Абсолютное по самому своему понятію есть то же, что *совершенное, всецѣльное*. Въ немъ—полнота всякаго бытія, и въ нѣ его истиннаго бытія быть не можетъ; поэтому цѣль всего существующаго есть соединеніе съ Абсолютнымъ. Абсолютное, Божественное есть то, чего жаждетъ, ищетъ вся тварь. Въ Богочеловѣчествѣ, т.-е. въ соединеніи совершенного Бога съ вершиной міровой эволюціи, человѣкомъ, это безотчетное стремленіе всей твари достигаетъ наконецъ своей цѣли. Поэтому Богочеловѣчество есть не только узель всемірной исторіи, но центральное событие всего мірового процесса. Если міръ имѣеть основаніемъ и цѣлью своею Абсолютное, если все, что есть, жаждетъ пріобщиться къ совершенной, божественной жизни, то вся міровая эволюція должна быть направлена къ созданію существа, достойнаго и способнаго стать носителемъ и проводникомъ Божественнаго въ мірѣ.

А такимъ существомъ является человѣкъ: это видно изъ сравненія его съ прочими тварями. Изъ всѣхъ существъ одинъ лишь человѣкъ обладаетъ формой всеединства въ своемъ сознаніи и способностью осуществлять всеединство въ своей жизни. Сознаніе другихъ, низшихъ существъ поглощено *частными* впечатлѣніями: одинъ лишь человѣкъ способенъ къ отвлечению; онъ одинъ можетъ возвыситься до общихъ представлений, до сознанія *единства мірозданія*, всеобщаго его смысла и Логоса. Слѣдовательно, въ отличие отъ прочихъ существъ одинъ человѣкъ обладаетъ мыслью, которая можетъ стать органомъ всеединства или безусловнаго; онъ одинъ есть носитель *образа всеединства*, который есть образъ Божій. Точно также онъ одинъ можетъ осуществлять этотъ образъ въ своей жизни. Животное не въ состояніи освободиться отъ своего естественнаго эгоизма: оно роковымъ образомъ живетъ *для себя*, утверждаетъ себя исключительно. Одинъ человѣкъ—носитель *универсального*

сознанія—обладаетъ способностью жить и жертвовать собою для всего, для цѣлаго. Поэтому только онъ можетъ быть проводникомъ всеединства въ мірѣ, т.-е. осуществлять въ мірѣ подобіе Божіе.

Эти качества человѣка дѣлаютъ его завершеніемъ естественной эволюціи, центромъ тяготѣнія для всѣхъ низшихъ ступеней природнаго бытія. Этотъ естественный процессъ завершающійся рожденіемъ человѣка, представляется Соловьеву въ такомъ видѣ.

„Земля, бывшая въ началѣ пустою, темною и безформенною, потомъ постепенно проникаемая свѣтомъ, образуемая и населяемая, земля лишь въ третій космогонической періодъ впервые неясно ощущившая и безотчетно выразившая вложенную въ нее творческую силу въ сонныхъ и безсвязныхъ образахъ растительной жизни, въ этихъ смутныхъ порывахъ и первыхъ сочетаніяхъ земного праха съ небесною красотою; земля, которая въ этомъ растительному мірѣ *выступаетъ изъ себѣ* навстрѣчу небесныхъ вліяній, потомъ отдѣляется отъ себя въ свободномъ движениі земныхъ животныхъ и поднимается надъ собою въ воздушномъ полетѣ птицъ небесныхъ; земля, разсѣявшая свою душу живу въ безчисленныхъ видахъ растительной и животной жизни, наконецъ сосредоточивается, приходитъ въ себя и получаетъ ту форму, въ какой она можетъ стать лицомъ къ лицу съ своимъ Владыкой и принять отъ него прямо дыханіе жизней“.

Тутъ Соловьевъ оставляетъ безъ вниманія упрекъ въ геоцентризмѣ и въ антропоцентризмѣ, который обыкновенно дѣлается христіанству. Ходячее возраженіе, которое высказывается съ этой точки зрѣнія, сводится къ заявлению, будто христіанство совершенно не вяжется съ астрономіей, которая доказываетъ существованіе безчисленныхъ міровъ. Спрашивается, могутъ ли имѣть для этихъ міровъ опредѣляющее значеніе события нашей планетной исторії? Можетъ ли спасеніе всего міра, въ томъ числѣ и другихъ, можетъ быть, также населенныхъ міровъ,— зависѣть отъ нашей земли?

Нетрудно убедиться въ слабости этихъ возраженій. Христіанское вѣроученіе и астрономія не могутъ даже столкнуться между собою по той простой причинѣ, что они вращаются въ разныхъ плоскостяхъ. Христіанство остается всецѣло въ сферѣ религіозной и метафизической: никакихъ астрономическихъ положеній оно не провозглашаетъ, вслѣдствіе чего оно и не можетъ быть опровергнуто астрономіей. Оно ни въ какомъ случаѣ не дѣлаетъ землю физическимъ центромъ вселенной. Утвержденіе же, что воплотившійся на землѣ Христосъ есть спасеніе *всему миру*, имѣеть характеръ чисто религіозный и метафизический, а потому никакими естественно-научными данными опровергнуто быть не можетъ.

Впрочемъ,—въ устахъ противниковъ христіанства указаніе на „безчисленные міры“ нерѣдко пріобрѣтає тѣсмисль метафизической. Такъ, напр., всякому изъ насъ, вѣроятно приходилось встрѣчаться съ утвержденіемъ, будто земля какъ *физическіе ничтожная* часть вселенной, не можетъ быть ея метафизическими центромъ—цѣлью всего мірового процесса.

Тутъ уже мы имѣемъ дѣло не съ естественной наукой, а съ откровенной метафизикой. Но и при этомъ условіи въ доводахъ противниковъ христіанства есть явное недоразумѣніе. Допустимъ, что для христіанства наша планета есть въ самомъ дѣлѣ метафизической центръ мірозданія. Можетъ ли это вѣрованіе быть опровергнуто указаніемъ на *физическое ничтожество земли?* Должно ли метафизически цѣнное и высшее быть непремѣнно огромнымъ физически и превосходить низшее своими размѣрами въ пространствѣ? Если бы такъ, то даже въ предѣлахъ нашей земной планеты *высшимъ* существомъ былъ бы не человѣкъ, а, конечно, слонъ. Ясно, что метафизическое значеніе земли, какъ и всѣхъ вообще существъ не должно измѣряться пространственнымъ масштабомъ. Метафизический центръ вообще не есть пространственная величина. Поэтому метафизически значительное и даже безусловно цѣнное можетъ или отсутствовать въ пространствѣ или быть физически ничтожнымъ. Метафизический центръ вселенной можетъ во *временному*

явленіи замкнуться въ тѣсныя физическія границы, раскрыть свое *духовное* значеніе въ самой глубинѣ физической немоши, въ предѣлахъ планеты, которая съ космографической точки зрењія—ничтожная пылинка.

Аргументы, заимствованные изъ космографіи настолько не задѣваютъ христіанство въ его сущности, что оно можетъ безъ труда ихъ признать и обратить въ свою пользу простымъ отвѣтомъ. „Да, слабое, ничтожное, немощное міра сего избралъ Богъ, дабы посрамить сильное“. Всякія указанія на физическое ничтожество земли только подчеркиваютъ духовное величіе совершившагося въ ея предѣлахъ Боговоплощенія, а въ этомъ несомнѣнно заключается одна изъ важнѣйшихъ сторонъ христіанского ученія.

Такимъ образомъ упрекъ въ геоцентризмѣ не есть возраженіе даже въ томъ случаѣ, если христіанство признаетъ землю *метафизическимъ* центромъ вселенной. Но, спрашивается, дѣйствительно ли связанъ этотъ метафизическій геоцентризмъ съ самой сущностью христіанства? Существенно ли для христіанскаго вѣроученія утвержденіе, что—„Слово стало плотью“ только въ предѣлахъ земной планеты? Обязанъ ли вѣрующій христіанинъ признавать, что жители другихъ безчисленныхъ міровъ, буде таковые существуютъ, не услышали благой вѣсти о богооплощенніи?

Мнѣ кажется наоборотъ, геоцентрическая гипотеза съ христіанской точки зрењія—только одна изъ возможныхъ. Вѣра въ универсальное значеніе Боговоплощенія нисколько не колеблется допущеніемъ, что оно могло явиться *всюду* т.-е. не только въ нашей планетѣ, но и въ другихъ населенныхъ мірахъ. Христіанство вообще не заключаетъ въ себѣ какой-либо обязательной для своихъ сторонниковъ космографіи. Оно одинаково мирится и съ предположеніемъ иныхъ міровъ, заселенныхъ существами, сотворенными по образу Божію и съ допущеніемъ, что эта вершина эволюціи достигнута въ человѣкѣ *только* въ предѣлахъ нашей земной планеты. Съ христіанской точки зрењія, вселенная во всякомъ случаѣ должна быть *единимъ храмомъ Божіимъ*:

такова безусловная цѣль мірового процесса. Но этотъ храмъ, какъ готической соборъ, можетъ въ предѣлахъ здѣшняго существованія заостряться или въ единомъ шпицѣ или во множествѣ вершинъ.

Явилось ли Богочеловѣчество въ другихъ мірахъ въ своемъ высшемъ выраженіи или же развитіе этихъ міровъ остановилось на промежуточныхъ ступеняхъ, во всякомъ случаѣ эти ступени тяготѣютъ къ нему какъ смыслу всего существующаго. Если Богъ есть дѣйствительно Безусловное, то никакая планета, никакое свѣтило и созвѣздіе не можетъ имѣть иной цѣли, кроме воплощенія въ себѣ этого безусловнаго. Вся цѣль и задача эволюціи солнечныхъ системъ сводится къ тому, чтобы уготовить среду для Боговоплощенія, родить изъ себя существо, способное стать посредникомъ всеединства, способное принять въ себѣ Бога; цѣль эта можетъ быть достигнута какъ при геоцентрической, такъ и при противоположной гипотезѣ. Сущность человѣка выражается въ томъ образѣ Божиемъ, коего онъ является носителемъ, въ его универсальномъ сознаніи, въ его способности воспринимать и осуществлять всеединство въ своей жизни и дѣятельности. Если гдѣ-либо кроме земной планеты существуютъ такие живые носители образа Божія, то вопросъ о томъ, сходны ли они съ человѣкомъ въ другихъ отношеніяхъ, теряетъ всякий интересъ. Для насъ важно отмѣтить только, что ихъ существование, ихъ участіе въ божественномъ и безусловномъ нисколько не противорѣчить ученію объ универсальномъ богочеловѣчествѣ. Ибо единая сущность богочеловѣчества можетъ раскрываться во множествѣ явлений.

Совмѣщаясь какъ съ геоцентрическою, такъ и съ противоположною гипотезою, христіанство во всякомъ случаѣ не мирится съ предположеніемъ безсмысленныхъ міровъ. Возможно, что временно цѣлья созвѣздія существуютъ въ видѣ космической пыли; но выраженіе „пыль“ должно быть понимаемо тутъ только въ физическомъ, но отнюдь не въ метафизическомъ значеніи. Метафизически все преисполнено

безусловнымъ смысломъ, всякая пылинка должна ожить въ безусловномъ: и не только души,—тѣла небесныя и земныя должны участвовать въ грядущемъ всеобщемъ одухотвореніи. Воплощеніе Абсолютнаго и воскресеніе въ немъ міра должно быть благою вѣстью для всего, что живетъ, на землѣ ли или среди созвѣздій. Кто проникнется вѣрой въ единый архитектурный планъ, объемлющій вселенную, тотъ перестанетъ волноваться сомнѣніями о существованіи лишнихъ міровъ и лишнихъ камней, еще не нашедшихъ мѣста въ универсальномъ зданіи. Въ единой, вѣчной и подлинной дѣйствительности нѣтъ ничего безсмысленаго или лишняго. Она есть царствоteleologической необходимости.

Оцѣнивая съ этой точки зрѣнія ученіе Соловьева о богочеловѣчествѣ, мы найдемъ въ немъ, быть можетъ, недостатки по формѣ, но не недостатки по существу. Астрономическими соображеніями оно во всякомъ случаѣ не подрывается. Если окажется, что есть на свѣтѣ невѣдомые намъ міры, заселенные разумными существами, то, говоря словами Евангелія (Іоанна X, 16), это можетъ значить только, что у Христа „есть другія овцы, которыя не сего двора“, которыхъ также надлежитъ привести къ единству всемірнаго стада. Ученіе объ универсальномъ значеніи Богочеловѣчества, которое для Соловьева является основнымъ, этимъ только подчеркивается и доводится до конца.

Этимъ ученіемъ исчерпывается вся философія Соловьева, вся его религія и жизненная мудрость. Все, чему онъ училъ, все, что онъ воспѣвалъ въ стихахъ и въ прозѣ, есть сплошное утвержденіе Богочеловѣчества, какъ начала и конца—первообраза, творческаго начала и нормы всякой практической дѣятельности. Для него Богочеловѣчество — не только ученіе: оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ то единственное дѣло, которое человѣкъ призванъ дѣлать на землѣ. Призваніе человѣка есть прежде всего *теургія* т.-е. осуществленіе дѣла Божія на землѣ какъ въ личной, такъ и общественной жизни. Дѣло же Божіе заключается въ томъ, чтобы все

человѣчество, а черезъ него вся тварь *стали едино* въ Богѣ. Сынъ земли, человѣкъ—отъ нея получаетъ жизнь низшую, естественную. Но именно отсюда возникаетъ его посредническая задача, его обязанность возвратить землѣ эту жизнь преображенную въ свѣтъ и въ духъ животворящий. Если черезъ него и его разумъ земля поднялась до небесъ, то черезъ него же,透过 his influence, небеса должны сойти на землю и наполнить ее. Черезъ него весь вѣбожественный міръ долженъ стать единымъ живымъ тѣломъ, всецѣлымъ воплощенiemъ божественной мудрости.

Нетрудно убѣдиться, что это философское ученіе представляетъ собою классически ясное выражение глубочайшаго религіознаго настроенія. Соловьевъ всѣми фибрами своей души переживалъ то, чмому онъ училъ: его устами говорить человѣкъ, для котораго Богъ есть все, который дѣйствительно вложилъ въ Бога *все свое сердце, умъ, волю и чувство*.

„Богъ есть всеединое“; это положеніе не ново. Мы встрѣчаемъ его уже у неоплатониковъ, у Августина, Скота Эригены, у нѣмеckихъ мистиковъ и у Шеллинга. Но какое богатство своеобразныхъ, существенно новыхъ переживаній сумѣлъ вложить Соловьевъ въ старую формулу! „*Богъ есть всеединое*“,—для нашего философа это значитъ, что Богъ объединяетъ въ себѣ безпредѣльное разнообразіе живыхъ, дѣятельныхъ силъ. Онъ не есть абстрактное единство, какъ „Абсолютное“ раціоналистовъ: въ немъ—цѣлый міръ идей-первообразовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ живыхъ существъ; и все богатство здѣшняго, земного—ничто въ сравненіи съ этой вѣчной полнотой, съ этой реальной красотой Божественнаго космоса. Именно благодаря богатству своей внутренней жизни, Богъ не сливается со здѣшнимъ. „Именно для того, чтобы Богъ различался безусловно отъ нашего міра, отъ нашей природы, отъ этой видимой дѣйствительности, необходимо признать въ немъ *свою особенную вѣчную природу, свой особый вѣчный міръ*. Въ противномъ случаѣ наша идея Божества будетъ скучнѣе, отвлеченнѣе, нежели наше представленіе видимаго міра“.

Но съ другой стороны именно благодаря этому богатству содержания міра идея въ Богѣ, все здѣшнее находитъ въ Немъ свое назначение, свою цѣль, свою вѣчную обитель. И центральное мѣсто въ этомъ мірѣ вѣчныхъ замысловъ Божіихъ принадлежитъ человѣку—посреднику и объединителю всей твари въ Богѣ. Его Богъ отъ вѣка избралъ, какъ органъ всеединства. Идея Богочеловѣчества есть вѣчная и центральная идея, въ которой объединяется вся Премудрость Божія.

Соловьевъ не даромъ самъ отмѣчаетъ свою близость съ древне-русскимъ благочестіемъ. Его ученіе живо переносить въ то религіозное настроеніе, которое нашло себѣ яркое изображеніе въ живописи нашихъ древнихъ храмовъ. Въ нихъ молящійся входитъ въ соприкосновеніе не съ мертвымъ, пустымъ и абстрактнымъ Абсолютнымъ. Здѣсь раскрывается божественный міръ, преисполненный безчисленныхъ силъ и возможностей, густо населенный образами. Со всѣхъ сторонъ онъ смотрѣтъ на насъ миріадами человѣческихъ очей. И среди этого Богочеловѣческаго міра центральное мѣсто занимаетъ изображеніе Софіи—Премудрости Божіей, существа Божескаго и вмѣстѣ человѣческаго. Ей наши предки всюду воздвигали храмы. И въ этомъ кульѣ выразилась самая глубина религіознаго настроенія, самая сокровенная его сущность. Для религіознаго чувства не можетъ быть ничего цѣннѣе вѣры въ *человѣчность* Божественной Премудрости.

Въ настроении Соловьева эта вѣра преобладала. Среди философовъ всѣхъ вѣковъ трудно найти мыслителя, болѣе проникнутаго сознаніемъ непосредственной близости къ человѣку области мистической, Божественной. Словно земной міръ сталъ для него окончательно прозрачною завѣсою, сквозь которую онъ непрестанно созерцалъ невидимый, запредѣльный свѣтъ горы Фаворъ. Онъ заранѣе видѣлъ землю преображенную и одухотворенную. Но, можетъ быть, именно благодаря этому онъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ разстояніи между двумя мірами. Помнится, однажды онъ

говорилъ мнѣ: „Одного не понимаю—страха Божія, отказываюсь понять, какъ можно бояться Бога“. При этомъ онъ залился своимъ звучнымъ, заразительнымъ и вмѣстѣ страннымъ хохотомъ.

Въ этомъ замѣчаніи и въ этомъ смѣхѣ—весь Соловьевъ, все то положительное, что есть въ его религіозномъ настроеніи. Но здѣсь же оказывается и то, чего не хватало въ этомъ настроеніи,—граница религіознаго генія философа. Его глубоко жизнерадостная душа была преисполнена живымъ, непосредственнымъ ощущеніемъ совершившагося и грядущаго преображенія и воскресенія. Но онъ далеко не въ достаточной мѣрѣ чувствовалъ и проникалъ умственнымъ взоромъ—пропасть между Богомъ и непросвѣтленнымъ, здѣшнимъ человѣкомъ, ту смертельную скорбь, которая вызываетъ кровавый потъ и побѣждается только крестною смертью. Ему недоставало того ощущенія бездны грѣховной, которая такъ сильно звучитъ въ творчествѣ Достоевскаго; въ его непониманіи „страха Божія“, и въ особенности въ смѣхѣ, который вызывала въ немъ эта мысль, чувствовалось что-то безконечно юное, чтобы не сказать—дѣтское. Именно потому, что ему было дано въ созерцаніи такъ близко подойти къ Божественному, онъ недостаточно чувствовалъ, какъ оно еще далеко отъ нашей дѣйствительности. И здѣсь — источникъ важнѣйшихъ, основныхъ его заблужденій.

Это—тотъ самый оптическій обманъ, въ который впаль апостолъ Петръ на горѣ Ѣаворѣ. Онъ потерялъ сознаніе границъ, отдаляющихъ грѣховное, здѣшнее, человѣческое отъ Божественнаго: тотчасъ небесное видѣніе закуталось для него романтической дымкой. И земная мечта заговорила его устами: „Господи, хорошо намъ здѣсь быть: если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три куши, Тебѣ одну и Моисею одну и одну Иліи“. Но громъ небесный прогремѣлъ въ отвѣтъ о послушаніи Сыну Божію. А сынъ Божій говорилъ съ Иліею и Моисеемъ о крестной своей смерти, „объ исходѣ Его, который Ему надлежало совершить въ Йерусалимѣ“. И раз-

летѣлось въ прахъ земное „хорошо намъ здѣсь“. Второе окончательное и всеобщее преобразеніе можетъ быть только вѣнцомъ всеобщихъ страданій. Земля, не пережившая страстей Христовыхъ, не въ состояніи удержать въ себѣ сіяніе свѣтлыхъ ризъ Спасителя. Чтобы стать жилищемъ Абсолютнаго, она должна принять свою крестину муку.

Въ этомъ евангельскомъ повѣствованіи мы найдемъ полную и всестороннюю оцѣнку жизненнаго дѣла Соловьевыа. Что онъ видѣлъ свѣтлую ризу Божества и возвѣстилъ въ огненныхъ срокахъ грядущее Преображеніе,—въ этомъ заключается то вѣчное, что онъ сдѣлалъ. Но къ этому вѣчному у него примѣшились земныя иллюзіи и утопіи—все та же мечта о трехъ кущахъ,—попытка утвердить Божественное въ формахъ здѣшняго, непросвѣтленнаго существованія.

. Въ особенности это характерно для его юношескихъ произведеній. Я не имѣю ни намѣренія, ни возможности вдаваться здѣсь въ подробное изложеніе его философскихъ воззрѣній. Укажу лишь одну яркую, типическую черту, которая поражаетъ у него и въ этикѣ, и въ теоріи познанія, и въ метафизикѣ и въ богословскихъ разсужденіяхъ. Это — отсутствіе какихъ-либо границъ между областью мистическою, сверхъестественною, божественною и порядкомъ естественнымъ, здѣшнимъ—земнымъ. Мы видимъ у него полнѣйшую мистификацію всего природнаго, естественнаго и рядомъ съ этимъ—поразительно смѣлую, подчасъ даже дерзкую раціонализацію мистического.

Съ одной стороны вся здѣшняя дѣйствительность насквозь мистична, во всякомъ своемъ явленіи преисполнена таинственныхъ силъ и божественного содержанія; съ другой стороны, когда мы читаемъ разсужденія Соловьевыа о св. Троицѣ и о другихъ тайнахъ потусторонняго міра, у насъ исчезаетъ самое впечатлѣніе тайны: все кажется намъ здѣсь черезчуръ раціональнымъ, понятнымъ, естественнымъ. Въ Соловьевѣ соприкасаются двѣ крайности: онъ совершенно не допускаетъ даже обыкновенного познанія

безъ участія мистического элемента: простое познаніе какого-либо явленія въ повседневномъ будничномъ опытѣ для него невозможно безъ соприкосновенія познающаго съ вѣчной идеей, т.-е. съ самой божественной сущностью; и съ другой стороны онъ же въ своихъ теософскихъ построеніяхъ считаетъ возможнымъ выводить a priori ученіе о св. Троицѣ изъ понятія бытія, словно какую-то геометрическую теорему.

На самомъ дѣлѣ обѣ крайности представляютъ собою проявленіе одной и той же черты—общаго источника всѣхъ недостатковъ соловьевскаго мышленія. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ одно и то-же забвеніе границъ двухъ міровъ. Границы эти нарушаются въ обѣ стороны; и оттого-то здѣшнее возводится въ мистическое, а мистическое нерѣдко трактуется какъ здѣшнее, черезчуръ легко, просто и поспѣшно укладывается въ категоріи нашего разсудка.

Въ произведеніяхъ ранняго и средняго періода Соловьева съ этой чертой связывается замѣтная пантейстическая струя въ его философіи. Правда, Соловьевъ съ самаго начала противополагаетъ свое міросозерцаніе пантейзму; но попытки его отдѣлиться отъ послѣдняго удаются далеко не въ полной мѣрѣ. Съ одной стороны здѣшняя дѣйствительность у него утрачиваетъ свою самостоятельность по отношенію къ міру божественному: она понимается то какъ его явленіе, то какъ обманчивая ложная его видимость. Говоря словами Соловьева: вѣбожественный міръ есть „не что иное, какъ міръ божественный, субъективно переставленный и опрокинутый“. Но съ другой стороны въ этомъ же отождествленіи Божественного и здѣшняго кроется противоположная опасность—принять земное за горнее. Пусть здѣшнее въ ученіи философа превращается въ полупрозрачный покровъ Божественного. Отъ времени до времени онъ сгущается въ облако, которое заслоняетъ собою свѣтъ горы Фаворъ.

Это замѣтно не въ однихъ теоретическихъ построеніяхъ, но въ особенности въ тѣхъ практическихъ планахъ преоб-

разованія человѣческаго общества, коими поглощено вниманіе философа въ средній періодъ его творчества съ первой половины восьмидесятыхъ до второй половины девяностыхъ годовъ. Соловьевъ и тутъ исходитъ изъ той же центральной идеи—Богочеловѣчества; но незамѣтно для него самого къ ней примѣшиваются его земная мечта.

Онъ хочетъ осуществленія въ земной человѣческой жизни царствія Христова, и въ этомъ заключается подлинно христіанскій элементъ его идеала. Но съ другой стороны онъ отождествляетъ царствіе Христово со всемирной теократіей. Въ этомъ отождествленіи двухъ несоизмѣримыхъ величинъ и заключается тотъ прахъ земной, прилипшій къ крыльямъ, который отягощаетъ мысль философа и задерживаетъ ея небесный полетъ.

Не имѣя возможности подробно излагать здѣсь это построеніе, я намѣчу лишь основныя его черты. Соловьевъ исходитъ изъ совершенно правильного требованія, чтобы абсолютное, божественное стало *всімъ* для человѣка, чтобы оно господствовало во всѣхъ сферахъ его жизни и личной и соціальной. Разъ религія есть для человѣка—откровеніе безусловнаго, оно не можетъ быть для него только *чѣмъ-нибудь*, оно или все или ничего. Отсюда—наша обязанность подчинить ея руководству всѣ области умственной и практической нашей жизни—всѣ наши интересы политические и соціальные.

Преображеніе Христово должно стать началомъ преобразованія всей человѣческой жизни; въ этомъ—безукоризненно правильный выводъ Соловьева; но, какъ только онъ пытается провести это требованіе въ жизнь, у него тотчасъ исчезаетъ чувство разстоянія между божественнымъ и здѣшнимъ: земные образы завладѣваютъ его воображеніемъ. И онъ пытается утвердить царство преображенаго человѣчества въ рамкахъ церковно-государственной организації.

Онъ ждетъ спасенія человѣчества отъ совмѣстнаго дѣйствія трехъ властей, которымъ надлежитъ господствовать надъ міромъ—отъ первосвященника, царя и пророка. Пер-

восвященникъ пасеть стадо Христово—церковь; православный царь съ неограниченной властью править государствомъ согласно указаніямъ первосвященника. И наконецъ,— вольный проповѣдникъ слова Божія—пророкъ—наставляетъ въ духѣ любви святителя и царя, а съ ними вмѣстѣ и все христіанское общество. Никакого принужденія въ отношеніяхъ властей нѣтъ. Царь совершенно свободно подчиняется первосвященнику какъ сынъ отцу, и оба совершенно свободно повинуются велѣніямъ Божіимъ, даннымъ черезъ пророка; столь же добровольно все христіанское стадо подчиняется своимъ вождямъ—духовному и мірскому. Ибо христіанская теократія будущаго—совершенно добровольный, свободный богочеловѣческій союзъ.

И всѣ вмѣстѣ осуществляютъ на землѣ правду—царствіе Христово: миръ между народами, миръ между классами, соціальную правду въ отношеніяхъ экономическихъ и взаимную любовь во всѣхъ политическихъ отношеніяхъ.

Уже въ этихъ немногихъ чертахъ ясно чувствуется глубокая фальшь всей этой теократической идиллии. Всѣ определенія теократіи, даваемыя Соловьевымъ, по существу двойственны и противорѣчивы.

Съ одной стороны она представляется въ видѣ какого то земного рая, гдѣ преображается не только человѣкъ, но и вся тварь; самая животная становится друзьями человѣка. Она—настоящее царствіе Божіе, „совершенное обладаніе Божіе“. Самое грѣхопаденіе—не что иное, какъ отпаденіе отъ теократіи. И рядомъ съ этимъ, въ тѣхъ же произведеніяхъ теократія изображается, какъ только временная, земная организація, вынужденная несостоятельностью человѣчества, его грѣхомъ и незрѣлостью: когда упразднится грѣховное состояніе, не будетъ надобности и въ теократіи. Несовмѣстимость этихъ утвержденій не требуетъ доказательствъ. Если теократія, какъ „совершенное обладаніе Божіе“, есть царство человѣка преображенаго, то она, очевидно, не можетъ быть только временной средой для воспитанія человѣка грѣховнаго.

И самое сочетаніе словъ „свободная теократія“ такъ же противорѣчива, какъ „круглый квадратъ“ или „деревянное желѣзо“. Теократія есть *свободный* богочеловѣческій союзъ; но въ мірскомъ порядкѣ єю правитъ *самодержавный* государь, который осуществляетъ царствіе Христово въ своемъ государствѣ вопреки безбожнымъ стихіямъ современаго общества! Представимъ себѣ въ составѣ теократической христіанской имперіи магометанъ, іудеевъ и просто невѣрующихъ! Могутъ ли они быть свободными участниками христіанскаго служенія государства? Не ясно ли, что для нихъ теократія—внѣшняя, насильственная норма? Этотъ недостатокъ у Соловьевы усиливается тѣмъ, что по его схемѣ въ теократіи государство становится частью церкви, *соціальнymъ тѣломъ Христовыimъ*. И такимъ образомъ человѣкъ можетъ стать членомъ богочеловѣческаго союза вопреки своимъ убѣжденіямъ,—не какъ вѣрующій, а какъ подданный.

Всѣ эти противорѣчія и многія другія, о которыхъ я распространяюсь не стану, коренятся въ одномъ общемъ источнику,—въ противоестественной попыткѣ Соловьевы включить государство какъ составную часть въ царствіе Божіе. Это—все та же попытка св. Петра построить три куши для Христа, Моисея и Иліи. Мірская, принудительная организація, по самому существу своему разсчитанная на человѣческія преступленія и пороки, явно не годится въ жилище преображеному Богочеловѣчеству.

Ошибка Соловьевы въ данномъ случаѣ есть нѣчто большее, чѣмъ простое теоретическое заблужденіе: она глубоко коренится въ его настроеніи. Съ теократіей связывается его земная любовь и земная мечта. Когда онъ говоритъ о теократическомъ государствѣ, онъ думаетъ о *государствѣ русскомъ*. Онъ видитъ призваніе Россіи въ томъ, чтобы создать новую священную римскую имперію будущаго и тѣмъ доставить вселенской церкви то политическое могущество, которое ей нужно, чтобы возродить и спасти Европу. Государственный мечъ Россіи въ союзѣ съ пастырскимъ жезломъ римского первосвященника долженъ покорить народы Христу.

Незамѣтно для самого Соловьева къ его идеалу царствія Божія тутъ прилѣпляется националистическая мечта о земномъ, государственномъ величіи и могуществѣ Россіи. Онъ говорить объ этомъ могуществѣ всякой разъ, когда заходитъ рѣчь о національномъ мессіанствѣ Россіи, объ ея „идеѣ“; тутъ общій смыслъ его разсужденій сводится къ тому, что для спасенія міра въ теократіи необходимо все-свѣтное могущество нашей обширной Имперіи и что, въ свою очередь, теократія удесятеритъ свѣтское могущество народа, который станетъ ей вѣрнымъ слугою и орудіемъ.

Здѣсь намъ окончательно выясняется природа той романтической дымки, которая въ средній періодъ дѣятельности нашего философа застилала его умственный взоръ. Въ концѣ міра—воскресеніе мертвыхъ, но прежде этого конца—всемірная теократія, а въ ней національное торжество Россіи, окруженнай небывалымъ величиемъ и блескомъ,—вотъ общій тонъ теократической проповѣди Соловьева. Это все то же „хорошо намъ здѣсь“ апостола Петра, если не въ учени, то въ сопровождающемъ его настроеніи.

То, что „сначала во времени“ предшествуетъ концу міра, въ теократической утопіи философа изображается слишкомъ яркими, радужными красками. Неудивительно, что подлинный конецъ и окончательный идеалъ—царствіе Божіе—по сравненію кажется блѣднымъ, а иногда и вовсе теряется въ облакахъ.

Здѣсь мы получаемъ возможность отвѣтить на основной вопросъ, поставленный въ началѣ этого чтенія. Вѣчное въ твореніяхъ Соловьева, это его учение о Богочеловѣчествѣ, какъ о движущемъ началѣ, центрѣ и концѣ міровой эволюціи; а временное,—это та романтическая греза, которая связывается съ этой идеей въ произведеніяхъ первого и средняго періода философа.

Романтизмъ этотъ у Соловьева въ большей своей части унаслѣдованъ отъ его предшественниковъ; онъ сплетается изъ многихъ элементовъ, которые всѣ коренятся въ условіяхъ мѣста и времени. Тутъ есть традиціонная, старо-рус-

ская мечта о Москвѣ, какъ о третьемъ Римѣ, въ теченіе многихъ вѣковъ передававшаяся отъ поколѣнія къ поколѣнію; къ ней присоединяются унаслѣдованныя отъ славянофиловъ и Достоевскаго мысли о національномъ мессіанствѣ Россіи и славянофильскій же культъ самодержавія, какъ сверхправового начала. Ко всему этому примѣшиваются собственный тонкій націонализмъ Соловьева, котораго онъ не могъ окончательно побѣдить; наконецъ, здѣсь есть и специфическая романтика семидесятыхъ годовъ, навѣянная событиями царствованія Царя-Освободителя. Когда Соловьевъ говорилъ о теократической миссії Россіи, ему всегда вспоминался актъ 19 февраля, внушенный христіанскимъ отношеніемъ къ образу Божію въ человѣкѣ, грезилась освободительная война 1877 г., эта безкорыстная жертва Россіи въ борьбѣ за христіанъ-единовѣрцевъ. Самый образъ царя-теократа для него находилъ яркое олицетвореніе въ облике императора Александра II-го. О немъ Соловьевъ говорилъ мнѣ однажды: „настоящій политический медіумъ“.

Словомъ, романтическая грэза теократіи коренится въ такихъ историческихъ переживаніяхъ и впечатлѣніяхъ, которые разъ навсегда унесены потокомъ времени. Самому Соловьеву пришлось пережить мучительныя разочарованія. Въ теченіе долгихъ годовъ онъ, мечтавшій о величіи возрожденной Россіи, видѣлъ въ ней сплошную мерзость запустѣнія. Образъ смерти навязывался ему всею современной ему русской дѣйствительностью. Ея прикосновеніемъ разрушались всѣ его мечты о родинѣ. Церковь, единствующая побѣдить міръ и вмѣсто того сама побѣждаемая міромъ, распавшаяся на части, какъ тѣлo, разставшееся съ душой и у насть въ Россіи превратившаяся въ родъ приказа; „мертвое тѣло русскаго бюрократизма“, которое по словамъ Аксакова, приводимымъ Соловьевымъ, разлагается и душитъ духовную жизнь въ своихъ объятіяхъ. Общество апатичное и равнодушное къ безобразію окружающей жизни, общество, о которомъ нельзѧ сказать, живо оно или мертвo, и если живо, то зачѣмъ оно существуетъ. И

наконецъ, во что превратилась власть, которая въ мечтѣ философа долженствовала воплотить божественную любовь на землѣ?

Вмѣсто того, чтобы стать орудіемъ Божескаго царства, она явила въ себѣ мертвый и мертвящій ликъ византійскаго абсолютизма. Среди этихъ удручающихъ его образовъ философъ живеть въ предвидѣніи грозы, нависшой надъ Россіей. Уже въ 1889 году онъ говоритъ: „ближайшее будущее готовить намъ такія испытанія, какихъ не знала исторія“. А въ 1894 году онъ уже явственно слышитъ раскаты грома на дальнемъ Востокѣ.

О, Русь, забудь бытую славу:  
 Орелъ двуглавый сокрушенъ,  
 И желтымъ дѣтямъ на забаву  
 Даны клочки твоихъ знаменъ.  
 Смирится въ трепетѣ и страхѣ,  
 Кто могъ любви завѣтъ забыть,—  
 И третій Римъ лежить во прахѣ,  
 А ужъ четвертому не быть.

Подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній пала мечта о третьемъ Римѣ, которая съ самаго начала была лишь времененнымъ приданкомъ въ учениіи Соловьева. То не было только разочарованіе въ русской государственности и общественности: Соловьевъ понялъ, что государственность вообще не можетъ послужить жилищемъ Божественной славы. Тѣмъ самымъ рухнула утопія теократіи. Въ концѣ своей жизни философъ съ ней разстался. Это совершенно ясно обнаруживается въ „Трехъ разговорахъ“—въ послѣднемъ крупномъ его произведеніи.

Въ той картинѣ будущаго человѣчества, которая здѣсь изображается, для теократіи совершенно не остается мѣста. Россія не только не является теократической имперіей, но не составляетъ даже особаго самостоятельнаго царства. Нѣтъ вообще теократическаго царя, потому что монархическое начало всюду пошатнулось; нѣтъ

и теократического народа, потому что христіане въ мірѣ составляютъ ничтожное меньшинство. Наконецъ, римскій первосвященникъ, изгнанный изъ Рима, живетъ изъ милости въ Петербургѣ, но подъ условiemъ воздержанія отъ пропаганды внутри страны. Словомъ, для теократіи Христовой на свѣтѣ не остается элементовъ. За то къ концу вѣковъ осуществляется пародія на любимую мечту Соловьева— бѣсовская теократія съ первосвященникомъ-лжепапой и царемъ-антихристомъ во главѣ. И вмѣстѣ съ теократіей отходитъ къ антихристу самое государство: передъ концомъ вѣковъ исчезаетъ съ лица земли самая христіанская государственность.

Такова послѣдняя и заключительная стадія въ развитіи воззрѣній Соловьева. Въ ней временное отдѣлилось отъ вѣчнаго. Разсѣялся земной миражъ, заслонявшій собой высочайшія вершины горняго міра, теократія отпала, какъ ветхая чешуя; и Соловьеву открылось видѣніе подлиннаго царствія Христова, бывшее изначала предметомъ его исканій, то самое о которомъ говорится въ заключительной страницѣ „Трехъ разговоровъ“.

„Евреи бѣжали къ Іерусалиму, въ страхѣ и трепетѣ взывая о спасеніи къ Богу Израилеву. Когда святой городъ былъ уже у нихъ въ виду, небо распахнулось великою молніей отъ востока и до запада, и они увидѣли Христа, сходящаго къ нимъ въ царскомъ одѣяніи и съ язвами отъ гвоздей на распостертыхъ рукахъ. Въ то же время отъ Синая къ Сіону двигалась толпа христіанъ, предводимая Петромъ, Ioannомъ и Павломъ, а съ разныхъ сторонъ бѣжали еще иные восторженныя толпы“.

Когда небесный громъ разбилъ земную мечту философа, онъ услышаль то самое, о чёмъ этотъ громъ нѣкогда прогремѣлъ въ отвѣтъ св. Петру на горѣ ѩаворѣ: „Сей есть Сынъ мой возлюбленный, въ которомъ мое благовolenіе, Его слушайте“.

Соловьеву не было дано ясно высказать, каковы должны быть съ этой новой точки зрѣнія задачи человѣка на землѣ

и какова должна быть оцѣнка земныхъ формъ человѣческаго общенія. Здѣсь предѣлъ его творчества, и мы на этомъ съ нимъ и разстанемся. Въ заключительномъ видѣніи „Трехъ разговоровъ“ выразилось все то вѣчное, что мы въ немъ имѣемъ.

Теперь послѣ вновь накопившихся переживаній онъ намъ особенно дорогъ и близокъ. Мы также пережили свою пору радужныхъ утопическихъ надеждъ. Русское общество мечтало о скоромъ, близкомъ осуществлѣніи царства правды на землѣ, въ которомъ наступить полное общественное обновленіе. Всѣ мы такъ или иначе участвовали въ созиданіи нашего земного рая, той преображенной земли, гдѣ должно царствовать преображенное человѣчество.

Но Россія еще не выстрадала своего просвѣтленія, не приняла еще своей послѣдней крестной муки; а потому рухнула наша хижина, построенная изъ негоднаго, наполовину скнившаго материала.

Пусть же ея крушеніе откроетъ намъ глаза на великую тайну, повѣданную намъ Соловьевымъ. Рушится все то, что не имѣеть безусловнаго основанія. Уносится временемъ все то, что не имѣеть корней въ сверхвременному. Но вѣчно пребываетъ Безусловное, Всеединое, и бессмертенъ человѣкъ, какъ сосудъ, орудіе и проводникъ божественнаго въ мірѣ.

Или міръ не имѣеть смысла, или смысьлъ этотъ есть совершенное Богочеловѣчество. Въ немъ—надежда всей твари, начало преображенія для всякаго человѣка и для всякаго народа.

Кн. Евгений Трубецкой.

# “Природа въ философії Вл. Соловьєва”<sup>1</sup>).

Мм. гг.

Великія творенія человѣческаго духа подобны горнымъ вершинамъ: ихъ бѣлоснѣжные пики поднимаются передъ нами все выше и выше, чѣмъ дальше мы отъ нихъ отходимъ. По нимъ мы ориентируемся въ пути, они всегда остаются передъ нашими глазами. Временемъ такъ испытывается подлинное величие, какъ разстояніемъ высота горъ. Мы отошли всего на 10 лѣтъ отъ дня кончины Соловьева, и какъ измѣнилась уже историческая перспектива, какъ выросъ онъ предъ нашими глазами, какое мѣсто онъ начинаетъ занимать въ нашихъ душахъ. Взамѣнъ высокомѣрно-пренебрежительного незамѣчанія—изъ Назарета можетъ ли что произойти!—полнаго почти игнорированія его философскаго творчества мы замѣчаемъ жадное всасываніе, органическое усвоеніе основныхъ началъ его философіи. Я не преувеличиваю, и посейчасъ все это остается еще слишкомъ слабо и недостаточно. Но я помню хорошо, что было 10 лѣтъ тому назадъ, когда философіи Соловьева просто почти не знали и интересовались только его публицистикой. Теперь уже и философское творчество Соловьева постепенно становится неотъемлемой принадлежностью русской культуры и русскаго самосознанія, какъ поэзія Пушкина и Лермонтова, какъ романы Достоевскаго и Толстого, какъ творчество Тургенева и Чехова. Растетъ число лицъ, со-

<sup>1</sup>) Докладъ, прочитанный (съ сокращеніями) въ засѣданіи Психологического Общества, посвященному памяти Вл. С. Соловьева, 6 ноября 1910 г.

знающихъ, насколько Соловьевъ нуженъ для современности, а также и тѣхъ, кому онъ существенно помогъ въ критические моменты духовнаго роста, кто чтитъ его какъ одного изъ своихъ учителей и утѣшителей. Благодаря многомотивности его философіи, имя Соловьева объединяетъ людей съ разнымъ духовнымъ прошлымъ и настоящимъ,—философовъ и поэтовъ, соціологовъ и естествовѣдовъ, марксистовъ и декадентовъ, священниковъ и мірянъ, правыхъ и лѣвыхъ. Каждый находитъ *свою* къ нему дорогу, получаетъ отъ него отвѣты на *свои* вопросы, выдѣляетъ свой излюбленный мотивъ изъ полнозвучнаго аккорда. Мнѣ тоже хочется сегодня выдѣлить одинъ изъ жизненныхъ мотивовъ философіи Соловьева, именно поставить предъ вами духовнымъ взоромъ ликъ природы, какъ видѣлъ его Вл. Соловьевъ.

Два кошмара угнетаютъ современное сознаніе въ философіи природы: механическій материализмъ и идеалистический субъективизмъ. Первый превращаетъ міръ въ бездушную машину, въ мертвый механизмъ, второй—въ гносеологическую схему, въ голую возможность познанія, матерію опыта, тоже пассивную, лишенную собственной жизни. Оба эти направленія мысли, философія чистаго объекта и философія чистаго субъекта, материализмъ и субъективный идеализмъ, практически объединяются, однако, въ механическомъ міровоззрѣніи: для обоихъ нѣть живой природы, а есть лишь механизмъ, проецируемый или въ объектѣ или въ субъектѣ. Между этими двумя полюсами и мечется смущенный духъ. Материализмъ есть, въ извѣстныхъ предѣлахъ, естественная и неустранимая форма человѣческаго самочувствія въ его наивной непосредственности, и этого практическаго материализма не въ состояніи уничтожить никакой идеалистической гипнозъ. Человѣкъ чувствуетъ себя природнымъ существомъ, чрезъ свое тѣло связаннымъ со всѣмъ природнымъ міромъ. Эта связь есть слишкомъ элементарный и несомнѣнныи фактъ жизни, чтобы можно было надолго о немъ забывать, и разныя материалистическая теоріи—философскій материа-

лизмъ, экономической материализмъ, новѣйшій „монизмъ“—представляютъ собою лишь попытки философски посчитаться съ этой непосредственной данностью, ее истолковать. Этотъ естественный уклонъ мысли въ сторону материализма, какъ бы ни были неудовлетворительны материалистическая теорія, не можетъ быть побѣженъ просто идеалистическимъ отрицаніемъ матеріи. Легко діалектически разрѣшать матерію въ наше представление или въ иллюзію, какъ бы въ сонъ, лишая ее всякой теплоты и красочности, но эта идеалистическая критика, сильная въ тиши замкнутаго кабинета, не обладаетъ, однако, жизненной убѣдительностью и безмолвствуетъ предъ лицомъ строгой правды жизни, предъ лицомъ голода, болѣзни, роженья, смерти. Кроме того, это идеалистическое пренебреженіе къ матеріи должно считаться и съ ея способностью къ просвѣтленію въ созданіяхъ искусства, въ красотѣ природы, въ возможномъ благородствѣ и красотѣ человѣческаго тѣла. Проникновенно говорить объ этомъ У. Джемсъ: „для человѣка, когда-либо смотрѣвшаго на лицо своего мертваго ребенка или отца, одинъ тотъ фактъ, что матерія сумѣла на время принять эту драгоценную форму, долженъ былъ бы сдѣлать матерію навсегда священной. Каковъ бы ни былъ *принцип* жизни,—материальный ли онъ или нематериальный,—но матерія во всякомъ случаѣ помогаетъ ему и подчиняется всѣмъ цѣлямъ жизни. Эта дорогая намъ тѣлесная оболочка находилась въ числѣ возможныхъ для матеріи воплощений“<sup>1)</sup>). Отсюда понятно, что сухой, механическій материализмъ у душъ поэтическихъ и нѣжныхъ принимаетъ форму религиозно-окрашенного гилозоизма, послѣднее время съ налетомъ гетеевской пантейтической мистики. Тѣмъ не менѣе послѣдовательный материализмъ неизбѣжно разлагается отъ внутреннихъ противорѣчій. Сознаніе и познаніе, волю и дѣйствіе, вообще всю жизнь духа съ его запросами, идеалами, съ его свободой, не въ силахъ объяснить материализмъ.

<sup>1)</sup> У. Джемсъ. Прагматизмъ, стр. 62—3.

Однако тотъ, для кого материализмъ становится хотя и пережитымъ, но еще внутренно не превзойденнымъ міровоззрѣніемъ, кто, разставшись съ нимъ, все же сохраняетъ въ себѣ неизгладимую память объ этомъ интимномъ переживаніи, найдетъ ли онъ успокоеніе въ господствующихъ идеалистическихъ ученіяхъ, чуждыхъ всякаго материализма, но именно поэтому безсильныхъ его окончательно преодолѣть? Ибо отвести глаза отъ предмета не значитъ еще его устраниТЬ, и разсматривать міръ изъ окна кабинета, откуда онъ представляется не живымъ, а лишь нарисованнымъ, не значитъ еще возвыситься надъ нимъ. Идеализмъ, какъ онъ есть въ господствующихъ теченіяхъ кантіанства, фихтеанства и неокантіанства, спасаетъ духовную личность отъ материализма, но цѣною обезкровленія міра, а вмѣстѣ съ нимъ и человѣка. Послѣдній превращается въ гомункула, замкнутаго въ ретортѣ и наглохо отдѣленнаго отъ другихъ людей и отъ міра. Этому гомункулу соотвѣтствуетъ и „міръ въ карманномъ форматѣ“, какъ мѣтко и зло выразился Шеллингъ по адресу Фихте по поводу этого идеалистического міра. Возможно ли міровоззрѣніе, стоя на почвѣ котораго можно было бы быть и материалистомъ, т.-е. мыслить себя въ реальномъ единствѣ съ природою и человѣческимъ родомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ утверждать и самобытность человѣческаго духа съ его запросами, съ его постулатами о сверхприродномъ, божественномъ бытіи, освѣщающемъ и осмысливающемъ собою природную жизнь? Таковъ вопросъ, который глубоко затаенъ въ душѣ у многихъ и многихъ людей нашего времени. Именно этой потребности современного духа и идетъ навстрѣчу учение Вл. Соловьева о природѣ, къ которому онъ самъ примѣнилъ однажды характерное название „религіознаго материализма“ и которое, въ болѣе строгомъ философскомъ стилѣ, можно опредѣлить какъ конкретный натурфилософскій спиритуализмъ или панпсихизмъ. Что же такое представляетъ собою этотъ религіозный материализмъ, не есть ли это явно противорѣчивое соединеніе несоединимыхъ

понятій? Напротивъ, онъ притязаетъ быть ихъ синтетическимъ единствомъ. Религіозный материализмъ, вмѣстѣ съ материализмомъ, признаетъ субстанціальность матеріи, метафизическую реальнность природы. Онъ считаетъ человѣка не духомъ, заключеннымъ въ футляръ матеріи, но духовнотѣлеснымъ, природнымъ существомъ, метафизическая судьбы которого неразрывно связаны съ природнымъ міромъ. Но въ то же время, въ противоположность материализму, онъ видить въ матеріи не одинъ только мертвый механизмъ атомовъ или силь, съ эпифеноменомъ жизни. Въ противоположность этой метафизикѣ всеобщей смерти, абсолютного механизма, онъ отстаиваетъ первичность и всеобщность жизни, развивающейся въ цѣлемеханизмѣ природы. И для него различие между живымъ и неживымъ остается не качественнымъ, но количественнымъ. „Послѣдовательная мысль должна выбирать между двумя положеніями: или ни въ чемъ, даже въ человѣкѣ, даже въ нась самихъ нѣтъ одушевленной жизни, или она есть во всякой природѣ, различаясь только по степенямъ и формамъ. Ибо нѣтъ никакой возможности, оставаясь на научной почвѣ, отдохнуть человѣка въ этомъ отношеніи отъ остального міра... Весь видимый міръ... есть продолжающееся развитіе или ростъ единаго живого существа“<sup>1)</sup>.

И подъ личиной вещества безстрastной  
Вездѣ огонь божественный горитъ...

Но кто дѣлаетъ подобное утвержденіе, будь ли то Шеллингъ или Вл. Соловьевъ, не имѣть ли противъ себя все научное естествознаніе? Не изучаетъ ли оно природу только какъ механизмъ и неувѣнчивается ли это изученіе колоссальнымъ успѣхомъ? Однако, что же даетъ право естествознанію свое условное, методологическое отношеніе къ природѣ, свои рабочія гипотезы, которыхъ притомъ столько же, сколько отдельныхъ наукъ, превращать въ общее учение о природѣ, утверждать, что природа *въ цѣломъ* выглядя-

<sup>1)</sup> Собр. соч. В. С. Соловьева, т. VI, 468.

дить такъ же, какъ видить ее физика, химія, кристаллографія, механика, что природа есть только механизмъ, а не цѣлесообразность, т.-е. универсальный организмъ? Не значитъ ли это смѣшивать гербарій и музей съ храмомъ природы или лежащій на анатомическомъ столѣ трупъ приравнивать живому человѣку? Не совершаются ли при этомъ безсознательное природоубийство? Смотрѣть на природу непосредственно, наивнооткрытыми, дѣтскими глазами теперь составляетъ двусмысленную привилегію поэтовъ. Беклину можно писать своихъ наядъ и сказочныхъ сатировъ, и сами фанатики механистической философіи не прочь на нихъ полюбоваться въ видѣ отдыха. Но въ серьеze принять это оживотвореніе природы предоставляется только поэтамъ да дѣтямъ. Чѣмъ же, замѣчаетъ по этому поводу Соловьевъ, „можетъ быть, существуетъ двѣ истины: одна для поэзіи, другая для науки? Но наука тутъ не при чёмъ; она не отвѣчаетъ за ложные выводы, которые дѣлаются изъ ея достовѣрныхъ данныхъ въ силу односторонняго направленія мысли, возобладавшаго въ извѣстную эпоху. Наука никогда не доказывала — да по существу дѣла и не можетъ доказывать,—что міръ есть *только* механизмъ, что природа есть *только мертвое существо*. Различные науки изслѣдуютъ природу *по частямъ* и находятъ между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая изслѣдовала бы вселенную въ ея единствѣ и цѣлости, вовсе не существуетъ, а логика, обязательная и для наукъ, не позволяетъ отъ анализа частей и ихъ внѣшней частичной связи дѣлать окончательное заключеніе о всеобщемъ характерѣ или смыслѣ цѣлага. Вѣдь и въ тѣлѣ живого человѣка всѣ его части и частицы связаны между собой механически, — это не мѣшаетъ ему, однако, быть одушевленнымъ существомъ... Точно также и механизмъ всей природы есть только слаженная совокупность для проявленія и развитія всемірной жизни“. Вѣдь и „для микроскопическихъ глазъ муhi вовсе не существуетъ цѣлое гармоническое очертаніе человѣка или человѣческаго лица“

съ его выражениемъ, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическомъ изслѣдованіи въ безформенную массу грубыхъ тканей и клѣтокъ, механически нагроможденныхъ безъ всякой законченности и единства<sup>1)</sup>). Но этотъ ликъ природы, невидимый въ микроскопъ, открывается просвѣтленному созерцанію святого и творческой интуїціи мыслителя и поэта.

Механическій монизмъ философії естествознанія описывается на одну общую иaprіорную предпосылку, которая не можетъ быть доказана въ наукѣ, ибо сама ее обосновывается, это именно предположение непрерывной законоимѣрности, проникающей собою всю вселенную, или единаго космического механизма. Исторически это убѣжденіе зараждается въ іудейско - христіанскомъ монотеизмѣ, связано съ вѣрой въ Единаго Творца и Вседержителя единаго міра. Эти религіозные корни науки иногда вскрываются и теперь. Такъ, напр., Кристоффъ Зигвартъ прямо утверждаетъ, что лишь монотеизмъ іудейской и христіанской религіи былъ почвой для идеи всеобъемлющей, изслѣдующей единые законы науки<sup>2)</sup>.

1) Ibid., 466—7.

2) «Политеизмъ», виляющій въ мірѣ лишь раздѣльные области независимыхъ другъ отъ друга силъ, по своей природѣ чуждъ стремящейся къ единству наукѣ. Наоборотъ, монотеизмъ іудейской и христіанской религіи далъ плодотворную почву для идеи всеобъемлющей, изслѣдующей единые законы вселенной науки. Иначе въ какой же другой формѣ могла впервые явиться идея, что небо и земля объемлются единой мыслью и что человѣкъ призванъ понять эту мысль, если не въ вѣрѣ въ Единаго Творца, создавшаго небо и землю и сотворившаго людей по образу Своему? Въ какой формѣ можно было выразить энергичнѣе, что нѣть ничего случайного и что вещи не кое-какъ переплетаются въ своихъ запутанныхъ путяхъ, какъ не въ мысли о Провидѣніи, безъ воли которого не падаетъ на землю воробей?. Достаточно взглянуть на истинныхъ основателей великихъ основоположеній современаго изслѣдованія, на Галилея и Кеплера, чтобы увидать, чѣмъ была для нихъ христіанская идея о Богѣ. Изслѣдованіе законовъ, въ которыхъ все опредѣляется мѣрою и вѣсомъ, имѣеть для Галилея смыслъ, лишь если мы вѣримъ въ постоянство и непрерывную всеобщность законовъ природы, а эта вѣра имѣеть своимъ основаніемъ вѣру во всемогущаго и мудраго Творца.

Античный міръ, если не считать отдельныхъ философскихъ течений, остается чуждъ этому универсальному механизированію жизни; тогда все было „полно боговъ“, силы природы мыслились какъ боги; и онъ изнемогалъ отъ своего политеизма, принимавшаго форму полидемонизма. Міръ былъ какъ бы раздѣленъ на обособленныя сферы, находящіяся въ вѣдѣніи отдельныхъ демоновъ, и самъ великій Панъ, всебогъ, былъ только однимъ изъ многихъ.

Нужно было освободиться отъ этого полидемонизма для того, чтобы человѣчество могло вступить на путь систематического и послѣдовательного овладѣнія природой, и этотъ экзорцизмъ, изгнаніе демоновъ, совершонъ былъ христіанствомъ. Однако, изгоняя демоновъ, христіанство не превратило міра въ бездушный механизмъ; вмѣстѣ съ великимъ Паномъ еще не умерла природа, напротивъ, она пріобщилась—черезъ воплощеніе Слова и таинства Церкви—къ новой, благодатной жизни, взамѣнъ прежней одержимости, она получила обѣтованія обоженія и грядущаго прославленія. Христіанство въ своемъ цѣльномъ подлинномъ учениіи необходимо содержитъ въ себѣ то, что Соловьевъ назвалъ религіознымъ материализмомъ, и что утрачено въ современномъ философскомъ сознаніи. Но въ этой утратѣ оказались уже вліянія новѣйшей философіи, такъ называемаго раціонализма, имѣющаго два образа: материализма и субъективнаго (транспірентального) идеализма. Эта двойственность раціонализма выразилась уже въ изначальномъ противопоставленіи отца этой философіи Декарта:—*res cogitans*, міръ познанія, и *res extans*, міръ вещей. Произошелъ незримый, но ощутительный разрывъ человѣка съ природнымъ міромъ, породившій это расщепленіе субъекта и объекта. Философія перестала разматривать

устроившаго міръ по опредѣленнымъ цѣлямъ; равнымъ образомъ сужденія и вычислениія Кеплера исходить изъ мысли, что въ мірѣ можно найти гармонію, которая должна быть дѣломъ [безконечнаго интеллекта]. *Christoph Sigwart. Kleine Schriften. Zweite Reihe. 2-te Ausg. Freiburg i. B. 1889. Ueber die sittlichen Grundlagen der Wissenschaft*, 13—14.

человѣка въ природѣ и жизнь какъ она есть въ реальной, неразсѣченной дѣйствительности, она предстала лишь какъ міръ отношеній, а не сущностей, какъ механизмъ причинъ и слѣдствій.

Рационализмъ не могъ, конечно, совершенно уничтожить болѣе жизненной философіи, достаточно назвать имена Лейбница съ его монадологіей, Гете, Шеллинга, Фехнера, Фр. Ф. Баадера, и даже Шопенгауэра и Гартмана, Лотце и Вундта, однако на сторонѣ его стоитъ не только научный позитивизмъ и материализмъ, но и современная „научная“ философія, т.-е. гносеологической идеализмъ. Строго говоря, это есть не раціонализмъ, не поклоненіе *ratio*, разуму, но *разсудочность*, построеніе философіи по схемамъ научного разума, т.-е. разсудка. Въ смѣшениі этихъ глубоко различныхъ понятій разума и разсудка повиненъ и самъ отецъ критицизма Кантъ, который подъ именемъ критики чистаго разума далъ критику чистаго разсудка. Различая и противопоставляя разумъ и разсудокъ, я вижу въ нихъ разныя употребленія мыслительной силы, присущаго намъ космическаго логоса. Но единство корня не устраниеть между ними возможныхъ и даже неизбѣжныхъ столкновений; истины умозрѣнія, необходимыя для разума, могутъ казаться совершенно непримлемы для разсудка, и тѣ, кто отожествляетъ разумъ съ разсудкомъ, объявляютъ всѣ противоразсудочные истины противоразумными (таково напр., распространенное отношение къ учению тривостасности Единаго Божества). Разсудокъ ориентируетъ насъ въ дѣйствительности на основѣ закона причинности, какъ универсального начала, не терпящаго ограниченій. Міръ для разсудка есть самозамкнутый механизмъ, который можетъ быть выраженъ въ идеальномъ предѣлѣ, какъ единая математическая формула, символизирующая міровую закономѣрность. Такимъ же механизмомъ или машиной является для разсудка и человѣкъ. Поэтому міровой механизмъ это и есть самъ разсудокъ, предписывающій, какъ сказано въ Кантовскихъ „Пролегоменахъ“, свои законы природѣ. Разсудочна въ

этомъ смыслѣ вся наука; научное постиженіе міра всецѣло основывается на этихъ предположеніяхъ разсудка, и выраженіе этого его *a priori* составляетъ безсмертную заслугу критики чистаго разсудка у Канта. Но при этомъ неизбѣжно возникаетъ и дальнѣйшій вопросъ,—о предѣлахъ разсудочности вообще. Есть ли она единственное правомѣрное употребленіе разума, и правъ ли Кантъ, ограничивая законную, плодотворную дѣятельность разума разсудочностью? Возможно ли правомѣрное употребленіе разума поверхъ разсудочности и глубже ея? Иначе этотъ же вопросъ можно выразить такъ: справедливо ли придается здѣсь основоположеніямъ разсудка исчерпывающее онтологическое значеніе? являются ли рамки разсудочной гносеологии вообще границами постигаемаго бытія? есть ли разсудочное или научное постиженіе міра и окончательное, или послѣдняя истина о мірѣ? На всѣ эти вопросы давались и даются различные и даже противоположные отвѣты, и философски безспорного здѣсь нѣтъ ничего.

Научное постиженіе ориентируетъ насъ въ мірѣ какъ совокупности вещей, нами созерцаемыхъ и имѣющихъ сдѣлаться предметомъ нашего активнаго воздействиія. Пассивность, вещность, чистая объективность и потому безжизненность этого міра составляетъ его неотъемлемое свойство. Разсудокъ знаетъ лишь вещи, для него нѣтъ ничего живого, т.-е. невещнаго. Даже явленія жизни существуютъ для него только какъ эпифеномены механизма, но никакъ самостоятельныя, не сводимыя къ вещамъ начала бытія. Поэтому чисто разсудочная или, что то же, научная философія необходимо безжизненна, весь міръ она опрыскиваетъ мертввой водой. Поэтому же у живыхъ существъ нѣтъ и не можетъ быть до конца послѣдовательной разсудочной философіи: ненавистный „психологизмъ“ оказывается въ ней неистребимъ, даже Спиноза изъ мертввой пустыни своего вещнаго детерминизма спасается въ амор *Dei intellectualis*, т.-е. все-таки живое, ибо любовное; постиженіе міра, который оказывается поэтому *Substantia sive natura sive Deus*.

И Кантъ спасается изъ царства чистой разсудочности въ практическій, т.-е. живой разумъ, цѣною внутренняго дуализма спасая личность. И наиболѣе радикальные представители философи разсудочности неизбѣжно оставляютъ возможность „практически“ устраиваться внѣ зависимости отъ нея.

Разсудочная ориентировка въ жизни (идеалъ „чистаго трансцендентализма“, съ исключеніемъ всякоаг „психологизма“) мыслима только при полномъ упраздненіи живого человѣческаго существа, въ его конкретной цѣлостности, т.-е. предполагаетъ такую дѣйствительность, которая по отношению къ нашей теперешней дѣйствительности оказывается совершенно трансцендентной, иноприродной. Разсудочность, примѣняемая какъ онтологія, есть поэтому самая радикальная метафизика трансцендентнаго, какъ ревниво она себя отъ этого ни оберегаетъ. Человѣкъ все-таки не превращается въ то безкровное, безличное единство чистой апперцепціи, или гносеологической субъектъ, какого только и признаетъ разсудочная философія. Онъ все-таки есть живой субъектъ, конкретное я, совершенно неразложимое и непостижимое, какъ механизмъ, схемами разсудка. Можно объявить это живое я несущественнымъ „психологизмомъ“, или пучкомъ представлений, разлагающихся въ механизме, рефлексомъ физико-химическихъ процессовъ и т. д. и т. д.; но спрашивается, кто же это объявляетъ, какъ не то же само живое конкретное я, и какъ можетъ я усомниться въ я? Это не выполнимо даже въ отвлечениі и абсолютно невозможно — истина, почувствованная въ философіи Фихте. Поэтому Декартъ въ своей формулѣ *cogito ergo sum*, т.-е. я пользуюсь разсудкомъ и, слѣдовательно, существую, уже выразилъ всю ограниченность и условность разсудочной философіи, которая разсудкомъ хочетъ обосновывать жизнь и бытіе, между тѣмъ какъ самъ онъ есть порожденіе жизни. Формула Декарта должна быть представлена: *Sum, ergo cogito, ergo dubito, ergo ago, ergo laboro*. Можно принять метафизическую формулу: *amo, ergo*

sum, ибо въ любви—высшее проявлѣніе жизни, но нельзя разсудочностью обосновывать бытіе.

Поэтому разсудочная философія, предъ лицомъ великаго основного и непосредственнаго факта—жизни въ ея конкретности всегда останется отвлеченностью, о которой справедливо скажетъ Мефистофель:

Grau, theurer Freund, ist jede Theorie  
Und grün des Lebens goldner Baum.

Дѣйствительность, какъ мы ее знаемъ, не исчерпывается разсудочными категоріями, а только ихъ терпитъ, допускаетъ. Она глубиннѣе, нежели рисуется въ схематическихъ проекціяхъ и чертежахъ разсудочности. Она содержитъ въ себѣ сверхразсудочный и въ этомъ смыслѣ совершенно ирраціональный остатокъ или, точнѣе, основу, которая не поддается ни подъ микроскопъ, ни подъ анатомическій ножъ, ни подъ схемы разсудочности. Дѣйствительность гораздо глубже, богаче, таинственнѣе, нежели ее рисуетъ намъ разсудочность. По глубокомысленному сравненію Бергсона, разудокъ относится къ жизни синематографически: то, что существуетъ, какъ единый и слитный актъ жизни, онъ разлагаетъ на бесконечное множество причинно связанныхъ между собою моментовъ. При движениі синематографической ленты они опять сливаются въ цѣльное изображеніе, однако мы имѣемъ уже отнюдь не живое единство, но лишь безжизненный синематографъ.

Жизнь не потому только не исчерпывается разсудочнымъ сознаніемъ, что оно имѣетъ дѣло лишь съ обезжизненнымъ содержаніемъ, но и потому, что въ ней осуществляется конкретное нераздѣльное единство воли, чувства и разума. Я существуетъ не въ раздѣльномъ видѣ какъ гносеологической субъектъ, по вѣдомству департамента гносеологии, или воляющій,—департамента этики, или чувствующій,—эстетики, таковая тривостасность я, введенная Кантомъ и унаследованная отъ него неокантіанствомъ, есть условная фикція. Та дѣйствительность, которая намъ непосредственно

дана въ внутреннемъ опытѣ, обладаетъ основнымъ качествомъ жизни, все обезжизненное и не-живое нами познается только въ отношеніяхъ къ жизни, въ терминахъ жизни; механизмъ вещей въ непосредственномъ опытѣ намъ невѣдомъ. Живое я непосредственно находитъ себя въ таинственномъ и загадочномъ единстве съ не-я или съ природой, для него есть другое я, т.-е. ты, оно способно чувствовать какъ мы и противопоставляетъ себѣ вы. Въ я дано не-я, ты, мы и вы, цѣлый міръ, живой и трепетный. Для разсудочно-механическаго, обезжизнивающаго пониманія онъ не . доступенъ, живое для него не существуетъ въ своей самобытности и автономности; оно допустимо лишь какъ атрибутъ механизма, коему предоставлено влечить жалкое беспаспортное существованіе на правахъ психологии и субъективизма за предѣлами *orbis terrarum* познанія.

Въ виду явной недостаточности разсудочной философіи, ея неадекватности жизненному опыту вопросы о томъ, что лежитъ за предѣлами разсудочности, т.-е. вопросы метафизики, неизбѣжно возникаютъ силою вещей, обладающей неистребимой живучестью. Конечно, возможна и сейчасъ является наиболѣе распространенной чисто негативная метафизика, истолковывающая смыслъ метафизическихъ вопросовъ по-Кантовски, какъ паралогизмы, или недоразумѣнія, или же вѣчныя задачи разума. Но и отрицаніе метафизики или ея „разъясненіе“ представляетъ собою уже одно изъ метафизическихъ ученій, и кто же отважится утверждать, кромѣ фанатиковъ разсудочности, что оно есть единственное возможное. По крайней мѣрѣ, не исторія философіи, которая на Кантовское *nihil* отвѣтила величественнымъ да метафизики Шеллинга и Гегеля, Шопенгауэра и Гартмана, и все говорить, что и теперь назрѣваетъ новая творческая эпоха въ метафизической мысли.

Разумъ познаетъ сущее только въ его отношеніяхъ, но не въ существѣ; действительность является одновременно и разумной, причастной разуму, доступной ему, какъ различение

и связь, и запредельной, трансцендентной для разума, какъ воля, какъ чувство, какъ любовь. Граница мысли есть мысль, всякая философія рационалистична, мыслить въ понятіяхъ разума, но разумъ знаетъ не глубину дѣйствительности, а только ея грани. Этимъ невыразимымъ и недомыслимымъ сущностямъ разумъ можетъ дать только символическосъ выраженіе въ понятіяхъ и не долженъ никогда забывать объ этомъ символизмѣ. Но, въ отличіе отъ разсудочности, метафизика не уничтожаетъ, не обходитъ, какъ опасныхъ препятствій, этихъ явнымъ образомъ алогичныхъ данностей, но, символизируя ихъ въ понятіяхъ, стремится построить систему разума, какъ схему этой дѣйствительности живой и конкретной. Разумъ стремится дать философію жизни, разсудокъ знаетъ лишь механизмъ. Для первой существуетъ живой человѣкъ въ живой природѣ, для второго— заводная машина въ безжизненномъ механизме, „вертящейся вертель“, „летящая стрѣла“, мнящіе себя свободными. Основное понятіе философіи есть, по-моему убѣжденію, не *cogito*, а *vivo*.

Богъ есть Богъ живыхъ, а не мертвыхъ.

Разумъ сталкивается съ разсудкомъ. Возникаетъ вопросъ объ размежеваніи ихъ компетенціи; разумъ долженъ очертить область разсудка, обосновать возможность разсудочнаго, научно-опытнаго знанія. Вопреки притязанію разсудочности подчинить философію наукѣ, выражающемуся въ идеалѣ научной философіи, необходимо философски объяснить фактъ науки, а не „ориентировать на немъ“ философію. Это есть проблема философіи науки, философскаго научословія, потребность въ которомъ вновь замѣтно назрѣваетъ въ современной мысли (Бутру, Бергсонъ, Пуанкарре, прагматисты). И все отчетливѣе обрисовывается „прагматический“ характеръ науки. Становясь по отношенію къ міру въ научную позу, надѣвая на себя ледяную личину разсудка, рѣшаясь „не плакать, не смѣяться, но понимать“, человѣкъ вырывается у природы если не ея тайны, закрытыя холодному разсудку, то ея секреты, по-

лезные для жизни. Разсудочность имѣеть глубокіе корни въ утилитарно-прагматическомъ отношеніи къ природѣ. И современный прагматизмъ только разгласилъ тайну рационализма, сдѣлавъ своимъ боевымъ принципомъ то, что молча, потихоньку дѣлала и дѣлаетъ европейская мысль въ новѣйшую эпоху. И если ужъ искать истиннаго родоначальника прагматизма, а вмѣстѣ и наиболѣе тонкаго его представителя, то это былъ Кантъ, обосновавшій условность и относительность, антропоморфизмъ всего человѣческаго опыта, а вмѣстѣ съ тѣмъ пытавшійся замкнуть мысль въ этой оградѣ субъективизма. И Шиллеръ съ Протагоровскимъ „человѣкъ есть мѣра вещей“ лишь договариваетъ недоговоренное Кантомъ; но это же самое дѣлается теперь и въ неокантіанствѣ. Однако, если прагматизмъ какъ научная практика представляетъ собой нѣчто естественное, необходимое и законное, то, провозглашенный въ качествѣ философіи, онъ есть самоубійство разсудочности, какъ и всякий радикальный скептицизмъ. И неудивительно поэому, что онъ вызвалъ противъ себя наибольшую враждебность именно среди тѣхъ, чью тайну онъ такъ прямодушно разгласилъ.

Тѣмъ не менѣе наука, или вообще разсудочная мысль, при всей относительности и условности своихъ истинъ и понятій, есть прежде всего фактъ, требующій своего объясненія. И это объясненіе можетъ быть дано только на основаніи онтологического предположенія, совершенно выводящаго за предѣлы разсудочной философіи, именно, что логическая связь вещей, устанавливаемая въ разныхъ ракурсахъ дѣятельностью разума и разсудка, не субъективна только, но объективна, принадлежитъ природѣ вещей, и познаніе возможно только въ силу причастности нашего разума къ разуму вещей. Наше познаніе возможно лишь постольку, поскольку логична сама дѣйствительность и поскольку мы реально пріобщаемся въ немъ къ Логосу. Другими словами, наука обосновывается въ метафизикѣ.

На основаніи сказанного о характерѣ разсудочной фило-

софії легко заключить, чѣмъ является въ ней природа. Говоря словами Шеллинга, „общій недостатокъ всей новоевропейской философіи, начиная съ Декарта, въ томъ, что для нея не существуетъ природы, что у нея нѣтъ живой основы“<sup>1)</sup>). Природа есть лишь возможность явлений, основа опыта, нѣкоторое, вполнѣ неопределенное нѣчто, оформленное познавательными категоріями разсудка. Это толькъ ирраціональный толчокъ, которымъ не-я стучится въ я въ системѣ Фихте и въ нѣкоторыхъ доктринахъ современаго неокантіанства. Причемъ это понятіе діалектически разлагается на двѣ противоположности, представленные въ двухъ основныхъ направленіяхъ разсудочной философіи: идеализмѣ и материализмѣ. Природа въ разсудочной философії познается только какъ механизмъ, сплошная цѣпь причинъ и слѣдствій. „Въ природѣ можно безъ удивленія видѣть (говоритъ Кантъ въ первомъ изданіи *Критики Чистаго Разума*) одну лишь коренную способность всего нашего познанія, именно трансцендентальную апперцепцію, то единство, только благодаря которому она и можетъ быть названа объектомъ всего возможнаго опыта, т.-е. природой, и именно поэтому можно необходимо познать это единство, а priori.“ Слѣдовательно, природа есть лишь зеркало нашей познавательной субъективности, нѣчто „метеорическое“. Въ такой призракъ превращается природа у Канта, а еще больше у Фихте и въ новѣйшемъ неокантіанствѣ радикально идеалистического направленія. Съ другой стороны, разсудочная философія, не искушенная критицизмомъ, впадаетъ неизбѣжно въ механическій материализмъ. Она прямо разсматриваетъ природу какъ связную, хорошо слаженную машину, какъ систему атомовъ или силь. Въ качествѣ рабочей гипотезы естествознанія, по справедливому замѣчанію Ланге (въ *Истории материализма*), эта точка зреянія оказалась весьма пригодной, но отнюдь не въ философії. Въ сторонѣ отъ этого торнаго пути европейской

<sup>1)</sup> Шеллингъ. Философскія изслѣдованія о сущности человѣческой свободы, 24.

мысли стоять лишь Шеллингъ съ его натурфилософіей, генеалогія которой восходитъ не только къ Канту, но и къ мистической философії Бёме, Баадера и восточнаго христіанскаго умозрѣнія, да еще Фехнеръ, оказавшій вліяніе на Вундта, и Гартманъ. Природа умираеть въ новой философіи, и это несмотря на ростъ пантейстическихъ настроеній. Если видѣть въ механическомъ міровоззрѣніи философскую истину, тогда придется сказать, что разсудочная философія совершила огромнѣйшее историческое дѣло, открыла, дѣйствительно, новую эру въ історіи сознанія. И наоборотъ, если видѣть въ его торжествѣ лишь аберрацію мысли, тогда необходимо признать, что въ немъ философія сдѣлала шагъ назадъ по сравненію съ античной и средневѣковой мыслью или, выражимся точнѣе, перебаливаетъ какой-то своей специфической болѣзнью, невѣдомой прежнимъ эпохамъ. Природа, которая нѣкогда была живою для человѣка, теперь для него омертвѣла, произошло какъ будто новое изгнаніе Адама изъ рая. Природа открыла свои секреты, но затаила свою тайну. Античный человѣкъ находитъ въ природѣ цѣлый сонмъ живыхъ существъ. Въ шелестѣ Додонскаго дуба онъ слышитъ божественный оракулъ, и ручей шепчетъ ему свою сказку. Также и философская спекуляція античности возвышается до величественныхъ учений о міровой душѣ у Платона и Плотина и о природномъ цѣлемеханизмѣ Аристотеля, при чёмъ оба эти ученія составляютъ драгоценнѣйшее философское наслѣдіе античности, переданное ею грядущимъ вѣкамъ, поистинѣ *κτῆμα εἰς δεῖ*. Великій Панъ умираеть, когда надъ міромъ водружается Крестъ, но съ нимъ не умираеть природа. Освобожденная отъ чаръ вакхического оргіазма и стряхнувшая оковы полидемонизма, она возрождается къ новой мистической жизни. Она вздымается на встрѣчу приклонившемуся небу и пріемлетъ воплощающейся Логосъ, выражая свое свободное согласіе на Высшую волю. Устами непорочнѣйшаго своего созданія, пречистой Дѣвы, говоритъ природа: „се раба Господня, да будетъ мнѣ по

слову Твоему". Матерія становится богоматеріей, изъ нея рождается Богоматерь, чрезъ которую совершаются воплощеніе Слова, а съ нимъ начинается новая космическая эпоха. Природа въ человѣкѣ черезъ церковь становится способной къ обоженію, и это получаетъ явное свидѣтельство въ таинствѣ Тѣла и Крови. Этотъ религіозный материализмъ проникаетъ всю христіанскую доктрину, формулируется въ твореніяхъ отцовъ и учителей церкви,—назовемъ хотя св. Аѳанасія Александрійскаго,—получаетъ доктринальское выраженіе на вселенскихъ соборахъ и опредѣляетъ церковную практику. Судьбы природы, стенающей и ожидающей своего освобожденія, отнынѣ связываются съ судьбами человѣка, „повинувшаго“ ее; новое небо и новая земля входятъ уже необходимымъ элементомъ въ составъ христіанской эсхатологіи. Новые вѣрованія, связанныя съ новымъ религіознымъ опытомъ, находятъ выраженіе и въ новыхъ философскихъ спекуляціяхъ православнаго востока и запада, въ твореніяхъ Оригена, блаженнаго Августина, св. Григорія Нисскаго, св. Максима Исповѣдника, Псевдо-діонісія Ареопагита, I. Скота Эригены, а позднѣе средневѣковыхъ и новѣйшихъ мистиковъ, у итальянскихъ натурфилософовъ эпохи возрожденія, въ ученіяхъ Лейбница, Шеллинга, Баадера. И тѣмъ не менѣе надо констатировать, что съ началомъ господства разсудочной философіи, съ вѣка Декарта, Спинозы, Канта и новѣйшаго критицизма и материализма, эта философская традиція рѣзко обрывается. Получается впечатлѣніе, что произошелъ какой-то подпочвенный, мистический сдвигъ, изсякли какіе-то подземные источники, питавшіе собою эту традицію. Какъ будто мертвящій вѣтръ пронесся надъ тварью, и поникли ея лики. Въ сознаніи это и выразилось въ преобладающемъ вліяніи разсудочной философіи, въ вѣяніяхъ такъ называемаго просвѣтительства. Борьба съ нимъ, естественно, должна выразиться въ стремленіи къ такому философскому міровоззрѣнію, которое, не умаляя значенія науки и вообще разсудочности, а отводя ей свое мѣсто, философски возвышалась

бы надъ ней, снова возстановляла бы связь человѣка съ сердцемъ природы. Такова проблема натурфилософіи, какъ она представилась уже философскому генію Шеллинга. И еще отчетливѣе ставится она въ философіи Соловьева: чрезъ природу какъ объектъ естествознанія прозрѣвать природу какъ сущее, въ механизмѣ увидѣть организмъ, въ бездушной природѣ познать Божію тварь—такова одна изъ самыхъ центральныхъ задачъ метафизики Соловьева, а его учение о природѣ и міровой душѣ есть одно изъ самыхъ центральныхъ его учений, притомъ особенно интересное именно для нашего времени. Мы вступаемъ въ эпоху начинаящагося кризиса разсудочной философіи, едва ли не совершившей уже полный циклъ своего развитія. Не только въ философіи, но и въ самомъ естествознаніи зарождаются и крѣпнутъ теченія, которыя, если мысленно продолжить ихъ, приведутъ насъ въ русло античныхъ идей о міровой душѣ или христіанского учения объ обожающейся твари. Твердыня механическаго материализма научно поколеблена. Въ религіозномъ сознаніи нашихъ дней также замѣтна неудовлетворенность одностороннимъ пониманіемъ христіанства, какъ индивидуально-этическаго учения, снова нарождается потребность въ христіанской натурфилософіи. Наконецъ, и въ дѣйственному, практическомъ сознаніи человѣчества по-новому ощущается проблема объ отношеніи человѣка къ космосу. Мы живемъ въ вѣкъ небывалаго и, повидимому, еще находящагося только въ началѣ хозяйственного овладѣнія природой. Міръ пластиченъ, онъ послушенъ нашей волѣ, провозглашаетъ современный прагматизмъ, и въ этой пластичности нась убѣждаетъ каждый новый шагъ въ покореніи природы, въ этомъ непрерывномъ ея очеловѣченіи. Да, міръ пластиченъ, но что же значить эта пластичность, можно ли ее философски понять, объяснить возможность, установить предѣлы? Это ставить предъ философскимъ сознаніемъ совершенно новую—или, по крайней мѣрѣ, въ такой формѣ никогда еще не стоявшую—проблему философіи хозяйства. И всѣ эти про-

блемы связаны съ общей философией природы. Это — вопросы, которые выходятъ за предѣлы научнаго естество-знанія въ область метафизики природы. Это грандіозное по замыслу ученіе о природѣ никогда не было проработано Соловьевымъ въ завершенную систему. Мы имѣемъ не рисунокъ, а скорѣе чертежъ, хотя и сдѣланный рукою мастера, но мѣстами незаконченный и не разъ передѣлывавшійся въ частностяхъ. Въ разныя эпохи и въ разной формѣ возвращается онъ къ этому ученію: въ философскихъ трудахъ, въ критикѣ и публицистикѣ, въ поэзіи и, какъ мы теперь знаемъ, въ частной перепискѣ. Вездѣ предносится предъ нимъ Она, Вѣчная Женственность, Божественная Софія, Душа міра. И это дѣлаетъ изложеніе и истолкованіе этого ученія, въ особенности съ его варіантами, вообще довольно затруднительнымъ. Наиболѣе систематическое выраженіе оно получаетъ въ „Чтеніяхъ о Богочеловѣчествѣ“ и во французскомъ трактатѣ *la Russie et l'Église universelle*); но и между ними имѣются немаловажные варіанты (напр., въ изображеніи творенія міра Богомъ). Это ученіе вводить насъ притомъ въ центральный лабиринтъ Соловьевской мысли. Поэтому я долженъ заранѣе отказаться отъ мысли сдѣлать его здѣсь общедоступнымъ и ограничусь лишь краткимъ указаніемъ на его основныя черты.

Въ разматриваемомъ учени Соловьева мы видимъ переливы и отраженія многихъ предшествовавшихъ философскихъ ученій, которыя онъ объединяетъ въ широкомъ синтетическомъ охватѣ: здѣсь чувствуется Платонъ и Плотинъ, и Аристотель, и христіанскоѣ богословіе, Лейбницъ и Кантъ, Шопенгауэръ и Шеллингъ. Можно съ полнымъ убѣждѣніемъ сказать вмѣстѣ съ кн. С. Н. Трубецкимъ, что едва ли можно назвать „въ новѣйшей исторіи мысли синтезъ болѣе широкій, чѣмъ тотъ, который былъ задуманъ имъ съ такой глубиной, такъ ясно, стройно и смѣло“ <sup>1)</sup>). И если теперь иногда раздаются голоса, которые отрицаютъ фило-

<sup>1)</sup> Собр. соч. кн. С. Н. Трубецкого, т. I, 348.

софскую оригинальность Соловьева на томъ основаніи, что его творчество находится въ ясной и несомнѣнной связи съ исторіей мысли, продолжаетъ міровую философскую традицію; то этимъ только обнаруживается непониманіе задачъ и предѣловъ индивидуального творчества. Ближе всего Соловьевъ въ разсматриваемомъ ученіи стоитъ, безспорно, къ Шеллингу второго и третьаго періода, въ отдѣльныхъ пунктахъ соотвѣтственныя ученія Шеллинга глубже и гениальнѣе, но даже поставленный рядомъ съ этимъ удивительнымъ мыслителемъ нашъ философъ не теряетъ своей индивидуальности, а, кромѣ того, отличается отъ него болѣе позднимъ историческимъ возрастомъ и слѣдовательно большей широтой синтеза. Природа есть живое существо, природа есть сущее, природа есть абсолютное. Но въ отличіе отъ пантегизма, хотя и постигающаго жизнь природы, но отожествляющаго ее съ божествомъ, у Соловьева природа есть лишь *другое* Бога, Его твореніе и образъ, второе абсолютное, становящееся имъ въ процессѣ, во времени. Въ ученіи Соловьева проводится ясная грань между Творцомъ и тварью, но вмѣстѣ съ тѣмъ устанавливается и тѣсная связь. Вмѣстѣ съ Беме, Баадеромъ и Шеллингомъ Соловьевъ учитъ о природѣ въ Богѣ, потому имѣющей вѣквременное и предвѣчное существованіе. Божеству принадлежитъ положительное всеединство, потенциальная множественность идей или существъ, связываемая единящимъ началомъ Логоса, второй чистоты. Этому произведеному единству Соловьевъ усваиваетъ библейское название Софіи. „Софія есть тѣло Божіе, матерія Божества, проникнутая началомъ божественного единства. Осуществляющій въ себѣ или носящій это единство Христосъ, какъ цѣлый божественный организмъ — универсальный и индивидуальный вмѣстѣ — есть и Логосъ и Софія (III, 106)... Это „все“, которое содержится въ божественномъ единстве и первоначально имѣеть свое бытіе только въ немъ, само по себѣ есть лишь потенція бытія, первая матерія или не-сущее (*μτ̄ δν*).

„Божество эту потенцію бытія вѣчно осуществляетъ, всегда наполняетъ безпредѣльность существованія такимъ же безпредѣльнымъ, абсолютнымъ содержаніемъ, всегда утоляетъ имъ бесконечную жажду бытія, всему существу свойственную“ (III, 124—5). Но въ каждой изъ частныхъ существостей, входящихъ въ это всеединство и составляющей собой не все, а лишь частное, одно изъ многаго, и не могущей быть непосредственно всѣмъ, „абсолютная полнота бытія открывается какъ бесконечное стремленіе, какъ неутолимая жажда бытія, какъ темный, вѣчно ищущій свѣта огонь жизни“ (125), какъ безпредѣльное (*ἄπειρον*). „Это безпредѣльное, которое въ Божествѣ есть только возможность, никогда не допускаемая до дѣйствительности (какъ всегда удовлетворяемое или отъ вѣка удовлетворенное стремленіе), здѣсь—въ частныхъ существахъ—получаетъ значеніе коренной стихіи ихъ бытія, есть центръ и основа всей тварной жизни (*μητήρ τῆς ζωῆς*)“ (125). Въ „распаленномъ колесѣ жизни“ эта безпредѣльная слѣпая жажда, неугасающая первоволя, неусмиренный, хотя и скованный хаосъ чувствуется какъ стихія ужаснаго, ослѣпляющая наше ночное сознаніе.

На міръ таинственныхъ духовъ,  
Надъ этой бездной безъимянной  
Покровъ наброшенъ златотканый  
Высокой волею боговъ

Но когда ночь отбрасываетъ этотъ покровъ, то  
...бездна намъ обнажена,  
Съ своими страхами и мглами  
И нѣтъ преградъ межъ ей и нами:  
Вотъ отчего намъ ночь страшна.

Соловьевъ мастерски сумѣлъ оцѣнить и философски истолковать проникнутую этой стихіей поэзію Тютчева, которой посвятилъ глубокомысленный этюдъ. И съ особеннымъ проникновеніемъ останавливается онъ надъ вѣщими стихами Тютчева о темномъ корнѣ мірового бытія, о первобытномъ хаосѣ, на этомъ ясновидѣніи философа-поэта.

О чѣмъ ты воешь, вѣтъ ночной,  
 О чѣмъ ты сѣтуешь безумно?  
 Что значитъ странный голосъ твой  
 То глухожалобный, то шумный?  
 Понятнымъ сердцу языкомъ  
 Твердишь о непонятной мукѣ  
 И роешь и взрываешь въ немъ  
 Порой неистовые звуки.  
 О, страшныхъ пѣсень сихъ не пой  
 Про древній хаосъ, про родимый!  
 Какъ жадно міръ души ночной  
 Внимаетъ повѣсти любимой!  
 Изъ смертной рвется онъ груди  
 И съ беспредѣльнымъ жаждетъ слиться...  
 О, бурь уснувшихъ не буди:  
 Подъ ними хаосъ шевелится!..

Свѣтъ освѣщаетъ тьму, но въ то же время и предполагаетъ ее, и побѣда надъ хаосомъ являеть его положительное преодолѣніе, вотъ почему корни бытія глубоко погружаются въ темныя нѣдра.

Свѣтъ изъ тьмы: надъ черной глыбой  
 Вознестися не могли бы  
 Лики розъ твоихъ,  
 Если бъ въ сумрачное лоно  
 Не впивался погруженный  
 Темный корень ихъ.

Положительное всеединство есть организмъ живыхъ идей или, какъ можно выразиться съ Лейбницемъ, монадъ. Но если у Лейбница монады „не имѣютъ оконъ“ другъ для друга и общаются лишь на основѣ предустановленной гармоніи, то у Соловьевъ онѣ соединены узами любви <sup>1)</sup>,

<sup>1)</sup> Я не останавливаюсь здѣсь на томъ философскомъ истолкованіи, которое Соловьевъ даетъ сотвореню природнаго міра. Онъ колеблется притомъ между, по крайней мѣрѣ, двумя варіантами этого истолкованія: въ „Чтеніяхъ о богочеловѣчествѣ“ твореніе описывается такъ, что божество сопрягается актомъ своей воли (первая упостась) съ идеями, изъ которыхъ каждая воспринимаетъ этотъ актъ по-своему и становится „въ душу живу“.

представляющей собою основное космическое начало. Въ мірѣ душъ, т.-е. въ нашемъ природномъ мірѣ, центральное мѣсто принадлежитъ человѣчеству. „То второе, произведенное единство, которому мы дали мистическое имя Софіи, есть начало человѣчества, есть идеальный или нормальный человѣкъ. И Христосъ, въ этомъ единствѣ причастный человѣческому началу есть человѣкъ, или, по выражению священного писанія, второй Адамъ“ (III). Хотя человѣкъ появляется въ природѣ на опредѣленной ступени я развитія и ведеть временное и эмпирически измѣнчивое существованіе, но какъ умопостигаемая сущность онъ предвѣчно есть, и „допущеніе безконечного существованія послѣ смерти никакъ не вяжется съ ничтожествомъ до рожденія“ (117). И, наоборотъ, рассматривать человѣка исключительно какъ результатъ эволюціи и трансформаціи, т.-е. въ концѣ-концовъ сводить его происхожденіе къ абсолютной случайности, конечно, противорѣчило бы основамъ метафизики Соловьевъ. Но въ то же время идея эволюціи, послѣдовательного развитія во времени, составляетъ необходимую часть системы Соловьевъ, однако, эту эволюцію онъ понимаетъ не какъ дѣло абсолютного случая или творчество изъ ничего, но лишь какъ выявление силъ, заложенныхъ въ мірозданіи, поэтому и сама эволюція въ основахъ и задачахъ своихъ есть процессъteleологический. Отмѣчу кстати, что въ этомъ пунктѣ чрезвычайно приближается къ Соловьеву Ch. Renouvier въ своемъ интересномъ трактатѣ „Le personnalisme“, 1903, излагающемъ ученіе о мірѣ какъ твореніи Божіемъ, и обѣ его эволюціи какъ о процессѣ, возвращающемъ лишь вложенные въ мірѣ сѣмена.

---

Во французской же книгѣ „La Russie et l'eglise universelle“ твореніе состоитъ въ томъ, что Божество воздерживается отъ осуществленія своего всемогущества и, освобождая отъ своей воли, даетъ свободу самостоятельному существованію твари. Также колеблется Соловьевъ и при согласованіи этого ученія съ библейскимъ разсказомъ о сотвореніи міра, наиболѣе приближаясь къ нему во французской книгѣ и „Судьбахъ теократіи“. Нельзя отдать лястся однако отъ того впечатлѣнія, что полной внутренней устойчивости въ этомъ вопросѣ Соловьевъ такъ и не достигъ.

Человѣкъ въ его вѣчномъ и доприродномъ состояніи разсматривается Соловьевымъ не какъ индивидъ или особь и не какъ агрегатъ ихъ или общество, но какъ „цѣлый, универсальный и индивидуальный организмъ“ (116). Въ человѣкѣ находитъ сознаніе и единство все, и въ этомъ смыслѣ человѣчество есть міровая душа, „она занимаетъ посредствующее мѣсто между множественностью живыхъ существъ, составляющихъ реальное содержаніе ея жизни, и безусловнымъ единствомъ Божества, представляющимъ идеальное начало и норму жизни“ (129). „Заключая въ себѣ и божественное начало, и тварное бытіе, она не опредѣляется исключительно ни тѣмъ, ни другимъ и следовательно пребываетъ свободной“ (*ibid.*). Но если въ божественномъ мірѣ все находится въ единствѣ и гармоніи, то откуда же зло, дисгармонія, муки этого міра? Откуда въ немъ временность или процессъ, т.-е. разорванность, частичность, дискурсивность, наконецъ, смерть? Не станетъ ли существованіе этого міра еще болѣе загадочнымъ и непонятнымъ, если принять ученіе о природѣ въ Богѣ и о вѣчномъ существованіи человѣчества какъ міровой души? Соловьевъ отвѣчаетъ на эти вопросы такъ: „тотъ міръ, который по слову апостола, весь во злѣ лежитъ, не есть какой-нибудь безусловно отдѣльный отъ міра божественного, состоящий изъ своихъ особенныхъ существенныхъ элементовъ, а это есть только другое, недолжное взаимоотношеніе тѣхъ же самыхъ элементовъ, которые образуютъ и бытіе міра божественного. Недолжная дѣйствительность природного міра есть разрозненное и враждебное другъ къ другу *положеніе* тѣхъ же самыхъ существъ, которыхъ въ своемъ нормальному отношеніи, именно въ своемъ внутреннемъ единствѣ и согласіи входятъ въ составъ міра божественного... природа въ своемъ противоположеніи съ Божествомъ можетъ быть только другимъ положеніемъ или *перестановкой* известныхъ существенныхъ элементовъ, пребывающихъ субстанціально въ мірѣ божественномъ“ (122). „Одинъ изъ нихъ представляетъ единство

всѣхъ сущихъ, или такое ихъ положеніе, въ которомъ каждый находитъ себя во всѣхъ и всѣ въ каждомъ; другой же напротивъ, представляеть такое положеніе сущихъ, въ которомъ каждый въ себѣ или въ своей волѣ утверждаетъ себя внѣ другихъ и противъ другихъ (что есть зло) и тѣмъ самымъ претерпѣваеть противъ воли своей внѣшнюю дѣйствительность другихъ (что есть страданіе)“ (122). Происхожденіе зла, составляющаго общую болѣзнь міра необъяснимо причинами физическими, оно можетъ найти только метафизическое объясненіе въ премірномъ отпаденіи мировой души отъ Бога и утраты ею вслѣдствіе этого способности быть единящимъ центромъ творенія. „Мировая душа содержитъ въ единствѣ всѣ элементы міра, лишь поскольку она сама подчиняется воспринимаемому ею божественному началу, поскольку она имѣетъ это божественное начало единственнымъ предметомъ своей жизненной воли, безусловной цѣлью и средоточиемъ своего бытія“ (130). Но какъ свободная, міровая душа можетъ измѣнить центръ своего стремленія. „Обладая всѣмъ, она можетъ хотѣть обладать имъ *иначе*, чѣмъ обладаетъ, т.-е. можетъ захотѣть обладать имъ *отъ себя* какъ Богъ, можетъ стремиться, что бы къ полнотѣ бытія, которая ей принадлежитъ, присоединилась и абсолютная *самобытность* въ обладаніи этой полнотой,—что ей не принадлежитъ. Въ силу этого міровая душа можетъ отде́лить относительный центръ своей жизни отъ абсолютного центра жизни Божественной, можетъ утверждаться внѣ Бога“ (131). Но, „останавливая свою волю на самой себѣ, сосредоточиваясь въ себѣ, она отнимаетъ себя у всего, сама становится лишь однимъ изъ многихъ... Единство мірозданія распадается тогда на множество отдельныхъ элементовъ, всемірный механизмъ обращается въ механическую совокупность атомовъ... частные элементы всемірного организма теряютъ въ ней свою общую связь и, предоставленные самимъ себѣ, обрекаются на разрозненное эгоистическое существованіе, корень которого есть зло, а плодъ—страданіе. Такимъ образомъ вся тварь подвергается

суетъ и рабству тлѣнія не добровольно, а по волѣ подвергнувшаго ее, т.-е. міровой души, какъ единаго свободнаго начала природной жизни" (131). „Отпавшій отъ божественаго единства природный міръ является какъ хаосъ разрозненныхъ элементовъ. Множественность распавшихся элементовъ, чуждыхъ другъ другу, непроницаемыхъ другъ для друга, выражается въ реальномъ пространствѣ. Вытекающая изъ механическаго взаимодѣйствія элементовъ сложная система внѣшнихъ силъ, толчковъ и движений образуетъ міръ *вещества*“, и „постепенная реализація идеального всеединства составляетъ смыслъ и цѣль мірового процесса. Какъ подъ божественнымъ порядкомъ все *вѣчно есть* абсолютный организмъ, такъ по закону природнаго бытія все постепенно *становится* такимъ организмомъ *во времени*“ (132—3). Душа міра, утерявъ первоначальную единящую силу, становится лишь потенцией и смутнымъ стремленіемъ къ такому единенію. Дѣйствующей силой единенія становится уже само божественное начало. „Здѣсь божественное начало стремится къ тому же, къ чему и міровая душа,—къ воплощенію божественной идеи или къ обожествленію (*theosis*) всего существующаго чрезъ введеніе его въ форму абсолютнаго организма“ (134). Но это возсоединеніе можетъ совершиться только на основѣ *свободы*, а слѣдовательно, продолжительнымъ и мучительнымъ историческимъ процессомъ. Сначала устанавливается внѣшнее единство—въ законѣ тяготѣнія, затѣмъ послѣдовательными ступенями развитіе міра достигаетъ жизни органической и, наконецъ, появленія человѣка. „Въ человѣкѣ міровая душа впервые внутренно соединяется съ собственнымъ Логосомъ въ сознаніи какъ чистой формѣ всеединства“ (138). Поэтому „человѣкъ является естественнымъ посредникомъ между Богомъ и материальнымъ бытіемъ, проводникомъ всеединящаго божественнаго начала въ стихійную множественность,—устроителемъ и организаторомъ вселенной“ (138). Какъ и міровая душа, онъ имѣеть свободу выбора,—онъ воленъ утверждать себя отдельно отъ Бога и повторяетъ въ себѣ изначальное грѣхопаденіе

мірової души, становится благодаря ему вмѣсто центра снова периферіей<sup>1)</sup>). Единоство его сознанія превращается въ пустую форму, ждущую своего наполненія. „Это внутреннее усвоеніе сознаніемъ абсолютного содержанія (по необходимости постепенное) образуетъ новый процессъ, субъектомъ котораго является міровая душа въ формѣ дѣйствительного подчиненного міровому порядку человѣчества“ (140). Здѣсь понятіе о міровой душѣ приближается къ понятію Кантовскаго трансцендентальнаго субъекта, устанавливающаго своими категоріями объективность познанія. (Впрочемъ, это отожествленіе его съ міровой душой сдѣлано было лишь кн. С. Н. Трубецкимъ, но вполнѣ въ духѣ Соловьева.) Начинается историческій процессъ. Божественное начало дѣйствуетъ въ человѣческой исторіи какъ подавляющее темные силы просвѣтляющее и, наконецъ, перерождающее. Для этого „Божественный Логосъ рождается какъ дѣйствительный индивидуальный человѣкъ“ (147). „Иисусъ Христось, второй Адамъ,—не только индивидуальное, но универсальное существо, обнимающее собой все возрожденное, духовное человѣчество“ (151). „Человѣчество, возсоединенное съ своимъ божественнымъ началомъ чрезъ посредство Иисуса Христа, есть церковь, и если въ вѣчномъ первобытномъ мірѣ идеальное человѣчество есть тѣло божественного Логоса, то въ природномъ, происшедшемъ мірѣ церковь является какъ тѣло того же Логоса, но уже воплощенаго, т.-е. исторически обособленного въ богочеловѣческой личности Иисуса Христа“ (159). Но достиженіе этой полноты въ человѣчествѣ „обусловлено тѣмъ же, чѣмъ въ Богочеловѣческой личности, т.-е. самоотверженіемъ человѣческой воли и свободнымъ подчиненіемъ ея Божеству“ (160). Предѣломъ этого процесса является возстановленіе изначального всеединства, брачная вечеря Агнца и уготовавшей себя Невѣсты, новая Кана Галилейская. Это необходимо связано съ преображеніемъ твари и съ всеобщимъ воскресеніемъ,

<sup>1)</sup> Этотъ пунктъ особенно темно изложенъ у Соловьева и, очевидно, не достигъ въ его мышленіи полной ясности.

предваряемымъ воскресенiemъ одного, Первенаца изъ мертвыхъ. Это воскресеніе Соловьевъ разсматриваетъ не только какъ постулатъ вѣры, но и какъ заключительное звено міровой эволюціи, какъ внутренно необходимое ея завершеніе (онъ колебался въ разныя времена жизни относительно степени участія въ немъ самого человѣчества, мысля его то какъ воскрешеніе силами объединившагося, овладѣвшаго природой человѣчества—подъ вліяніемъ Н. О. Феодорова, то какъ творческій актъ Божіей воли). Но онъ не мирился съ тѣмъ представлениемъ, которое глубоко залегло въ современныхъ теоріяхъ земного прогресса, съ забвеніемъ отцовъ, со стороны счастливыхъ потомковъ, унаслѣдовавшихъ блага прогресса. „Какимъ образомъ“, спрашиваетъ онъ въ *Смысли любви*, „окончательное и высшее состояніе можетъ быть основано на несправедливости, неблагодарности и забвѣній? Человѣкъ, достигшій высшаго совершенства, не можетъ принять такого недостойнаго дара; если онъ не въ состояніи вырвать у смерти *всю* ея добычу, онъ лучше откажется отъ бессмертія“. „Наше личное дѣло, поскольку оно истинно, есть общее дѣло всего міра,—реализація и индивидуализація всеединой идеи и одухотвореніе матерії“ (VI, 410—11). Бессиленъ подвигъ Пигмаліона, изваявшаго изъ мрамора божественное тѣло, и не спасетъ Евридики отъ мрака Аида победа Алкида, спасаетъ только Орфей, въ образѣ кото-раго въ катакомбахъ изображался Христосъ:

Волны пѣсни всепобѣдной  
Потрясли Аида сводъ,  
И владыка смерти блѣдной  
Эвридику отдаетъ („Три подвига“).

Здѣсь дана только общая схема метафизики природы у Соловьевца. Я далекъ отъ того, чтобы видѣть въ имѣющихъ наброскахъ Соловьева совершенно законченное учение, напротивъ, скорѣе это—тема для будущей разработки, гениальная интуиція. Но и въ теперешнемъ видѣ эти идеи и темы представляютъ драгоцѣнное наслѣдство для русской философии, кн. 105.

ской философской мысли, для творческаго ихъ развитія.

Seid ihr. Brüder, der Erde treu, восклицаетъ Ницше-Заратустра, но въ качествѣ опоры для этой „вѣрности землѣ“ находитъ только убийственное по своей безпрочистности ученіе обѣ ewige Wiederkehr. Нельзя вырваться изъ этого раскаленнаго круга жизни хотя бы въ небытіе или въ нирвану ни аскезой, ни резинъяціей, нельзя умертвить волю къ жизни: вѣчное повтореніе, вѣчная тоска! Но вѣрность землѣ проповѣдуетъ именно христіанство, которое такъ слѣпо и такъ страстно ненавидѣлъ Ницше въ своемъ дневномъ сознаніи, хотя, быть можетъ, не менѣе страстно влекся къ нему въ своеемъ темномъ инстинктѣ. И вѣрности землѣ учитъ и философъ христіанства Соловьевъ. Глубоко заблуждаются относительно христіанства тѣ, кто понимаетъ его аскетику въ буддійскомъ или же платоническомъ смыслѣ, какъ міроотречность и принципіальное осужденіе плоти. На противъ, оно есть ученіе о „святой тѣлѣсности“, <sup>1)</sup> о святой плоти, навѣки связанной съ духомъ. Смерть сильна произвести только временное раздѣленіе, но оно снова преодолѣвается въ воскресеніи. „И какъ нѣкогда земля въ силу дѣйствія на нее Духа Божія произвела изъ себя въ лицѣ Адама твореніе сверхземное — разумнаго человѣка, подобнымъ же образомъ впослѣдствіи сама человѣческая природа въ силу вновь нашедшаго на нее Духа Божія породила въ лицѣ Христа существо сверхчеловѣческое. Адамъ — сынъ земли, но не просто земля, а, такъ сказать, Богоземля; Христосъ — сынъ человѣческій, но не просто человѣкъ, а Богочеловѣкъ. Совершенный плодъ земли — больше, чѣмъ земля, и совершенный плодъ человѣческой природы — больше, чѣмъ человѣкъ...“

И рвется все въ божественной отвагѣ  
Себя перерости,  
Стремится пахъ земной къ небесной влагѣ  
Чтобъ раемъ расцвѣсти <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Ср. въ статьѣ Соловьева о єврействѣ, т. IV, 138.

<sup>2)</sup> Сбор. соч., IV, 555.

Но если земля, въ дѣйствительности, есть богоzemля, то материальная природа есть не дьяволъ, и не временная темница, а лишь „недостроенная обитель богочеловѣческаго духа“, <sup>1)</sup> и „вѣрить въ природу — значитъ признавать въ ней сокровенную свѣтлость и красоту, которая дѣлаютъ ее *Тѣломъ Божіимъ* (отъ этого пункта строится эстетика Соловьева). Истинный гуманизмъ есть вѣра въ *Богочеловѣка*, и истинный материализмъ есть вѣра въ *Богоматерію*“ <sup>2)</sup>. Можно поэому упрекать материализмъ за недостаточность уваженія къ матеріи, которую онъ мыслить только какъ слѣпое и безжизненное начало, всецѣло подвластное законамъ механизма. Можно упрекать идеализмъ за недостаточность вѣры въ идею, которой отводится мѣсто или въ безвоздушномъ пространствѣ трансцендентальнаго сознанія, или же лишь на грани материальнаго бытія, просвѣтлять которое изнутри она не способна. Можно упрекать, далѣе, эволюціонизмъ въ томъ, что онъ такъ узко понимаетъ свою собственную идею и ставитъ предѣлъ эволюціи тамъ, гдѣ долженъ совершиться послѣдній и рѣшительный шагъ въ міровомъ развитіи. Можно, наконецъ, упрекать гуманизмъ въ невѣріи въ человѣка, разъ онъ отказываетъ ему въ способности бессмертія и тѣмъ низводить его къ времененному и случайному явлению.

Но не звучитъ ли для насъ все это учение о природѣ чѣмъ-то роднымъ и сыздавна знакомымъ? Это—не Гете съ его пантеизмомъ яснаго дневного сознанія, хотя и оживляющимъ природу, но черезчуръ погружающимъ въ нее человѣка, и не Л. Толстой, въ своемъ художественномъ творчествѣ также приближающійся къ пантеизму Гетеевскаго типа, но объ этомъ (о «матери сырой землѣ») поетъ народная наша пѣсня, но это Тютчевъ, Ал. Толстой, Фетъ, но это — Достоевскій. „Любите все созданіе Божіе,—получаетъ старецъ Зосима,—и цѣлое, и каждую песчинку. Ка-

<sup>1)</sup> Ibid., 135.

<sup>2)</sup> Собр. соч., III, 196.

ждый листикъ, каждый лучъ Божій любите! Любите животныхъ, любите растенія, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божію постигнешь въ вещахъ. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далѣе и болѣе, на всякъ день. И полюбишь, наконецъ, весь міръ уже всецѣлою, всемирною любовью“.

„Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю цѣлуй и неустанно и ненасытно люби, всѣхъ люби, все люби, ищи восторга и изступленія сего. Омочи землю слезами радости твоей и люби сіи слезы твои. Изступленія же сего не стыдись, дорожи имъ, ибо есть даръ Божій, великий, да и не многимъ дается, а избраннымъ“. И когда, вѣрный завѣтамъ почившаго старца, Алеша въ эту великую и таинственную ночь своей жизни, отойдя отъ святыни его праха, повергается и плача цѣлуясь грудь матери-земли, раскрывшейся принять дорогie останки, „какъ будто нити отъ всѣхъ этихъ безчисленныхъ міровъ Божіихъ сошлися разомъ въ душѣ его, и она вся трепетала, соприкасаясь мірамъ инымъ... И никогда, никогда не могъ забыть Алеша во всю жизнь свою потомъ этой минуты“. И Вл. Соловьевъ также не былъ только философомъ міровой души. И онъ, какъ Алеша, пережилъ „такую минуту“, позналъ ее мистическимъ опытомъ. Можно, конечно, этому и не вѣрить или объяснить это какъ-нибудь «медицински», только несомнѣнно, что мистическая переживанія, связанныя съ міровой душой, составляли наиболѣе интимный, а потому и наиболѣе основной фактъ его душевной жизни, и онъ зналъ, о чёмъ говоритъ, философствуя о міровой душѣ; для него это была не умозрительная только идея, но опытная истина. Здѣсь онъ присоединяется къ ряду мистиковъ, носителей опытного богопознанія, о которыхъ не можетъ не знать всякий, приближавшійся къ его истокамъ. Въ письмахъ Соловьева, уже опубликованныхъ, въ біографическихъ материалахъ, отчасти еще не вполнѣ опубликованныхъ, сквозитъ этотъ особый, своеобразный мистический опытъ. Но важнѣйшее свидѣтельство о немъ даетъ намъ поэзія Со-

ловьева. Для многихъ представляется случайнымъ и не имѣющимъ особенного значенія то обстоятельство, что Вл. Соловьевъ былъ, кромѣ всего остального, еще и подлиннымъ, Божею милостью, поэтомъ. Но такъ можно смотрѣть лишь при условіи, если видѣть въ поэзіи эстетическую игру и отрицать въ ней особое постиженіе истины, а, следовательно, и внутреннюю связь между философіей и поэзіей. Но искусство, по глубокому замѣчанію Шеллинга, есть документъ философіи, и поэзія Соловьева также является документомъ его философіи. Въ этой послѣдней мы находимъ немало наноснаго, временнаго и случайнаго, и лишь то, что есть и въ поэзіи, получаетъ неоспоримую печать и философской подлинности. Соединеніе даровъ философіи и поэзіи, мистики и спекуляціи, взаимно восполняющихъ и усиливающихъ одинъ другой, представляетъ собой исключительно рѣдкое явленіе въ исторіи человѣчества. Есть философы, силою мысли превосходящіе или равняющіеся съ Соловьевымъ, и немало поэтовъ, въ огромной степени превосходящихъ Соловьева съ его небольшимъ томикомъ стихотвореній, хотя и состоящимъ въ большинствѣ своемъ изъ поэтическихъ перловъ. Но для того, чтобы найти аналогичную комбинацію этихъ дарованій въ одномъ лицѣ, намъ придется въ исторіи мысли отступить глубоко назадъ, быть можетъ до Платона, философа, — поэта и мистика, съ которымъ недаромъ такъ intimno родился духъ Соловьева. И основной мотивъ поэзіи Соловьева опредѣляется все тѣмъ же мистическимъ переживаніемъ природы, какъ Мировой Души, какъ Софіи. Она влечетъ его къ себѣ во образѣ Вѣчной Женственности, облеченнага красотой. Она, царица, открывается и въ природѣ, и въ любви, и въ молитвѣ. Она чуетъ и въ хаотической стихіи, и въ покое бытія. Ея музыкой проникнута вся поэзія Соловьева, и это придаетъ ей высокую оригинальность и совершенно особую, чарующую прелестъ. Съ дѣтскихъ лѣтъ и до послѣднихъ знаетъ онъ ее и рвется къ ней навстрѣчу.

Вся въ лазури сегодня явилась  
Предо мною царица моя,—  
Сердце сладкимъ восторгомъ забилось,  
И въ лучахъ восходящаго дня  
Тихимъ свѣтомъ душа засвѣтилась,  
А вдали, доторая, дымилось  
Злое пламя земного огня.

Или въ другомъ стихотвореніи:

Ты непорочна, какъ снѣгъ за горами,  
Ты многодумна, какъ зимняя ночь,  
Вся ты въ лучахъ, какъ полярное пламя,  
Темнаго хаоса свѣтлая ночь!

А въ извѣстномъ стихотвореніи, въ которомъ онъ разсказываетъ свои „Три (мистическая) свиданія“, такъ описывается видѣніе въ Сахарской пустынѣ:

И въ пурпурѣ небеснаго блистанья  
Очами, полными лазурнаго огня,  
Глядѣла ты, какъ первое сіянье  
Всемирнаго и творческаго дня.  
Что есть, что было, что грядетъ во вѣки—  
Все обнялъ тутъ одинъ недвижный взоръ...  
Синѣютъ подо мной моря и рѣки,  
И дальний лѣсь, и выси снѣжныхъ горъ.  
Все видѣлъ я и все одно лишь было,—  
Одинъ лишь образъ женской красоты...  
Безмѣрное въ его размѣрѣ входило,—  
Передо мною, во мнѣ одна лишь ты.  
О лучезарная! тобой я не обманутъ:  
Я всю тебя въ пустынѣ увидалъ...  
Въ моей душѣ тѣ розы не завянутъ,  
Куда бы ни умчалъ житейскій валъ.

Еще невольникъ суетному миру,  
Подъ грубою корою вещества  
Такъ я прозрѣлъ нетлѣнную порфиру  
И ощутилъ сіянье божества.

Да, онъ прозрѣлъ ее и передалъ намъ, слѣпорожденнымъ и слѣпотствующимъ, это свое прозрѣніе, какъ драгоцѣнныи даръ. И неужели мы не примемъ благочестиво этого дара, или же лишь тупо насыщимся надъ нимъ? Да не будетъ!

М. Г.! Сего дня, въ десятилѣтнія поминки Вл. Соловьевы, мы празднуемъ именинныи день русской философіи, и потому не неумѣстно обратиться мысленнымъ взоромъ къ ея задачамъ и призванію, которое все еще въ будущемъ, но все же имѣетъ нѣкоторое, хотя и небольшое, прошлое. И въ этомъ прошломъ уже обнаружились ея черты, опредѣляемыя ея особыми задачами и проблемами. И это своеобразіе ея темъ и ея задачъ отразилось и на характерѣ ученія Вл. Соловьевы о природѣ съ его религіознымъ материализмомъ или конкретнымъ натурфилософскимъ спиритуализмомъ. И именно въ этомъ направленіи яснѣе всего обнаруживается ея отличие отъ современной западной философіи, въ которой, на ряду съ материализмомъ, преобладаетъ отвлеченный идеализмъ. Всего рельефнѣе это выражается въ новѣйшемъ протестантскомъ (Ричліанскомъ) богословіи, которое понимаетъ Бога главнымъ образомъ какъ нравственный міропорядокъ, а религію—преимущественно какъ этику, въ Христѣ же видить равви Іисуса, показавшаго на себѣ, какова должна быть истинная религія и лишь въ этомъ смыслѣ имѣющаго сверхъ-историческое значеніе. Вся религіозная космологія и мистика выбрасывается за бортъ, другими словами, природа передается въ безраздѣльное вѣдѣніе естествознанія, міръ религіозно опустошается. Изъ поля зрењія западной философіи, вскормленной въ лонѣ протестантизма, послѣ Шеллинга почти совершенно исчезла идея, выраженная въ этихъ величественныхъ словахъ: *καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, и Слово плоть бысть* (Іо. I, 14). И не случайно, что эта тема, какъ предметъ философскаго умозрѣнія, проявилась уже при первыхъ самостоятельныхъ шагахъ русской философіи въ частности въ системахъ Соловьевы и кн. С. Н. Трубецкого. Ученіе

о воплощенномъ Словѣ, въ качествѣ религіознаго догмата преимущественно ввѣренное православному Востоку и опредѣляющее его религіозную стихію, было уже однажды побѣдоносно раскрыто и защищено греческимъ востокомъ въ творческую эпоху вселенскихъ соборовъ. Нынѣ оно снова должно быть раскрываемо и защищаемо русскимъ востокомъ въ философскомъ умозрѣніи и въ художественномъ творчествѣ, и по этому пути пошли уже первые зодчие русской культуры, одного изъ которыхъ мы нынѣ поминаемъ. Задача эта не легка при современномъ состояніи философіи и науки и господствующихъ въ нихъ теченіяхъ. Трудна она и какъ наиболѣе поздняя, а потому и наиболѣе синтетическая задача, посильная, можетъ быть, лишь отдаленному будущему. Но глядя поверхъ сумрачнаго настоящаго и обращаясь лицомъ къ этому туманному будущему, въ которое можно только вѣрить и надѣяться, мнѣ хочется повторить призывный кличъ одного изъ выразителей русскаго культурнаго самосознанія, чью память мы также благодарно совершили въ этомъ году, А. С. Хомякова:

Услышь же гласъ судьбы, воспрянъ въ сіяны  
новомъ,  
Проснися, дремлющий Востокъ!

С. Булгаковъ.

## Джемсъ, какъ религіозный мыслитель.

---

„Не религіозная філософія Джемса порождена его філософскимъ ученіемъ, а самый прагматизмъ ожилъ лишь тогда, когда въ его пустыхъ и холодныхъ сосудахъ заструилась горячая и трепетная кровь религіознаго міросозерцанія“. Эти слова С. В. Лурье, автора предисловія къ русскому переводу „Многообразія религіознаго опыта“ достаточно объясняютъ, почему нельзя, говоря о своеобразной філософіи прагматизма, столь связанной съ именемъ Джемса, пройти мимо тѣхъ отвѣтовъ, которые онъ далъ на вѣчные вопросы о вѣчномъ и его отношеніи къ временному—прежде всего къ человѣку. Но эти отвѣты заслуживаютъ вниманія не только въ качествѣ матеріала для характеристики великаго американского мыслителя. Духовный обликъ Джемса чрезвычайно своеобразенъ и привлекателенъ въ своей свѣжести, въ своемъ энергичномъ отпорѣ правовѣрію школы и притязательности—секты, но столь же чужда ему суэтная погоня за оригинальностью и парадоксами, стремленіе скрыть то, что взято изъ окружающей духовной атмосферы. Его отвѣты органически связаны съ великими теченіями въ религіозно-філософской мысли, они имѣютъ тамъ прошлое и, думается, имѣютъ и будущее.

Прежде всего для насъ чрезвычайно интересенъ тотъ методъ, который примѣняетъ авторъ въ „Многообразіи религіознаго опыта“—сочиненіи въ этомъ смыслѣ наиболѣе характерномъ и важномъ, хотя данный методъ горячо защищается Джемсомъ и въ другихъ сочиненіяхъ. Онъ предла-

гаеть намъ не отвлеченную дедукцію изъ метафизическихъ предпосылокъ, онъ предлагаетъ намъ путь опыта и наблюденія—но опыта и наблюденія, чуждаго тѣхъ предвзятостей и предразсудковъ, жертвами которыхъ такъ часто оказываются именно люди, претендующіе на самый правовѣрный и строгій эмпиризмъ. Это путь, за которымъ у самого Джемса стоять многолѣтнія психологическая изслѣдованія, тщательность которыхъ соединяется съ геніальной, можно сказать, интуиціей въ возсозданіи душевной жизни: впрочемъ, качествъ первокласснаго психолога не отымаютъ у него и наиболѣе рѣшительные противники его философіи. Главный матеріалъ Джемса—„человѣческіе документы”—тѣ факты религіозной исторіи, относительно которыхъ возможно разногласіе въ истолкованіи, но невозможно отрицаніе ихъ наличности. Надо сказать, что основная въ этой области работа Джемса—его „Многообразіе религіознаго опыта”—уже по необыкновенно богатому собранію такихъ фактовъ представляетъ совершенно исключительный интересъ, если даже брать его отдельно, какъ своеобразную религіозно-историческую хрестоматію.

Итакъ, передъ нами развертывается яркая картина „религіознаго опыта“. Но что отличаетъ этотъ опытъ, эти переживанія отъ другихъ? Религію отвлеченно опредѣлить по Джемсу нельзя, такъ какъ не существуетъ обособленнаго религіознаго чувства, отдельной элементарной эмоціи, присущей каждому переживанію безъ исключенія: религія есть „совокупность чувствъ, дѣйствій и опытовъ отдельной личности, поскольку ихъ содержаніе устанавливается отношеніе къ тому, что они почитаютъ божествомъ“. Въ послѣдней своей книжѣ „Множественный міръ“ („A Pluralistic Universe“) Джемсъ еще сильнѣе подчеркиваетъ специфическое въ религіозномъ опытѣ—то, что не можетъ быть объяснено психологическими аналогіями съ другими типами опытовъ.

Эти переживанія имѣютъ свои психо-физиологическія основы, какъ имѣть ихъ вся душевная жизнь человѣка, но

послѣднія нисколько не могутъ вліять на нашу оцѣнку. Джемсъ нисколько не боится признать относительную истину доводовъ того, что онъ называетъ „медицинскимъ материализмомъ“: съ равнымъ правомъ можно было бы ими воспользоваться противъ признанія цѣнности за какими бы то ни было переживаніями—хотя бы за той же самой научной мыслью. По словамъ Джемса, adeptы этого материализма обнаруживаютъ глубокую наивность, „воображая, что они покончатъ съ Апостоломъ Павломъ, объяснивъ его видѣнія на пути въ Дамаскъ какъ эпилептическій припадокъ“. „Никогда въ области естественныхъ наукъ никто не позволилъ бы себѣ отвергнуть чьи либо мнѣнія изъ-за того, что авторъ ихъ показался бы невроатомъ. Мнѣнія въ этой области всегда испытываются на пробномъ камнѣ логики и опыта, какова бы ни была при этомъ нервная система ихъ автора. Такъ бы слѣдовало поступать и съ религіозными возврѣніями. Ихъ цѣнность можетъ быть познана только путемъ непосредственнаго примѣненія къ нимъ оцѣнивающихъ сужденій, основанныхъ, во-первыхъ, на нашей собственной интуиціи, и, во-вторыхъ, на добытыхъ опытомъ знаніяхъ объ отношеніи этихъ возврѣній къ нашимъ моральнымъ потребностямъ и ко всему, что мы называемъ истиной“.

Эти религіозныя переживанія чрезвычайно разнообразны, но все-таки можно опредѣлить два основные типа людей по тому, какъ эти переживанія въ нихъ протекаютъ—два типа, указанные уже Ньюманомъ, давшимъ имъ имя „рожденныхъ однажды“ и „рожденныхъ дважды“. Если, какъ говорить Джемсъ въ „Прагматизмѣ“, „исторія философіи является въ значительной мѣрѣ исторіей своеобразнаго столкновенія человѣческихъ темпераментовъ“, то это еще болѣе слѣдуетъ сказать объ исторіи религіи. Одни люди рождаются подъ знакомъ безмятежной жизнерадостности, которая иногда дѣлаетъ ихъ совершенно нечувствительными къ темнымъ сторонамъ міра: никакія бури и душевные переломы не омрачать ихъ жизненного пути. Таковъ былъ вели-

чайший изъ американскихъ современныхъ поэтовъ Уитманъ, пѣвецъ радужнаго аспекта природы. Таковъ былъ и святой Францискъ, окруженный своими ближайшими учениками,— вся община жила однимъ настроениемъ. Эти люди исповѣдуютъ „религию душевнаго здоровья“, и они охотнѣе призываютъ ближняго къ покорности „высшей волѣ“, чѣмъ къ напряженной борьбѣ. Совершенно иначе слагается жизнь дважды рожденныхъ—тѣхъ, которые прошли черезъ жгучія муки, черезъ чувство собственнаго безсилія, видѣли себя во власти зла—и спаслись отъ этой власти лишь цѣною полнаго совлеченія ветхаго человѣка, полнаго перерожденія. Не случайно столько величайшихъ религіозныхъ геніевъ прошло свой путь въ Дамаскъ.

Крупнымъ вкладомъ въ исторію религіи является тотъ психологіческій анализъ, которому Джемсъ подвергъ эти столь знакомые ей факты обращенія. Эти обращенія такъ часто имѣютъ видъ чего-то совершенно немотивированнаго, внезапнаго разрыва въ обычной цѣпи психическихъ состояній—достаточно вспомнить хотя бы геніальное по яркости и глубинѣ изображеніе Исповѣди Августина—и люди, черезъ нихъ прошедшіе, естественно склонны мыслить ихъ какъ чудо. Въ глазахъ Джемса, однако, „процессъ душевнаго возрожденія даже въ этихъ изумительныхъ случаяхъ внезапнаго обращенія необходимо рассматривать какъ вполнѣ натуральное явленіе, результаты котораго, правда, загадочны и въ иныхъ случаяхъ совершенно необъяснимы, но причины и теченіе котораго нисколько не болѣе чудесны, чѣмъ всякий другой возвышенный или низменный процессъ душевной жизни человѣка.“ Научный отвѣтъ по Джемсу здѣсь можетъ быть полученъ изъ новѣйшихъ данныхъ относительно такъ называемаго сублиминального сознанія тѣхъ окраинъ, которыя окружаютъ, такъ сказать, свѣтлый центръ нашего сознанія. Силы, зарождающіяся въ этой сублиминальной области духа, могутъ автоматически вторгаться въ обычное теченіе сознательной жизни. Это вторженіе намъ знакомо изъ нашего ежедневнаго обихода. Но вѣдь и

люди, вѣрюющіе въ сверхъестественное происхожденіе мгновенныхъ обращеній, принуждены согласиться, что яснаго и безошибочнаго признака, ихъ отличающаго, здѣсь не существуетъ; „истинное доказательство того, что душа человѣка прошла черезъ второе рожденіе, можетъ заключаться лишь въ томъ, что человѣкъ готовъ служить божьему дѣлу, готовъ все претерпѣть ради него и вполнѣ освободиться отъ любви къ своему тѣлесному бытію“.

Тайна обращенія не въ самомъ психологическомъ процессѣ, который имѣеть много аналогій, а въ его резултатѣ—въ томъ духовномъ состояніи, которое именуется святостью. Подъ святостью Джемсъ понимаетъ такое господство религіознаго чувства, когда послѣднее становится въ центрѣ всей духовной жизни и начинаетъ опредѣлять всю дѣятельность человѣка; святость обозначаетъ высшій расцвѣтъ этой жизни, она создаетъ въ человѣкѣ чувство особой интимной связи съ верховной силой и производитъ безграницный подъемъ и ощущеніе свободы, соотвѣтствующее исчезновенію грани личной жизни. Изображеніе этого идеала святости, иллюстрированное множествомъ примѣровъ, замѣчательно не только сказавшимся въ немъ мастерствомъ Джемса, какъ тонкаго и глубокаго знатока душевной гаммы. Оно лучше всего объясняетъ разницу между религіозными и этическими переживаніями, которую устанавливаетъ Джемсъ. „Въ психологическомъ отношеніи есть огромная пропасть между двумя способами пріятія міра, между холоднымъ подчиненіемъ необходимости у стоиковъ и восторженной ясностью христіанскихъ святыхъ“, между категорическимъ императивомъ Канта и словами Христа объ игѣ, которое благо, и бремени, которое легко. Но разница не только психологическая: она можетъ быть установлена и въ терминахъ оцѣнивающаго сужденія. Одна мораль слишкомъ бѣдна своимъ содержаніемъ. „Въ чисто человѣческомъ мірѣ, лишенномъ Бога“, говоритъ Джемсъ и въ этюдѣ „о моральной жизни“—„призываѣ къ нашей моральной энергіи лишенъ своей высшей двигательной силы.

Правда, жизнь и въ такомъ случаѣ по преимуществу этическая симфонія, но разыгрывается она въ предѣлахъ пары жалкихъ октавъ, и безконечная скала цѣнностей не открываеть ея. И дѣйствительно, многіе изъ насъ, подобно сэру Джону Стефенсу, готовы расхохотаться при мысли, что энергичное настроеніе можетъ быть возбуждаемо въ насъ требованіями отдаленного потомства—а между тѣмъ это послѣдній аргументъ религіи человѣчества. Мы недостаточно горячо любимъ этихъ людей будущаго, мы, можетъ быть, тѣмъ менѣе ихъ любимъ, чѣмъ больше слышимъ о нихъ превосходствѣ, о томъ, что они въ среднемъ будутъ долголѣтнѣе и образованнѣе, будутъ освобождены отъ войнъ и преступлений, будутъ сравнительно мало страдать и болѣть и вообще обладать всякими отрицательными преимуществами. Этотъ идеаль слишкомъ ограниченъ, говоримъ мы, черезчуръ хороша пустота за его предѣлами, ему не достаетъ оттѣнка безконечности, таинственности—и собственно какое намъ до него дѣло. Не стоитъ мучиться самимъ или мучить другихъ въ настоящее время ради этихъ милыхъ существъ будущаго". Итакъ, какое мѣсто занимаетъ святость въ общей экономикѣ человѣческой жизни.

Извѣстно, какие ожесточенные нападки вызвалъ самый принципъ прагматизма: критики отождествляли его съ грубымъ утилитаризмомъ, даже съ біологической приспособляемостью, которая возводится въ мѣрило истинности и лжи. Конечно, подобное пониманіе, хотя оно и можетъ найти для себя кажущуюся опору въ несегда достаточно осторожныхъ выраженіяхъ прагматиста, въ томъ числѣ и самого Джемса, нисколько не соотвѣтствуетъ подлинному духу прагматизма. Какъ напоминаетъ Джемсъ, „противъ притязаній метода рационализма прагматизмъ всегда выступаетъ въ полномъ вооруженіи, но онъ никогда не защищаетъ—по крайней мѣрѣ въ исходномъ своемъ пунктѣ—какихънибудь опредѣленныхъ специальныхъ теорій, онъ не имѣеть никакихъ догматовъ, не выставляетъ никакихъ особыхъ уч-

ній, онъ имѣть только свой методъ“. Словомъ, прагматизмъ есть могущественное орудіе мысли, но все въ конечномъ счетѣ зависитъ отъ того употребленія, которое изъ него будетъ сдѣлано, отъ той природы, которая въ немъ отразится. И лучшимъ разъясненiemъ недоразумѣній, связанныхъ съ прагматическимъ методомъ, можетъ служить какъ разъ указанная характеристика святости. Вѣдь есть многое въ религіозныхъ переживаніяхъ, что обыкновенному здравому смыслу не можетъ не казаться опасными преувеличеніями, разрушающими жизненное равновѣсие общества. Конечно, и въ области религіи есть комплексы образовъ и чувствъ, которые неизбѣжно откидываются по мѣрѣ поступательного движенія человѣческаго духа, но лишь безнадежная близорукость и духовная скудость можетъ соблазняться несоответствиемъ высшаго религіознаго вдохновенія и мудрости вѣка сего. Функция святыхъ остается неизмѣримо великой, ибо они суть создатели добра. „Святые со своимъ избыткомъ милосердія являются великими хоругвеносцами этой вѣры, лучами свѣта, прорѣзающими тьму. Они отдѣльные сверкающіе на солнцѣ брызги великаго потока—предтечи новой жизни. Миръ еще не съ ними и потому среди его суетныхъ дѣлъ жизнь святыхъ часто кажется ему лишенной смысла. А между тѣмъ призваніе ихъ жизни—оплодотворять миръ, оживлять тѣ сѣмена добра, которые безъ нихъ не дали бы всходовъ. Послѣ того какъ святой пройдетъ передъ нами, мы не можемъ болѣе оставаться такими, какими были раньше. Пламя всегда порождаетъ пламя. И безъ того чрезмѣрнаго довѣрія, которое высказываютъ святые къ достоинству человѣка, мы погрузились бы въ состояніе духовнаго застоя. „И мы должны согласиться, что милосердіе и любовь къ ближнему при всей чрезмѣрности ихъ проявленія, какъ мы наблюдаемъ у нѣкоторыхъ святыхъ, должны быть признаны творческой соціальной силой, стремящейся осуществить въ человѣчествѣ ту степень добродѣтели, которую одни святые считаютъ возможной“. Это достаточно далеко отъ „грубаго

утилитаризма" и—что особенно существенно—какъ мы уже указывали съ точки зре́нія Джемса, такой миссіи никогда не въ состояніи выполнить одно отвлеченнное моральное улучшение людей. Даже извѣстная степень аскетизма, естественно выростающая на почвѣ религіознаго подъема, но столь трудно развивающая путемъ простыхъ напоминаній о нравственномъ долгѣ, есть нѣчто въ соціальномъ смыслѣ благодѣтельное. Полное отсутствие аскетизма, безудержное господство материальныхъ привязанностей, означало бы неизлѣчимую нравственную болѣзнь, угрожающую въ настоящее время народамъ англо-саксонской расы съ ихъ культомъ успѣха болѣе чѣмъ кому нибудь другому.

И развѣ этотъ идеаль святости нуждается въ прагматической защитѣ лишь противъ притязаній здраваго смысла? Что можно отвѣтить на ту апологію эгоистическихъ и хищныхъ склонностей человѣческой природы, которую далъ Ницше, этотъ непримиримый противникъ христіанской святости. Джемсъ не находить здѣсь нужнымъ апеллировать къ абсолютной цѣнности святости—ему достаточно защищить цѣнность относительную—и здѣсь онъ могъ взять даже критерій непосредственной приспособляемости, которымъ пользовался въ своей этикѣ Спенсеръ, и показать, какъ и при такомъ сопоставленіи идеаль Ницше не выдерживаетъ критики. Если брать вопросъ вполнѣ отвлеченно, святой приспособленъ къ болѣе совершенному типу общества, чѣмъ этотъ идеаль. Но есть приспособленіе болѣе высокое, не опредѣляемое личной судьбой индивидуума—приспособленіе къ болѣе широкимъ историческимъ условіямъ, къ образованію въ мірѣ закваски новой высшей жизни. Апостоль Павель былъ обезглавленъ, но онъ внесъ въ міръ эту закваску и въ этомъ смыслѣ явился побѣдителемъ враждебныхъ силъ.

Если Джемсъ съ такой выразительностью и теплотою характеризуетъ прагматическую цѣнность святости, которая есть высшій плодъ религіозныхъ переживаній, то онъ отнюдь не отстраняетъ основного вопроса всякой религіозной фи-

лософії: на чёмъ основывается признаніе релігіозной истинности? Отвѣтомъ должна здѣсь служить теорія мистицескаго опыта, которая, по взгляду Джемса, въ конечномъ счетѣ опредѣляетъ эту истинность.

Мистицизмъ по самому своему складу принадлежитъ къ числу наиболѣе трудно изслѣдуемыхъ, наименѣе уловимыхъ явлений душевной жизни: тѣмъ не менѣе можно установить четыре главные признака, служащіе здѣсь критеріемъ: неизрѣченность, интуитивность, кратковременность и бездѣятельность воли. Мистическая состоянія не могутъ быть выражены сколько нибудь адекватнымъ образомъ и переданы тому, кто ихъ не испытываетъ. Относясь къ сферѣ чувствъ, они содержать нѣкоторый познавательный элементъ, въ нихъ проходитъ откровеніе истинъ, закрытыхъ для разсудка, они вообще очень кратковременны и послѣ исчезновенія съ трудомъ воспроизводятся въ памяти. Наконецъ, они характеризуются особой парализованностью воли, которая какъ будто находится во власти высшихъ силъ. Эти мистическая переживанія очень разнообразны и степень релігіознаго содержанія, въ нихъ заключеннаго, также крайне измѣнчива: начинается ихъ рядъ случаями чисто физіологического экстаза, явленіями, которые изучаются даже въ психіатрическихъ клиникахъ, а кончаются состояніями, гдѣ человѣкъ получаетъ величайшее доступное ему озареніе. Всѣ великія религіи признавали мистической опытъ и различали его степени—мы находимъ это и въ буддизмѣ, и въ браманизмѣ, и въ исламѣ и въ христіанствѣ, но какова цѣнность подобнаго опыта, рассматриваемаго, такъ сказать, гносеологически?

Здѣсь Джемсъ приходитъ къ положенію, которое, по его мысли, способно отразить всякую рационалистическую критику: мистическая состоянія совершенно авторитетны для тѣхъ, кто ихъ испытываетъ. „Наши собственные рациональные вѣрованія основываются на доказательствахъ, которые по природѣ своей совершенно сходны съ тѣми доказательствами, которые и приводятся мистиками въ оправданіе ихъ.

върованій. Подобно тому, какъ наши чувства являются для насъ совершенно достаточной гарантіей реальныхъ фактovъ, такъ и мистическая состоянія, доставляя непосредственное ощущеніе реальности тѣмъ, кто пережилъ ихъ, являются доказательствомъ дѣйствительного существованія вещей, постигнутыхъ мистическимъ опытомъ. Изъ примѣровъ мы видимъ, что мистическая состоянія протекаютъ безъ участія дѣятельности нашихъ пяти чувствъ, являясь, какъ и эти чувства, непосредственными источниками познанія". Граница этой авторитетности заключается въ ея субъективности: мистики не имѣютъ права требовать, чтобы откровенія, доставляемыя ихъ переживаніями, принимались тѣми, кто не проходилъ черезъ такой опытъ и не имѣеть къ нему особенного влечения. Вѣдь откровенія, содержащіяся въ мистическихъ переживаніяхъ, крайне разнообразны: въ философіи Санкіи они приводятъ къ дуализму, въ философіи Веданты—къ монизму. Испанскіе мистики совершенно чужды того пантегистического настроенія, которое такъ характерно для нѣмецкихъ. Итакъ, эта достовѣрность лишь субъективная, но она достаточна, „чтобы совершенно дискредитировать притязанья не-мистическихъ состояній на исключительное право устанавливать опредѣленія того, во что мы вѣrimъ." Рационализмъ оперируетъ истинами отвлеченными и отраженными и въ этомъ смыслѣ не можетъ претендовать ни на какую большую достовѣрность. Поэтому безсильнымъ оказывается и интеллектуализмъ, желающій поставить объекты вѣры на строго логической основанія. Отсюда склонность приижать роль чувства въ религії, склонность характерная для такихъ людей, какъ Кэрдъ и Ньюманъ: послѣдній хотѣлъ видѣть въ психологіи такую же науку о Богѣ, какъ астрономія—наука о звѣздахъ. Въ заключеніи къ „Многообразію религіознаго опыта" Джемсъ указываетъ на ростъ современного интереса къ философіи, который и вызывается религіозными потребностями: тѣмъ важнѣе раскрыть, что „радикальный эмпирізмъ", есть болѣе естественный союзникъ религії,

чѣмъ какая бы то ни была діалектика. Притязанія этого интеллектуализма не могутъ быть оправданы и съ точки зрењія прагматической: нельзя обосновать истинности теологическихъ утвержденій, хотя бы доказанныхъ по всѣмъ правиламъ логики, разъ эти истины не оказываются никакого вліянія на религіозную жизнь. Впрочемъ, если интеллектуалисты такъ охотно обращаются къ „объективному разуму“, они вообще упускаютъ изъ виду, что подъ этимъ именемъ у нихъ скрываются выраженные въ отвлеченныхъ терминахъ—обобщенные и обезцвѣченные данные личныхъ переживаній.

Душу и сущность религіозныхъ переживаній составляетъ молитва, можно сказать, именно она проводить точную грань между ними и чувствами, эстетическимъ и моральнымъ. Поэтому, въ конечномъ счетѣ истинность религіи зависитъ отъ того, обманчиво или нѣтъ молитвенное состояніе сознанія. Вѣрующіе люди сохраняютъ твердое убѣженіе, что это состояніе не остается безрезультатнымъ, но и просто беспристрастные наблюдатели не могутъ отвергать, что, „благодаря молитвѣ, енергія, которая безъ молитвы должна была бы оставаться скованной, освобождается и реализуется—будь это субъективно или объективно—въ мірѣ явлений“. Здѣсь человѣческая природа ближе чѣмъ гдѣ-нибудь соприкасается съ потусторонней областью: молитва есть внутреннее общеніе съ тѣмъ духовнымъ міромъ, по отношенію къ которому міръ видимый только незначительная часть: плодомъ этого общенія бываютъ психическая и даже матеріальная перемѣны въ окружающемъ насы мірѣ, и этого достаточно, чтобы мы видѣли здѣсь нѣчто гораздо большее, чѣмъ простую иллюзію.

Но этому съ другой стороны нисколько не противорѣчитъ, что есть множество формъ и типовъ подобного общенія, что есть великое многообразіе религіозныхъ переживаній и многообразіе результатовъ этихъ переживаній. Это совершенно соответствуетъ плюралистическому міровоззрењію, столь энергично защищаемому во всѣхъ работахъ

Джемса, въ особенности послѣдней (A pluralistic Universe). „Весь міръ качествъ“, по Джемсу,—это міръ почти несвя-занныхъ между собой частей. Каждая изъ нихъ говоритъ только „я есмь то, что я есмь“ и говоритъ это только отно-сительно себя съ абсолютной монотонностью. „Тѣ един-ства, которымъ всѣ эти качества, по выражению Платона, причастны—я, пространство, время—для большинства изъ нихъ являются единственнымъ принципомъ связи“. Нѣтъ, слѣдовательно, космического предопределѣнія и нѣтъ при-нудительного единства, которое мы въ ослѣпленіи разсу-дочнай гордости, въ забвениіи того, что природа не обяза-лась намъ быть логичной, вводимъ въ міръ.

Именно индивидуальность религіознаго опыта дѣлаетъ его неуязвимымъ для науки. Абстрактное знаніе никогда не мо-жетъ быть адекватнымъ: оно остается въ своей большей части простымъ собраніемъ рабочихъ гипотезъ. Научное же мышленіе по существу отвлеченно и безлично; оно имѣ-еть дѣло только съ символами реальности, но оно безпо-мощно останавливается передъ индивидуальнымъ: а лишь въ индивидуальномъ мы касаемся реальностей въ точномъ смыслѣ этого слова. Чувство нашей личной участіи въ об-щай судьбѣ въ концѣ концовъ и опредѣляетъ степень нашей жизненной активности. Поэтому всякія теоріи ре-лигій, какъ пережитка, основаны на полномъ заблужденіи. „Только въ религіозной жизни касаемся мы подлинной ре-альности въ той единственной точкѣ, которая доступна намъ“. Это и отводитъ ей вѣчное мѣсто въ исторіи человѣчества. Чѣмъ болѣе будетъ накопляться и объясняться психологическій материалъ, тѣмъ болѣе станетъ яснымъ, что „сознательное „я“ человѣка является непосредственнымъ продолженіемъ болѣе широкаго по объему „я“, которое въ критическія минуты порождаетъ спасительный опытъ и даетъ положительное содержаніе религіозному пережива-нію, которое, можно думать, совершенно и объективно истинно во всемъ своемъ дѣйствительномъ объемѣ. Исти-нность эта провѣряется дѣйствительностью: то, что произ-

водить измѣненія въ области реальнаго, должно быть само реальнымъ". Такое доказательство, по Джемсу, вовсе не похоже на пари Паскаля, о которомъ онъ вспоминаетъ въ „Зависимости воли отъ вѣры“. Отъ человѣка зависитъ выбрать между вѣрой въ существованіе Бога и невѣріемъ; выбравъ первое, онъ выиграетъ все, если Богъ дѣйствительно существуетъ, а въ противномъ случаѣ не теряетъ ничего. Поэтому, если бы даже среди бесконечнаго числа шансовъ за существованіе Бога былъ только одинъ, то на него слѣдовало бы поставить все достояніе. „Итакъ, принимайте святую воду и служите мессу, а вѣра придетъ“. Джемсъ полагаетъ, что обратившіеся въ вѣру за подобную спекуляцію заслуживали бы лишенія вѣчной награды, если бы она даже существовала. Дѣло не въ произвольномъ расчетѣ, дѣло въ томъ критеріи истинности, который у насъ остается, разъ мы въ качествѣ эмпириковъ отказываемся отъ рационалистической доктрины объективной достовѣрности. Теизмъ основанъ на чувствѣ эмоционального примиренія съ Богомъ, на единствѣ съ нимъ, но это единство, совершенно отличное отъ субстанціального тождества, въ сущности имѣетъ лишь практическій смыслъ. Джемсъ сознательно подчеркиваетъ „чистоту и скромность“ теизма въ теоретической области. Онъ представляетъ золотую середину между одинаково безплодными, одинаково догматичными гностицизмомъ и агностицизмомъ.

Болѣе точно содержаніе этого теизма можетъ быть установлено только гипотезой, и Джемсъ подчеркиваетъ, что его собственная гипотеза совершенно субъективна. Онъ лично склоняется къ супранатурализму частичнаго или грубаго типа; по его выраженію, универсальный супранатурализмъ слишкомъ подвергается риску превратиться въ философскую доктрину. Конкретный супранатурализмъ можетъ служить предметомъ соблазна для людей, которымъ привиты метафизические навыки мысли, но онъ понятенъ здравому смыслу простыхъ людей. Онъ не требуетъ бесконечности объекта религіи, онъ не исключаетъ даже свое-

образнаго политеизма. Но это странное допущение есть въроятно символъ нерасположенія Джемса къ монизму; по-видимому, здѣсь дается только парадоксально-яркая форма отрицанія доказуемости этихъ общепризнанныхъ положеній религіознаго опыта и отрицанія ихъ практической неизбѣжности. Характерно, что и здѣсь Джемсъ подчеркиваетъ необходимость гораздо болѣе глубокаго вниманія къ гипотезамъ плюрализма, чѣмъ то, которое обычно имъ удѣляется.

---

Если мы будемъ искать корней этой своеобразной религіозной философіи, то мы прежде всего должны искать ихъ на родной Джемсу почвѣ. Исторія религіозной жизни Америки обыкновенно почти игнорируется при оцѣнкѣ американской культуры, оцѣнкѣ часто необычайно легкомысленной и предубѣжденной. Въ дѣйствительности всѣ крупные изслѣдователи этой культуры уже отмѣтили исключительно важное мѣсто, которое принадлежало въ ней религіи. Вспомнимъ хотя бы блестящія страницы, которыя посвятилъ Токвилль этой религіозной основѣ, наложившей свой отпечатокъ на американскую демократію—и здѣсь осторожный Брайсъ повторяетъ его выводы. Чрезвычайно велико разнообразіе религіозныхъ теченій, и все-таки они стекаются въ одно русло. Догматическій элементъ религіи заслоняется ея морально-общественнымъ воздействиѳмъ на окружающую жизнь; въ Америкѣ люди привыкли судить дерево по плодамъ задолго до уроковъ прагматической и гуманистической философіи. „Догма разъединяетъ, мораль соединяетъ“, говорилъ Адлеръ, основатель общества моральной культуры. Эти черты сдѣлали возможнымъ такое развитіе терпимости въ атмосферѣ ненарушимаго моральнаго единства, которое непонятно старой Европѣ: въ глазахъ послѣдней факты, какъ конгрессъ религій въ Чикаго въ 1892 г., должны представляться чѣмъ то искусственнымъ, причудливымъ и бесполезнымъ. Даже католицизмъ, пересаженный на американскую почву, католицизмъ, покорно признавшій и сил-

лабусы и догматъ непогрѣшности, проявляетъ какую-то удивительную способность подойти гармонически къ новой окружающей его стихіи взаимной терпимости и соціального сотрудничества. Болѣе того, рѣшенія ватиканского собора привѣтствовались амѣриканскими католиками, которые получали возможность не думать о догматахъ, а лишь о жизненномъ примѣненіи; „это—раздѣленіе труда, при которомъ амѣриканскій католицизмъ освобождается отъ того, къ чему онъ не чувствуетъ себя ни способнымъ, ни призваннымъ“ (Гекенъ). Архіепископъ Айрлэндъ съ юношескимъ пафосомъ раскрывалъ передъ изумленными католиками Старого Свѣта картину національной католической церкви, осуществившей девизъ Лакордера и Монталамбера: „Богъ и свобода“. Съ другой стороны и амѣриканскій режимъ отдѣленія церкви и государства по духу какъ нельзя болѣе далекъ отъ домогательствъ якобинского антиклерикализма, столь распространенного въ романской Европѣ, какъ нѣть здѣсь мѣста и для догматического клерикализма.

Общества моральной культуры, требующія лишь одной вѣры—вѣры въ силу добра, представляютъ какъ бы предѣльный типъ этой религіозной эволюціи, пережитой съ 1626 г., когда создалась первая протестантская церковь Нового Свѣта—њью-плимутская. Но во всей массѣ амѣриканскихъ исповѣданій, во всемъ потокѣ ея культурной жизни религія не растворяется безъ остатка въ морали. Ни Эмерсонъ, ни Чаннингъ, два величайшихъ выразителя этого своеобразного религіозного синкретизма, при всемъ проникновеніи религіи соціальными началами,—послѣднее объясняетъ неожиданныя симпатіи Чаннинга къ католицизму—при всемъ практическомъ складѣ ихъ духа не были только моралистами. Равнодушіе къ догмату еще не означаетъ бѣдности религіозного переживанія.

Джемсъ взялъ всѣ сильныя стороны этой традиціи. Именно Америка могла научить его цѣнить эту соціально-прагматическую способность религії; но въ силу своей несравненной психологической прозорливости онъ могъ гораздо

отчетливѣе отдѣлить религіозныя переживанія отъ чисто моральныхъ. Вѣрованье способно сдѣлаться источникомъ огромной моральной энергіи и плодотворной работы надъ преобразованіемъ окружающаго насъ міра, и даже здѣсь лежитъ высшее ручательство за его достовѣрность; но само оно сохраняетъ самостоятельность, какъ совершенно своеобразный опытъ. И здѣсь Джемсу особенно помогло его глубокое вниманіе къ мистическимъ состояніямъ духа съ ихъ полной, хотя и субъективной убѣдительностью. Близость къ американскимъ унитаріямъ XIX вѣка, представителямъ духа свободомыслія въ христіанствѣ, не лишаетъ его способности интимно понимать и старыхъ пуританъ, съ ихъ суровымъ мистицизмомъ, который закалялъ героическую волю. А энергичные напоминанія о многообразіи религіознаго опыта, о невозможности признать какую-либо его разновидность, такъ сказать за ортодоксальный образецъ—достаточно запечатлѣны гармоніей со всей религіозной культурой Америки.

Но Джемсъ овладѣлъ и содержаніемъ европейской религіозно-философской мысли. Логическій абсолютизмъ гегельянства, которому онъ посвятилъ интересный этюдъ въ Множественномъ мірѣ явился для него какъ бы противоположнымъ полюсомъ—той точкой, где особенно явственно вскрываются противорѣчія интеллектуализма. Джемсъ и здѣсь проявляетъ благородное безпристрастіе въ оцѣнкѣ; онъ готовъ признать, что неожиданное распространеніе, которое получило гегельянство въ англо-саксонскомъ мірѣ, выражаетъ полезную реакцію противъ традиціоннаго англійскаго эмпіризма, но его методъ, отказавшійся отъ всякихъ различеній, отъ признанія множественности въ вещахъ, приходитъ неизбѣжно къ софизмамъ, а его абсолютное—безполезно для ледуцирующаго ума. Поэтому Джемсъ съ такимъ удовлетвореніемъ останавливается на Фехнерѣ, работа котораго отмѣчена здоровымъ контрастомъ со сколастикой и безжизненными абстракціями, у котораго такъ мало рационалистической аргументаціи и такъ много геніальныхъ

аналогій. Поэтому же понятно его глубокое сочувствие и вдумчивый интересъ къ Бергсону. Вообще, Джемсъ, оставаясь вполнѣ оригинальнымъ, чутко относился ко всякимъ теченіямъ, направленнымъ противъ интеллектуализма и монизма.

На этой почвѣ уясняется глубокое сродство Джемса самымъ крупнымъ явленіямъ новѣйшей религіозной жизни. Мы невольно вспоминаемъ о той школѣ Ричля, которая дала, такъ сказать, тонъ новѣйшей нѣмецкой богословской наукѣ и вытѣснила вліяніе тюбингенцевъ съ ихъ гегельянствомъ. И для Ричля интеллектуализмъ есть путь, приводящій къ величайшему искаженію религії, которая можетъ быть только дѣломъ вѣры, а не знанія, и современные протестанты должны завершить борьбу со сколастикой, которую началъ Лютеръ. Содержаніе религіозной жизни не факты, а цѣнности; Евангеліе истинно, ибо оно достойно быть истиннымъ. Откровеніе вплетено въ ткань исторіи, религіозное сознаніе оттуда его извлекаетъ—и это извлеченное содержаніе уже становится достояніемъ разума практическаго, а не теоретическаго. Развѣ мы не чувствуемъ въ этихъ мысляхъ нѣкотораго поворота въ сторону pragmatischen истолкованія религії? Правда, Ричль желаетъ вернуться назадъ—къ раннему неискаженному протестантизму; онъ едва ли чувствовалъ всю психологическую мощь современной свѣтской культуры: наконецъ, онъ остается совершеннымъ теологомъ, со всей характерной тренировкой ума—теологомъ, думающимъ строить зданіе своей системы изъ специфически-религіознаго материала, очищенного отъ примѣси науки и философіи. Простое чувство кажется ему слишкомъ безформеннымъ и неопределѣннымъ: на мѣсто сколатической теологии нужно найти другое прочное основаніе для церкви: самый жизненный интересъ протестантизма—охранить ее отъ растворенія въ религіозномъ индивидуализмѣ.

Въ этомъ смыслѣ Джемсъ ближе къ Шлейермахеру. Попольдній былъ также проникнутъ чувствомъ многообразія религіозныхъ переживаній, многообразія ихъ содержанія,

также обладалъ глубокой способностью распознавать эти переживанія при самыхъ различныхъ психологическихъ окраскахъ, также сознавалъ, что въ этомъ многообразіи нѣтъ никакого уменія достоинства и святости вѣры: въ основѣ послѣдней лежитъ чувство безконечнаго въ конечномъ, и чувство зависимости отъ этого безконечнаго. При всемъ консерватизмѣ традиціонной лютеранской церковности, Шлейермахеръ болѣе чѣмъ кто-нибудь смогъ наложить печать своего духа на весь новѣйшій протестантизмъ, и этаотъ протестантизмъ силой вещей приводится къ признанию правъ многообразія.

Съ другой стороны, сколько точекъ соприкосновенія у Джемса съ представителями католического модернизма, который повидимому надо признать самымъ знаменательнымъ и крупнымъ явленіемъ въ современной религіозной жизни. Не разрывая величественнаго вѣкового преемства, которое само по себѣ представляетъ источникъ огромной силы, модернисты ищутъ примирить авторитарный духъ церкви съ чувствомъ правъ индивидуального самоопределѣленія и съ тѣми культурными цѣнностями, съ которыми современное человѣчество разстаться не можетъ. Они стремятся подготовить это примиреніе, также отказываясь отъ догматического интеллектуализма, который освященъ въ католической церкви авторитетомъ ея *doctor angelicus* Томы Аквинскаго—авторитетомъ, какъ извѣстно, до сихъ поръ обязательнымъ въ католическомъ преподаваніи. Они также въ основу вѣры кладутъ непосредственный внутренній опытъ человѣка, также признаютъ здѣсь законъ развитія, также вкладываютъ въ догмы смыслъ символовъ, цѣнныхъ для нашей духовной жизни. Они, наконецъ, тяготѣютъ къ признанію имманентности естественнаго и сверхъестественнаго. Люди, подобные Леруа и Блонделю, можетъ быть, глубже, чѣмъ кто-либо поняли, какія религіозныя потенціи заключаются въ прагматизмѣ. Если и внѣшняя исторія модернизма не можетъ кончаться энцикликами Пія IX, если исходъ этого поистинѣ трагическаго столкновенія между

лучшими силами католической мысли и правящей іерархіей не можетъ быть предсказанъ, то идейное вліяніе, оказанное модернизмомъ, уже теперь поддается нѣкоторому учёту. Высказанныя мысли нашли откликъ во всѣхъ концахъ католического міра, и онъ не могутъ пройти безслѣдно уже потому, что вызвавшій ихъ къ жизни конфліктъ католицизма и свѣтской культуры остается въ полной силѣ.

Сказанное помогаетъ оцѣнить историческое мѣсторелигіозно-философскихъ положеній Джемса. Чрезвычайно индивидуальный, онъ, однако, идетъ не въ одиночествѣ по своему пути. Но это историческое мѣсто предрѣшаетъ ли нашу оцѣнку? Вѣдь религіозный прагматизмъ не въ правѣ требовать, чтобы его судили исключительно прагматически—въ смыслѣ приспособляемости къ господствующимъ теченіямъ вѣка.

Мы уже видѣли, какое положительное религіозное содержаніе раскрываетъ передъ нами Джемсъ. Но я бы хотѣль напомнить уже приведенные слова относительно прагматизма, который не имѣетъ никакихъ общихъ ученій и догматовъ, а имѣетъ лишь методъ; въ извѣстномъ смыслѣ это приложимо и къ религіозной философіи Джемса. Она расчищаетъ тѣ преграды, которыя стоятъ передъ творческой энергіей вѣрующаго, она научаетъ его безтрепетно смотрѣть въ глаза современной науки, признавать всѣ права эмпирическаго знанія, она, наконецъ, убѣждаетъ, что съ той точки, гдѣ соприкасается сознательная и безсознательная сфера человѣческаго духа, послѣдняя имѣетъ дѣло не съ фактами, а съ чѣмъ-то вполнѣ реальнымъ. Но далѣе все зависитъ отъ самого человѣка: онъ свободенъ дерзать, онъ неответственъ за эту свободу; ему предстоитъ не истолковывать отъ вѣка данную книгу, а вписывать въ нее новыя строки.

Религіозный субъективизмъ достаточно часто критиковался, и противъ Джемса, при всемъ его психологическомъ различіи отъ Шлейермахера, могутъ быть обращены доводы, направленные противъ послѣдняго. Насколько они силь-

ны? У кого было болѣе развитое чувство космического объективнаго порядка, чѣмъ у Гете—вспомнимъ хотя бы его „Nach ewigen ehrnen Grossen Gesetzen müsssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden“—и гдѣ мы найдемъ болѣе оправданіе религіознаго субъективизма, чѣмъ въ безсмертныхъ словахъ Фауста въ его признаніи: „Gefühl ist alles, Nam' ist Schall und Rauch“. Можно, конечно, доказывать недостаточность этой основы для созиданія на ней организованнаго и цѣлостнаго религіознаго единства. И однако какой другой путь къ такому единству для современнаго человѣчества, чѣмъ осознанная гармонія переживаний. Единство, наложенное, такъ сказать, сверху, выражющееся въ общемъ признаніи какой-либо формулы, какого-то вицѣнья источника авторитета, кажется поверхностнымъ и скучнымъ. Религія ищетъ большаго. Между тѣмъ, растущее многообразіе религіознаго опыта есть слишкомъ несомнѣнныи фактъ душевной жизни, чтобы мы могли съ нимъ не считаться. Можно ли въ этомъ многообразіи найти нечто большее, чѣмъ простую анархію? Отъ того или другого отвѣта на этотъ вопросъ зависитъ и нашъ взглядъ на судьбы цивилизованнаго человѣчества. Если нѣть, то всѣ современные конфликты между религіей и культурой должны лишь обостряться, достигая той степени болѣзненности, при которой окончательный разрывъ неизбѣженъ. Если да, передъ нами открываются всѣ возможности для новаго расцвѣта религіозной жизни и для установленія той подлинной терпимости, вицѣ которой никакое коренное моральное обновленіе современныхъ обществъ немыслимо. Нужно только отказаться отъ монистическихъ предразсудковъ, столь пагубныхъ и для религіозной, и для научной свободы. Правовѣріе монизма есть худшее и наиболѣе беспощадное изъ всѣхъ правовѣрій, и борьба съ нимъ Джемса есть сама по себѣ его великая культурная заслуга. А затѣмъ остается довѣріе къ человѣческой природѣ, которое способно безконечно многими путями подниматься къ божеству.

Я могъ бы на этомъ закончить, но Джемсъ возбудилъ слишкомъ большое вниманіе и большой интересъ именно у насъ въ Россіи и кажется невозможнно признать это случайнымъ, видѣть лишь нашу чрезмѣрную впечатлительность и отзывчивость на „послѣднія слова“ западной філософіи и науки. Джемсъ дѣйствительно соприкасается съ нѣкоторыми особенностями нашего духовнаго склада, какъ онъ проявился въ исторіи русскаго просвѣщенія. Схоластической интеллектуализмъ, противъ котораго борется Джемсъ, лишь въ незначительной степени оказался нашимъ умственнымъ недугомъ. Быть можетъ самое это качество являлось слѣдствиемъ нѣкоторыхъ культурныхъ изъяновъ недостаточно сильной логической тренировки, недостаточнаго интереса къ чистымъ теоретико-познавательнымъ проблемамъ, недостаточной вообще привычки безусловно отдѣлять область теоретического и практическаго разума—но оно неоспоримо. Можно было бы установить точки соприкосновенія у Джемса съ тѣмъ, что въ філософіи славянофиловъ было наименѣе условнаго, наиболѣе живого. Съ другой стороны, безспорнымъ для русской науки является принадлежащее къ лучшимъ, драгоцѣннѣйшимъ ея традиціямъ тяготѣніе въ сторону естествознанія—высокая оцѣнка въ ней эмпиризма не въ смыслѣ філософскихъ притязаній, а въ смыслѣ плодотворнаго пользованія опытомъ и наблюденіемъ, и нась не можетъ не привлекать глубоко постоянное стремленіе Джемса—не навязывать эмпирической наукѣ своихъ метафизическихъ гипотезъ, а послушно и внимательно слѣдовать за ея путеводной нитью — стремленіе, которое такъ своеобразно у него сочетается съ супранатурализмомъ.

Но духовный обликъ Джемса этимъ не исчерпывается. Остается еще мѣсто, которое онъ отводитъ человѣческой волѣ съ ея свободой и съ ея ответственностью. Величайшая терпимость, какъ будто бы сочетается съ величайшей требовательностью. Мы не привыкли ни къ тому, ни къ другому, но не чувствуемъ ли мы явственно, что Джемсъ

здесь вплотную подходитъ къ самымъ жгучимъ проблемамъ нашей современной культуры.

Передъ современнымъ русскимъ обществомъ встали великие вопросы—вопросы не только о пересмотрѣ его духовнаго достоянія, но и о какомъ то новомъ актѣ самосознанія и самоопределѣленія. На фонѣ внѣшней, часто столь насыщенной гнетущей, безодержательности жизни они съ тѣмъ большею настойчивостью ждутъ своего разрѣшенія, и если мы не можемъ логически формулировать, то инстинктивно ощущаемъ, насколько съ ними связана и возможность, и судьба нашего национального возрожденія. Эта связь и даетъ современнымъ исканіямъ, какъ бы ни смотрѣли на нихъ, определенный исторический смыслъ; но создается ли действительно какая нибудь духовная основа для этого возрожденія?

Недавно у насъ господствовалъ такъ называемый философскій реализмъ, подъ которымъ понимались отчасти материалистическое, отчасти позитивистское міровоззрѣнія. Защита идеализма тогда являлась сама по себѣ извѣстнымъ актомъ мужества, защитой свободы противъ застывшаго догматизма. Теперь идеалистамъ уже не нужно доказывать своихъ правъ на существование—они общепризнаны, и бороться противъ ограниченности и произвольности старого материализма и позитивизма—значить ломиться въ открытую дверь. Но внѣшнему признанію отвѣчаетъ ли внутренний ростъ идеалистической мысли? Мнѣ кажется, люди, искренно дорожащіе поступательнымъ движениемъ этой мысли, не могутъ не испытывать въ настоящее время глубокихъ сомнѣній, и не разъ они имѣютъ поводъ вспомнить старое мудрое изреченіе: избавьте насъ отъ нашихъ друзей, а отъ враговъ мы сами избавимся. Они не могутъ не испытывать тягостнаго разочарованія, когда подъ флагомъ идеализма сомнительного вкуса реторика принимается за вдохновенный паѳосъ, когда преодолѣніе эмпиризма понимается какъ освобожденіе отъ всякой научной методологіи, а иногда и элементарной логики. И, наконецъ, въ важнѣйшей области

современныхъ исканій—религіозной—особенно останавливается на себѣ эта роковая неспособность отдѣлить вѣчное отъ облекающей его обветшалой формы, которую все равно унесетъ гераклитовскій потокъ вещей. Нельзя достаточно сожалѣть, что пробудившійся религіозный интересъ русского общества сталкивается съ этимъ пагубнымъ заблужденіемъ, болѣе чѣмъ какія нибудь отрицательныя доктрины способнымъ питать всѣ антирелигіозныя настроенія и страсти. И если мы слушаемъ проповѣди, изобильныя нравоученія, постоянные призывы къ покаянію въ своихъ и чужихъ грѣхахъ—то мы не видимъ самаго главнаго—чтобы приведены были въ дѣйствіе какія нибудь новыя творческія силы. Кто овладѣеть тайною ихъ пробужденія, мы не знаемъ, но тѣмъ болѣе должны мы дорожить всяkimъ источникомъ свѣта, который среди нашихъ исканій даетъ намъ известнуюувѣренность, готовность идти далѣе. У Джемса мы и можемъ взять то, что составляетъ его главную силу,—это бодрящее, какъ утренній горный воздухъ, безстрашіе передъ жизнью съ ея безконечнымъ многообразіемъ, но и безконечными возможностями, осуществлять которыя призываешь человѣка чувство его связи съ высшимъ міромъ, у грани коего онъ стоитъ. Правда, это не проповѣдь, это простое настроеніе, но оно заражаетъ не только искренностью, непрityзательностью и въ то же время глубиною человѣка, память о которомъ насы здѣсь собрала; оно влечетъ насъ, ибо мы въ немъ предчувствуемъ зародыши вѣры, которая дѣйствительно сможетъ двинуть горы.

С. Котляревскій.

## Н. И. Пироговъ, какъ типъ русскаго.

---

И научныя работы, и практическая дѣятельность Николая Ивановича Пирогова оказали немало вліянія на наше развитіе, были тщательно изучаемы и хорошо извѣстны почти всѣмъ образованнымъ людямъ. До сихъ поръ никто не обратилъ вниманія на чисто русскій характеръ Н. И.: безспорно, Пироговъ былъ типическимъ русскимъ. Изученіе характера, всего душевнаго склада Н. И. особенно важно въ виду многосторонней его дѣятельности. Это не былъ узкій специалистъ; Н. И. былъ практическій врачъ, ученый, философъ, педагогъ, государственный дѣятель, помѣщикъ, общественный дѣятель. Изученіе характера Н. И. возможно потому, что онъ оставилъ намъ „Дневникъ старого врача“, въ которомъ сообщилъ часть своей біографіи и повѣдалъ нѣкоторыя свои мысли. Къ сожалѣнію „Дневникъ“ не законченъ, и потому характеристика Н. И. Пирогова, какъ типического русскаго человѣка, обречена на незаконченность; но безспорно, что имѣющійся матеріялъ долженъ быть изученъ въ указанномъ мною направлении.

Мы должны вполнѣ довѣрять правдивости и искренности Николая Ивановича, писавшаго на склонѣ своей жизни, въ Дневникѣ: „Я остался русскимъ въ душѣ, сохранивъ и хорошия и худыя свойства моей національности“ (т. I. стр. 368). Дѣйствительно, Н. И. былъ вполнѣ русскій человѣкъ; такая яркая личность не можетъ не носить въ себѣ основныхъ свойствъ той національности, къ которой принадлежитъ. Только потертыя, расплывчатыя фигуры лишены на-

циональности; общеизвестно, что наиболѣе лишена свойствъ национальности, наиболѣе международна современная аристократія.

Николай Ивановичъ категорически утверждаетъ, что онъ остался вѣренъ православію. „Если я спрошу себя теперь, какого я исповѣданія? то отвѣчу на это положительно: *православнаю*, того въ которомъ родился и которое исповѣдала моя семья“ (т. I. стр. 201). Философъ и натуралистъ искренно почиталъ обряды церкви, былъ настолько щепетиленъ въ этомъ отношеніи, что многимъ непонятна такая его обрядовая строгость. „На страстной я хотѣлъ говѣть, но побоялся испортить только что оправившійся отъ болѣзни желудокъ“ (Севастопольскія письма ст. 101).

Пироговъ вмѣстѣ съ русскимъ народомъ исповѣдовалъ православіе и глубокую преданность къ Монарху. „Одно изъ самыхъ лучшихъ свойствъ нашего народа уваженіе и полное довѣріе къ верховной власти“ (т. I. ст. 283). Едва ли кто усомнится въ полной искренности въ этомъ отношеніи Н. И.; эти строки имъ были написаны за полгода до смерти (2—5 марта 1881 г.), выражали глубокое убѣжденіе всей его жизни. Н. И. горячо любилъ свой народъ, умѣлъ цѣнить его хорошія и худыя свойства“; его сужденіе, конечно, имѣетъ высокую цѣнность.

Православный, преданный верховной власти, Н. И. всегда былъ вѣренъ русской народности; это былъ органически, непосредственно русскій человѣкъ, любившій свое родное даже тогда, когда „свое“ давило и причиняло страданіе. „Я отъ 17 до 30 лѣтъ, окруженный чуждою мнѣ народностью въ Дерптѣ, среди которой жиль, учился и училь, не потерялъ однако же никакой привязанности и любви къ отчизнѣ, а потерять въ ту пору было легко: жилось въ отчизнѣ не весело и не такъ привольно, какъ хотѣлось жить въ 20 лѣтъ“. (Т. I. стр. 105), Н. И. какъ крупная, рѣзко очерченная личность, оставался вполнѣ русскимъ въ Дерптѣ, несмотря на свою молодость; онъ вполнѣ понималъ хорошія стороны чужой среды, находилъ нравы

дерптскихъ студентовъ лучше, чѣмъ нравы студентовъ московскихъ, но „даже вовсе и не имѣлъ никакой охоты знакомиться съ студенческимъ бытомъ въ Дерптѣ“ (I с. 347). Онъ лишь добродушно замѣчаетъ: „а въ Дерптѣ надо было наоборотъ сознаться: что нѣмцу здорово, то русскому смерть“ (I. 346), поэтому о перенесеніи на нашу почву хорошаго въ этихъ нравахъ нечего и думать; для такого вполнѣ русскаго человѣка, какимъ былъ Н. И., эта жизнь, несмотря на ея хорошія стороны, прямо невозможна. Ярко выраженная національность Н. И. именно проявляется тѣмъ, что онъ, проживъ болѣе двѣнадцати лѣтъ „среди чуждой народности“, усвоивъ вполнѣ европейскую науку и культуру, остался вполнѣ русскимъ человѣкомъ; особенно важно, что онъ провелъ „среди чуждой народности“ именно тѣ годы своей жизни, когда складываются убѣждѣнія и взгляды, былъ многимъ обязанъ чуждой народности. Если бы нужны были еще доказательства, что теряютъ свою національность даже подъ воздействиемъ высшей культуры только слабые, рыхлые, то примѣръ Н. И. могъ бы послужить къ тому убѣдительнымъ аргументомъ. Крупная, сильная личность не можетъ быть безъ яркой національности, не можетъ потерять своей національности.

И по своему высокому умственному развитію, и по своему нравственному совершенству, Пироговъ не могъ не быть патріотомъ; это очевидно. Но самый патріотизмъ Н. И. былъ чисто русскій, національный, характерный для лучшихъ русскихъ людей. Едва ли можно сомнѣваться, что патріотизмъ каждого народа выражаетъ его національный характеръ, имѣть особую окраску; патріотизмъ итальянца значительно отличается отъ патріотизма испанца или англичанина.

Пироговъ не кричалъ о своей любви къ Россіи; объ этомъ глубокомъ, горячемъ чувствѣ истинные патріоты не любятъ заявлять *orbe et urbi*. Только въ тяжкіе дни Севастопольской осады, въ интимномъ письмѣ къ женѣ изъ-подъ его пера вылилось нѣсколько строкъ, и то онъ писалъ о

своемъ патріотизмѣ лишь по поводу общей распущенности: „я люблю Россію, люблю честь родины, а не чины, это врожденное; его изъ сердца не вырвешь и не передѣлаешь, а когда видишь передъ глазами какъ мало дѣлается для отчизны собственно изъ одной любви къ ней и ея чести, такъ поневолѣ хочешь уйти отъ зла, чтобы не быть по крайней мѣрѣ бездѣйственнымъ свидѣтелемъ“ (Севас. пис. стр. III).

Какъ истинно русскій патріотъ, Н. П. не закрывалъ глазъ на наши недостатки и пороки; какъ тонкій наблюдатель и глубокій мыслитель, онъ подмѣтилъ и оцѣнилъ дурное въ нашей жизни и искренно скорбѣлъ о нашемъ несчастії. „Мы странны, національно странны и въ нашей оригинальности и въ нашемъ подражаніи. Въ оригинальности мы хотимъ перещеголять всѣхъ другихъ, выдумать разомъ что-нибудь такое, что другимъ никакъ бы не могло прийти на умъ. Въ подражаніи мы или рабски подражаемъ или же стараемся попасть опять - таки разомъ на самую послѣднюю ступень“ (т. I. с. 263). Можно лишь пожалѣть, что у насъ позабыта эта мѣткая характеристика, сделанная великимъ мудрецомъ. Столь же глубоко другое заключеніе. „Зато, гдѣ нужно соображеніе и здравый смыслъ, чтобы понять, что до многаго хорошаго у другихъ нельзя достигнуть, не переживъ сначала всѣхъ фазъ его развитія—тамъ мы пась“ (т. I. стр. 264). Увы и это сужденіе Н. И. оказалось пророческимъ; весьма возможно, что эти дурныя свойства нашего характера оказались особенно вредны, именно, потому, что многие наши лучшіе дѣятели слѣдовали примѣру самого Пирогова, т.-е. стремились „уйти отъ зла, чтобы не быть, по крайней мѣрѣ, бездѣйственнымъ свидѣтелемъ“.

Н. И. ясно понималъ недостатки и правящихъ сферъ, и нашей интеллигенціи; какъ настоящій мудрецъ, онъ не могъ сваливать всю отвѣтственность нашихъ неустроиствъ только на первыхъ или вторыхъ, какъ то обычно дѣлаютъ поверхностные умы.

Въ Севастополь онъ хорошо ознакомился съ властью иму-

шими. „Но, право, если взглянешь на эту смѣсь нашей посредственности, безталанства, односторонности и низости, то поневолѣ, какъ ни велика надежда на Бога и храбрость войска, начинаешь опасаться за участь Севастополя“ (Сев. пис. с. 112).

Не менѣе рѣзко онъ характеризовалъ нашу интеллигентію, „наше facsimile культурнаго сословія—трень-брень: кое-какое чиновничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все частичное“ (т. I. с. 254). Послѣднія строки были написаны 4 марта 1881 г., слѣдовательно, вытекали изъ наблюденій въ теченіе всей жизни. Тяжело было умирать Н. И. съ такими мрачными мыслями.

Горячо любившій все родное, Пироговъ безпристрастно относился къ чужому, цѣнилъ въ другихъ народностяхъ заслуживающее уваженія. Чисто по-русски онъ объясняетъ эту особенность русскаго патріотизма. „Намъ не трудно быть безпристрастными къ чужому. У насъ свое дѣйствительно и существенно хорошее рѣдкая птица“ (т. I. с. 367).

Какъ чисто русскій человѣкъ, Н. И. съ уваженіемъ, но безъ симпатіи относился къ нѣмцамъ-балтамъ... „съ нѣмцами и съ культурнымъ духомъ нѣмецкой націи остался навсегда связаннымъ узами уваженія и благодарности, безъ всякаго пристрастія къ тому, что въ нѣмцѣ дѣйствительно нестерпимо для русскаго, а можетъ быть и вообще для славянина“ (т. I. ст. 268). Н. И. съ его глубокимъ русскимъ патріотизмомъ, уважалъ патріотизмъ другихъ національностей. „Вѣдь не можемъ мы въ самомъ дѣлѣ винить націю—и націю, очевидно, даровитую и высоко-культурную, что она предпочитаетъ и старается предпочитать свое чужому“ (т. I. с. 367).

Наблюдая жизнь другихъ народностей, Н. И. сумѣлъ найти въ ней хорошее, достойное уваженія и подражанія; ему не доставляло удовольствія находить доказательства превосходства собственной народности сравнительно съ другими, какъ то дѣлаютъ квасные патріоты; нѣтъ, онъ искренно желалъ, чтобы русскіе переняли у другихъ на-

родовъ то, что составляло силу и величіе послѣднихъ. Такъ, занимая высокій постъ попечителя Одесскаго Учебнаго Округа, онъ помѣщаетъ въ Одесскомъ Вѣстникѣ большую статью объ Одесской Талмудъ-Торѣ; въ этой горячо написанной статьѣ Пироговъ описываетъ прекрасное устройство этой школы и настоятельно совѣтуетъ русскимъ подражать евреямъ въ ихъ заботахъ объ образованіи дѣтей. Если принять во вниманіе, какъ въ то время всѣ относились къ евреямъ, смотрѣли на нихъ сверху внизъ, тоувѣщаніе попечителя учебнаго округа, обращенное къ русскому обществу, подражать евреямъ является настоящимъ подвигомъ.

Пироговъ, не интересовавшійся студенческой жизнью въ Дерптѣ, обратилъ вниманіе на хорошия свойства эстовъ; „эсть, несмотря на свою неразвитость, не лѣнивъ, настойчивъ и терпѣливъ; это могъ каждый изъ настъ замѣтить, вышедъ въ поле и наблюдая, съ какимъ настойчивымъ трудомъ надо было орать пахарю на почвѣ, усѣянной валунами“ (т. I. с. 372). Отъ наблюдательности Н. И. не ускользнула даровитость латышей.

Н. И., по своимъ вкусамъ и привычкамъ былъ вполнѣ русскій; онъ, насколько извѣстно, тяготился жизнью за границей; несомнѣнно, что если бы онъ пожелалъ жить за границей, то могъ бы, пользуясь своими связями, оставаться тамъ и послѣ 1866 г. Я думаю, что весьма ясно свидѣтельствуетъ чисто русскій складъ Н. И. то обстоятельство, что онъ пятнадцать лѣтъ прожилъ въ деревнѣ; въ этомъ отношеніи Пироговъ составляетъ исключеніе среди нашихъ ученихъ и сановниковъ, по выходѣ въ отставку живущихъ въ большихъ городахъ и курортахъ. Н. И. родился въ Москвѣ, всю свою жизнь провелъ въ городахъ, но когда закончилась его научная и общественная дѣятельность, его потянуло въ деревню, на лоно природы. Какъ лучшій сынъ земледѣльческаго народа, Н. И. выше всего цѣнилъ деревню, уединенную жизнь на лонѣ природы. Онъ располагалъ достаточными средствами, чтобы жить по своему вкусу, и

какъ извѣстно, не соскучился въ своемъ имѣніи, не покидалъ его иначе, какъ по необходимости. Онъ не скучалъ среди полей и снѣговъ, не желалъ пользоваться удобствами большихъ городовъ; узнавъ о своей неизлѣчимой болѣзни, Н. И. поѣхалъ умирать въ свою деревню, гдѣ и переносилъ предсмертныя страданія, какъ истинный христіанинъ.

Чтобы покончить съ характеристикой Н. И. въ этомъ отношеніи, укажу еще на три черты характера Пирогова, свидѣтельствующія о его чисто-русской натурѣ.

Н. И. любилъ наши обычаи, цѣнилъ русское хлѣбосольство; даже въ тяжелые дни Севастопольской осады нарушение княземъ Меньшиковымъ русского обычая вызвало со стороны Пирогова порицаніе. „Съ утра (1 января) заперъ (Меньшиковъ) ворота на замокъ, не принималъ никого и не дѣлалъ визитовъ; это по-моему не худо, а худо то, что онъ никого не угостилъ обѣдомъ... Это не по-русски“ (Севаст. пис. 55). Это замѣчаніе въ письмѣ къ женѣ ясно указываетъ, что Н. И. не нравилось отступленіе, даже мелкое, отъ нашихъ добрыхъ обычаевъ.

Въ Дневникѣ, на страницахъ 89—96, живо описана жизнь кота Пирогова; съ такою любовью, съ такою чуткостью могъ описывать душу животнаго только соотечественникъ авторовъ Муму и Холстомѣра; безспорно, что ни въ одной литературѣ нѣть такого теплого, такого проникновенного описанія страданій животныхъ какъ въ нашей. Мишка Пирогова можетъ занять почетное мѣсто рядомъ съ Муму и Холстомѣромъ.

Очень цѣнно замѣчаніе Пирогова: „Весьма отличительная черта въ характерѣ русского народа, отличающая его отъ западныхъ націй и даже отъ южныхъ славянъ это совершенное отсутствие бережливости“ (т. I, с. 289). И въ этомъ отношеніи Н. И. былъ вполнѣ русскій. „Ко многимъ моимъ недостаткамъ и слабостямъ того времени я отношу еще неумѣніе и нежеланіе вести счетъ деньгамъ“ (т. I, стр. 402). Самъ Пироговъ придаетъ настолько большое

значение этому недостатку, что неоднократно къ нему возвращается. „Получивъ въ началѣ мѣсяца жалованье, я никогда не могъ свести концы съ концами, и нерѣдко случалось въ Дерптѣ, что къ концу мѣсяца я сидѣлъ безъ чаю или безъ сахара“ (т. I, с. 403). Какъ человѣкъ вполнѣ правдивый, Н. И. не скрывалъ своего недостатка; неразсчетливость и неаккуратность Пирогова въ денежныхъ дѣлахъ была дѣйствительно чисто русская; такъ изъ Севастополя онъ писалъ женѣ: „Пожалуйста, не забудь написать, сколько пожертвованныхъ денегъ я взялъ съ собою; я теперь свожу счеты, мнѣ кажется было 4000; но ты спровѣся съ письмами Безбородко, сколько онъ прислалъ—я забылъ“ (Сев. пис. 87). Только у насъ лица высокаго развитія и несомнѣнной честности могутъ быть такъ неаккуратны съ общественными деньгами. Н. И. прекрасно понималъ, какая точность необходима по отношенію къ пожертвованнымъ на больныхъ деньгамъ, но, какъ извѣстно, натура сильнѣе разсудка.

Лучшія стороны русскаго характера нашли себѣ самое полное воплощеніе въ личности Николая Ивановича—это нравственная чуткость, строгость къ самому себѣ, безусловная искренность и правдивость.

Вся наша художественная литература, вся наша критика ясно свидѣтельствуютъ, что для русскихъ самые важные, самые жгучіе вопросы—это вопросы нравственной жизни. Для русскихъ главное—это этическая сторона жизни; болѣе всего вниманія русскіе отдаютъ вопросамъ нравственности. Это настолько общеизвѣстно, что едва-ли нужно останавливаться на этомъ вопросѣ<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Профессоръ Сикорскій утверждаетъ, что „славяне вообще и russkie въ частности отличаются наклонностью къ внутреннему анализу, въ особенности къ анализу нравственному“ (Сборникъ научно-литературныхъ статей „Черты изъ психологіи славянъ“, стр. 52). Также говоритъ Осипъ Лурье: „Всякий народъ создаетъ философію, которая ему свойственна и которая отражаетъ его национальную душу. Характеръ russкой философіи по существу моральный“. „Общая мысль russкихъ философовъ—это мораль“. (Ossip Lourie. La philosophie russe contemporaine. p. 161, 162). Къ такимъ же заклю-

„Дневникъ старого врача“ прежде всего поражаетъ скромностью автора. Если бы этотъ дневникъ былъ переведенъ на иностранный языкъ, при чёмъ были бы опущены философскія и психологическія разсужденія автора, иностранецъ, незнакомый съ именемъ Пирогова, подумалъ бы, что этотъ дневникъ принадлежитъ самому обыкновенному профессору хирургіи, извѣстному нѣкоторымъ товарищамъ по специальности. Ни одного намека на крупныя заслуги, ни малѣйшаго чванства, увы, столь частаго у великихъ ученыхъ, въ этомъ дневникѣ мы не находимъ. О своихъ заслугахъ, о своихъ успѣхахъ Н. И. не находитъ нужнымъ вспоминать; отъ всего Дневника вѣтъ удивительной скромностью и правдивостью. Кто встрѣчается съ современными знаменитыми учеными, тотъ согласится со мною, что Н. И. составляетъ въ этомъ отношеніи крайне рѣдкое исключение. Повторяю, что „Дневникъ старого врача“ совершенно не похожъ на обычныя автобіографіи: Н. И. ничего хорошаго о себѣ не говоритъ, не сообщаетъ о своихъ триумфахъ, не описываетъ своихъ подвиговъ. Лишь однажды онъ упоминаетъ о своемъ успѣхѣ; но припомнить почти сорокъ лѣтъ спустя и найти нужнымъ описать *такой* успѣхѣ могъ только человѣкъ крайне скромный, выше всего цѣнившій уваженіе добродѣтельныхъ людей. „Появленіе на свѣтѣ I-й части моихъ клиническихъ анналовъ доставило мнѣ, почти въ одно и то же время, пріятность и выгоду... Энгельгардть (профессоръ минералогіи), цензоръ и ревностный піэтистъ, неожиданно является ко мнѣ, вынимаетъ изъ кармана одинъ листъ моихъ анналовъ, читаетъ вслухъ, взволнованнымъ голосомъ и со слезами на глазахъ, мое откровенное признаніе въ грубѣйшей ошибкѣ диагноза, въ одномъ случаѣ, причинившей смерть больному; а за признаніемъ слѣдоваль упрекъ своему тщеславію и самомнѣнію. Прочитавъ, Энгельгардть жметъ мою руку, обнимаетъ меня и разстроганный до нельзяя уходитъ“.

Ченіямъ пришли Legras (*Au pays russes*) и Fouillée. (*Esquisse de psychologie des peuples europeens*).

„Этой сцены я никогда не забуду; она была слишкомъ отрадна для меня“. Если судить по „Дневнику старого врача“, этотъ успѣхъ былъ наиболѣе дорогъ для Пирогова. Умалчивая о своихъ заслугахъ и добрыхъ дѣлахъ, Н. И. подробно, не щадя себя, останавливается на своихъ недостаткахъ, своихъ дурныхъ поступкахъ, но „Дневникъ старого врача“ ничуть не похожъ на Confessions Ж. Ж. Руссо; это не болѣзньенное стремленіе къ самообвиненію и самобичеванію; нѣтъ, это воспоминанія правдиваго, нравственно чуткаго человѣка.

Н. И. ясно сознавалъ собственное несовершенство, горячо желалъ быть правдивымъ: „Притомъ я эгоистической самоѣдъ и потому опасаюсь самого себя, чтобы описание моего внутренняго быта во всеуслышаніе не было принято мною самимъ за тщеславіе, желаніе рисоваться и оригинальничать, а все это не повредило бы внутренней правдѣ, которую я желалъ бы сохранить въ наничистѣйшемъ видѣ въ моихъ запискахъ“. Вотъ это-то стремленіе къ внутренней правдѣ и составляетъ главную цѣнность „Дневника старого врача“. Такой дневникъ могъ оставить человѣка, ненавидящій позу и рисовку, горячо любящій внутреннюю правду.

Искренняя правдивость—основной фонъ „Дневника старого врача“; описывая свою жизнь, Н. И. не умолчалъ и о своихъ недостаткахъ. „У насъ у всѣхъ на днѣ души довольно грязи; если, опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потомъ самъ не отлишишь чистаго отъ грѣховнаго“— Н. И. зналъ какъ трудно разобраться даже въ собственныхъ недостаткахъ, ужасался, какъ человѣкъ одаренный чуткой совѣстью, этихъ недостатковъ. Какъ чисто русскій человѣкъ, Н. И. былъ далекъ отъ того, чтобы считать себя совершенствомъ; онъ ясно понималъ, что онъ человѣкъ грѣшный и самъ ужасался своему нравственному несовершенству. Онъ, какъ русскій интеллигентъ, былъ замученъ „рефлексіей“, самоанализомъ; не думаю, чтобы мы уступали въ этомъ отношеніи интеллигенціи другихъ странъ. Жгучее и

постоянное недовольство собою—прямо характерно для русского интеллигента и, вѣроятно, для русского человѣка вообще, но, понятно, мы мало знаемъ народъ, чтобы судить, насколько тамъ развито „самоѣдство“. Н. И. два раза называетъ себя самоѣдомъ („Я, какъ самоѣдъ“. I. 6.), поэтому едва ли это случайно сорвавшееся съ пера слово. Н. И. дѣйствительно былъ „самоѣдомъ“. „Иногда ни съ того, ни съ сего приходятъ мысли до того низкія и подлыя, что при первомъ своемъ появленіи изъ тайника души, невольно бросаютъ въ краску“ (I. с. 6.).

Н. И. не вспоминалъ о своихъ заслугахъ, о своихъ добрыхъ и хорошихъ дѣлахъ, но не забывалъ о своихъ дурныхъ поступкахъ; онъ подробно описываетъ свои ошибки, свои проступки, съ поразительной откровенностью; но въ „Дневникѣ старого врача“, нѣтъ того патологического оттѣнка, который бросается въ глаза въ Confessions Ж.-Ж. Руссо.

Пироговъ правдиво и строго относится къ себѣ, строже чѣмъ его современники и даже противники; но эта строгость и указываетъ на высокое нравственное развитіе Н. И. „Я сознавалъ свои недостатки какъ профессора“ (I. с. 476), пишетъ Н. И. про Дерптскій періодъ своей жизни. „Могъ ли я, молодой, малоопытный человѣкъ быть настоящимъ наставникомъ хирургії?“ (I. с. 479). Мы знаемъ, какъ высоко цѣнили дѣятельность Пирогова въ это время.

Пироговъ подробно описываетъ какъ онъ два раза по пріѣздѣ въ Дерптъ хотѣлъ пустить пыль въ глаза; увы, такія выходки, какъ это всѣмъ извѣстно, очень часты въ жизни почти всѣхъ, но Н. И. всю жизнь не могъ забыть объ этихъ, въ сущности, невинныхъ, не причинившихъ никому вреда выходкахъ. „Въ другомъ случаѣ мое самомнѣніе поставило меня въ чистые дураки... случай этотъ памятень мнѣ и до сихъ поръ бросаетъ меня въ краску“ (I. с. 398). Это писалъ стариkъ, спѣшившій описать свою жизнь; такая нравственная чуткость встрѣчается очень рѣдко.

Пирогова мучило сознаніе, что онъ оказался неблагодар-

нымъ по отношенію къ лицамъ, сдѣлавшимъ ему добро. „Въ душѣ я никогда не былъ неблагодарнымъ, но увы! на дѣлѣ я не сумѣлъ или даже не захотѣлъ (кто доберется до правды, роясь въ хламѣ старого сердца!) быть благодарнымъ именно тамъ, гдѣ благодарность была священнымъ долгомъ“ (I. с. 301). Къ этой темѣ Пироговъ возвращается на стр. 207. „И за все это, чѣмъ же я отблагодарилъ его? Ничѣмъ, скверная черта...“

Мучили Н. И. воспоминанія о страданіяхъ, причиненныхъ имъ животнымъ при опытахъ (стр. 101 и 242): „Еще тяжелѣе бываетъ мнѣ, когда находитъ на меня воспоминаніе объ оперированномъ также лѣтъ сорокъ тому назадъ старикѣ“ (I. с. 102); камня въ мочевомъ пузырѣ не оказалось, и Пироговъ разсердился по поводу этой ошибки настолько, что послалъ старика „къ чорту“.

Н. И., какъ хороший русскій человѣкъ, желалъ „покаяться“ предъ всѣми въ совершенныхъ имъ проступкахъ; великий знатокъ русской души, Достоевскій, выяснилъ намъ эту черту русскаго характера. Только этимъ можно объяснить столь необычныя въ автобіографіяхъ строки. „Я нерѣдко по недостатку денегъ къ концу мѣсяца оставался день или два безъ сахара, и вотъ, въ одинъ изъ такихъ дней, меня чортъ попуталъ взять тайкомъ три-четыре куска сахара изъ жестянки Иноzemцева. Онъ какъ-то замѣтилъ это и заперъ жестянку. О, позоръ! дорого бы я далъ, чтобы это не было было. Кстати повинуюсь и въ воровствѣ съ книгами. Я во всю мою жизнь утаилъ, т.-е. взялъ, не отдалъ три книги, а потомъ, когда хотѣлъ ихъ возвратить, то было некому или я отъ стыда откладывалъ все и откладывалъ возвращеніе“ (I. ст. 345). Такая правдивость и искренность возможны только для очень крупнаго человѣка; но желаніе покаяться „повинуюсь“—именно характерно для русскаго; сколько я помню, такихъ откровенныхъ признаній я не читалъ ни въ одной автобіографіи.

Для русскаго человѣка добро выше, важнѣе истины и красоты, наука и искусство должны служить нравственности;

главный смыслъ жизни для Н. И. состоялъ въ разрѣшениіи этическихъ проблемъ<sup>1)</sup>. Сомнѣніе и горячее желаніе понять смыслъ жизни—вотъ на что были потрачены больше всего душевныя силы Н. И. Онъ ясно сознавалъ, что намъ недостаетъ вѣры въ самихъ себя. „Мы всѣ извѣрились въ себя самихъ“ (I. с. 52), да едва ли мы и имѣемъ право на самоуверенность. Пироговъ съ его яснымъ и глубокимъ умомъ понималъ, какъ мало у насъ правъ на самоуверенность. „Есть вещи на свѣтѣ, къ которымъ и такое надежное средство, какъ опытъ, непримѣнимо, а между тѣмъ эти вещи—это вопросы жизни, безъ разрѣшениія которыхъ для себя, хотя бы приблизительно, умирать не хочется“ (I. с. 5). Это жгучее исканіе правды, думаю я, было главнымъ мотивомъ удаленія въ деревню; въ уединеніи, на досугѣ, Н. И. отдался всецѣло размышеніямъ о мучившихъ его чуткую душу вопросахъ.

15 января 1880 г. Пироговъ записалъ въ дневникъ: „Вчера вечеромъ яѣхалъ съ полеваго тока; было морозно и ясно. Я сидѣлъ въ саняхъ спиною къ заходящему солнцу... Игра и переливы цвѣтовъ изъ зеленоватаго въ палевый и свѣтлого лубой на горизонтѣ и изъ розового въ блѣдно-фиолетовый, со множествомъ блестокъ на снѣгу, такъ обворожали меня, мнѣ дышалось студенымъ воздухомъ такъ лѣгко и привольно, что я невольно началъ пародировать упрекъ жизни Пушкина и про себя шепталъ съ навернувшимися на глазахъ слезами: „Не случайный, не напрасный...“ Эстетическое воспріятіе вызвало у Н. И. размышенія о смыслѣ жизни, направило его мысль на поиски правды. Этотъ эпизодъ весьма ясно указываетъ на чисто русскій характеръ Пирогова; ни въ одной странѣ не было литературной критики подобной нашей, искавшей въ художественныхъ произведеніяхъ руководства нравственной жизни. Для Пиро-

<sup>1)</sup> Fouillee (*L'Avenir de la metaphysique*. p. 188) прекрасно опредѣлилъ такую дѣятельность „la plus haute action est précisément une speculation sur le grand inconnu“.

гова, какъ чисто-русского человѣка, красота не имѣла самодовлѣющаго значенія.

Также для Н. И. была несомнѣнна первенствующая роль нравственной жизни по сравненію съ умственной: „Напрасно утверждаютъ такіе историки, какъ Бокль, и съ нимъ большая часть новаго поколѣнія, что человѣчество обязано преимущественно развитію научныхъ истинъ въ обществѣ, а нравственная нисколько будто бы не содѣствовала его преуспѣянію, т.-е. прогрессу, счастью и благополучію“. „Что было бы этическое наше начало, если бы вѣчная и цѣльная истина не служила ему основою?“ (I. с. 55).

Благоговѣніе передъ „истиной“, горячая любовь къ ней составляютъ сущность всего характера Пирогова, но его русскій скептическій умъ подсказываетъ ему недоступность, непостижимость для насъ истины. „Истина такъ свѣтла, что безъ иллюзіи одно только стремленіе къ ней ослѣпило бы уже насъ, поэтому ложь сдѣлалась неизбѣжной для насъ при непреодолимомъ влеченіи къ истинѣ“ (I. с. 56). „Идеальность получаетъ еще болѣе рельефа, когда раскрываѣтъ неизбѣжныя во всякомъ дѣлѣ ошибки и слабости“.

Само собою разумѣется, что такія высоконравственные личности, какъ Пироговъ, всюду составляютъ рѣдкое исключение, и потому изученіе нравственного облика Н. И. не можетъ уяснить намъ состоянія нравственности Россіи въ XIX-мъ столѣтіи. Мы можемъ лишь гордиться тѣмъ, что мы оцѣнили по достоинству Н. И.; наша интеллигенція въ Пироговѣ больше всего цѣнила великаго гуманиста, свѣтлую нравственную личность; ни одинъ ученый, ни одинъ общественный дѣятель не возбуждалъ такой преданности къ себѣ, какъ Пироговъ. Многіе не знаютъ всѣхъ научныхъ заслугъ Пирогова, многимъ антипатичны политические взгляды Н. И., но для всѣхъ обаятеленъ Пироговъ-гуманистъ. Едва ли я ошибаюсь, объясняя это общее поклоненіе Пирогову тѣмъ, что Н. И. полнѣе, совершеннѣе другихъ олицетворяль собою нашъ нравственный идеалъ. Положительно нельзя прочитать „Дневникъ старого врача“ и не

полюбить автора; его писалъ нашъ лучшій гражданинъ, всѣмъ намъ понятный.

Возсозданіе нравственнаго облика Н. И. не входитъ въ мою задачу; я ограничусь лишь тѣмъ, что напомню объ основныхъ началахъ морали Пирогова.

Пироговъ, конечно, не могъ мириться съ утилитарной моралью; это мораль англійская какъ вполнѣ вѣрно говорить Ницше<sup>1)</sup>, а Н. И. былъ чисто русскій человѣкъ. „И какая нравственность возможна безъ идеала? Тѣ обманываютъ и себя и другихъ, которые полагаютъ основы нравственности въ взаимныхъ интересахъ, эгоизмѣ и т. п. Они берутъ одни внѣшнія проявленія, одну, такъ сказать, обрядную сторону нашего нравственнаго быта и не даютъ себѣ труда заглянуть глубже внутрь въ самихъ себя...“

Пироговъ исповѣдывалъ мораль, разработанную французскими мыслителями,— истинный гуманизмъ; именно эта мораль искренно и глубоко воспринята нашей интеллигенціей и, можетъ быть, ранѣе всѣхъ Пироговымъ; весьма возможно, что Н. И. совершенно самостоительно выработалъ себѣ эти взгляды; его вліяніе было громадно, и потому распространеніе этой морали среди нашей интеллигентіи, до нѣкоторой степени, нужно приписать Н. И. Именно эта мораль родственна мягкой славянской душѣ; не даромъ наша интеллигенція такъ чтитъ Пирогова.

Мораль Пирогова резюмируется вполнѣ всего въ его стихотвореніи, посвященномъ А. В. (Севастоп. письма стр. 160 и 170.)

«Быть счастливымъ счастьемъ другихъ—  
Вотъ настоящее счастье, вотъ жизни земной идеаль.  
Любовью къ ближнему чистой, глубокой проникнуть  
быть долженъ,  
Кто счастья земного въ счастьи ищетъ другихъ».

Горячая, дѣятельная любовь къ людямъ неразрывна съ уваженiemъ къ человѣку, къ человѣческому достоинству.

<sup>1)</sup> Bd. VII; S. 184.

Въ злодѣѣ и добромъ  
Идеалъ человѣка должны мы любить...

Идеалъ человѣка чтить мы должны и любить...

Конечно, это настоящая христіанская мораль; если Достоевскій и преувеличивалъ, утверждая, что нашъ народъ вполнѣ всѣхъ воспринялъ духъ христіанства, то несомнѣнно, что почитаніе Пирогова указываетъ на большую нравственную чуткость нашей интеллигенціи. Чтобы закончить съ этою стороною духовной личности Пирогова, напомню, что русская натура Пирогова проявилась и въ его отношеніи къ женщинѣ, въ вѣрѣ въ ея морализующее влияніе. Великая княгиня Елена Павловна „сдѣлала переворотъ въ госпиталяхъ, введя въ нихъ чуткій женскій элементъ при уходѣ за больными“ (Севас. пис. с. 51); „женщины даже въ управлѣніи многихъ общественныхъ учрежденій болѣе одарены способностями чѣмъ мужчины“ (т. II, с. 506). Кто знаетъ общественную жизнь за границей, тотъ согласится со мною, что нигдѣ нѣтъ столько сторонниковъ равноправія, какъ у насъ, нигдѣ нѣтъ столько вѣры въ высшія способности женщинъ, какъ у насъ.

Много поработавъ для науки, послѣ плодотворной общественной дѣятельности, Н. И., какъ настоящій русскій старецъ, свои послѣдніе годы провелъ въ размышленіи надъ основными проблемами бытія. Въ этомъ отношеніи его подражателемъ является современный „властитель душъ“, также подъ старость измѣнившій свою дѣятельность, съ юношескимъ пыломъ увлекшійся решеніемъ тѣхъ же вопросовъ. Дѣйствительно, сходство между этими двумя мудрецами бросается въ глаза; Пироговъ лучшіе годы своей жизни отдалъ наукѣ, Л. Н. Толстой искусству; оба поработали на педагогическомъ поприщѣ; оба наши великие мыслители, достигнувъ высшей славы и полнаго благополучія, въ послѣдній періодъ своей жизни всецѣло занялись философіей. Л. Н. возвращался къ искусству, Н. И. занимался медицинской практикой, помогалъ страждущимъ воинамъ

въ 1870—71 гг. и въ 1877—78 гг. Первый періодъ дѣятельности этихъ двухъ лучшихъ согражданъ сходенъ въ томъ отношеніи, что Пироговъ заинтересовалъ Европу русской наукой, Л. Толстой прославилъ во всемъ мірѣ русское искусство. Я не смѣю сравнивать педагогическую дѣятельность Пирогова и Л. Толстого; насколько я могу понять, педагоги болѣе цѣнятъ педагогическую дѣятельность Н. И.; въ качествѣ образованнаго гражданина и профессора, я могу лишь сказать, что педагогическая дѣятельность и Н. И., и Л. Н. имѣетъ сравнительно меньшее значеніе въ ихъ плодотворной жизни: печальнѣйшее положеніе нашей школы является тому доказательствомъ. Мы имѣемъ право гордиться нашей хирургіей и всей медициной, такъ же какъ и нашимъ искусствомъ, но, увы, намъ слѣдуетъ лишь скорбѣть о нашей школѣ.

Вполнѣ понятно, почему философія Л. Н. имѣла у насъ большое вліяніе; къ сожалѣнію Н. И. умеръ сравнительно рано, а при жизни онъ не дѣлился своими мыслями. „Дневникъ старого врача“ не могъ получить широкаго распространенія; великия мысли въ этомъ драгоцѣнномъ дневникѣ изложены отрывочно, разбросаны, не приведены въ систему, многое изложено очень кратко, намеками. По моему глубокому убѣжденію, въ этомъ послѣднемъ твореніи Н. И. мы имѣемъ самое высшее проявленіе нашей философской мысли. Такъ какъ философія Пирогова уже была предметомъ работъ Пясковскаго (Пироговъ какъ психологъ, философъ и богословъ. Вопросы философіи 1893) и Д. Добромыслова (Философія Пирогова по его Дневнику. Вѣра и Разумъ 1893), то нѣтъ надобности подробно останавливаться на этомъ вопросѣ.

Въ философіи Н. Пирогова, такъ же какъ и въ философіи Л. Толстого, во главѣ угла стоитъ пониманіе Божества. Пироговъ такъ же какъ и Толстой съ большими душевными мукаами вырабатывалъ рѣшеніе этого главнаго во всей ихъ философіи вопроса. „Начну съ того, что вѣру я считаю такою психическою способностью человѣка, которая болѣе

въ 1870—71 гг. и въ 1877—78 гг. Первый періодъ дѣятельности этихъ двухъ лучшихъ согражданъ сходенъ въ томъ отношеніи, что Пироговъ заинтересовалъ Европу русской наукой, Л. Толстой прославилъ во всемъ мірѣ русское искусство. Я не смѣю сравнивать педагогическую дѣятельность Пирогова и Л. Толстого; насколько я могу понять, педагоги болѣе цѣнятъ педагогическую дѣятельность Н. И.; въ качествѣ образованнаго гражданина и профессора, я могу лишь сказать, что педагогическая дѣятельность и Н. И., и Л. Н. имѣетъ сравнительно меньшее значеніе въ ихъ плодотворной жизни: печальнѣйшее положеніе нашей школы является тому доказательствомъ. Мы имѣемъ право гордиться нашей хирургией и всей медициной, такъ же какъ и нашимъ искусствомъ, но, увы, намъ слѣдуетъ лишь скорбѣть о нашей школѣ.

Вполнѣ понятно, почему философія Л. Н. имѣла у насъ большое влияніе; къ сожалѣнію Н. И. умеръ сравнительно рано, а при жизни онъ не дѣлился своими мыслями. „Дневникъ старого врача“ не могъ получить широкаго распространенія; великия мысли въ этомъ драгоценномъ дневникѣ изложены отрывочно, разбросаны, не приведены въ систему, многое изложено очень кратко, намеками. По моему глубокому убѣждению, въ этомъ послѣднемъ твореніи Н. И. мы имѣемъ самое высшее проявленіе нашей философской мысли. Такъ какъ философія Пирогова уже была предметомъ работъ Пясковскаго (Пироговъ какъ психологъ, философъ и богословъ. Вопросы философіи 1893) и Д. Добромыслова (Философія Пирогова по его Дневнику. Вѣра и Разумъ 1893), то неѣтъ надобности подробно останавливаться на этомъ вопросѣ.

Въ философіи Н. Пирогова, такъ же какъ и въ философіи Л. Толстого, во главѣ угла стоитъ пониманіе Божества. Пироговъ такъ же какъ и Толстой съ большими душевными муками вырабатывалъ рѣшеніе этого главнаго во всей ихъ философіи вопроса. „Начну съ того, что вѣру я считаю такою психическою способностью человѣка, которая болѣе

всѣхъ другихъ отличаетъ его отъ животныхъ“ (т. I с. 168). „Мой бѣдный умъ и останавливаясь на вселенной (вместо Бога) благоговѣлъ предъ нею, какъ передъ безпределльнымъ и вѣчнымъ началомъ“ (т. I с. 158). „Мой бѣдный, не разъ блуждающій умъ остановился на этомъ признаніи; для меня существованіе верховнаго разума и верховой воли сдѣлалось такою же необходимостью какъ мое собственное умственное и нравственное существованіе“ (т. I с. 172).

Не смотря на значительное различіе религіознаго пониманія Пирогова и Л. Толстого, въ основѣ, по существу, ихъ вѣрованія сходны. „Всеобъемлющая любовь и благодать Святаго Духа это два существенные элемента идеала вѣры Христовой, отличающей ее отъ морали, какъ небо отъ земли“ (т. I с. 178). „Одно мнѣ кажется несовмѣстимымъ съ духомъ ученія Христа—это догматизмъ и доктринерство“ (т. I с. 179). „Вѣруя, что основной идеаль ученія Христа; по своей недосягаемости, останется вѣчнымъ и вѣчно будетъ вліять на души, ищущія мира, черезъ внутреннюю связь съ Божествомъ, мы ни минуты не можемъ сомнѣваться и въ томъ, что этому ученію суждено быть неугасаемымъ маякомъ на извилистомъ пути нашего прогресса“ (т. I с. 182).

Едва ли можно сомнѣваться, что Н. И., какъ многие русскіе ученые, рано почувствовалъ утомленіе и разочарованіе. Послѣдній періодъ своей жизни, т.-е. съ 1866 г., онъ уже отдыхалъ отъ работы и мало читалъ; къ такому выводу слѣдуетъ придти на основаніи его собственнаго признанія: „Современная философія безсознательного, которой я, признаюсь, не читалъ“ (т. I с. 157). Такъ какъ Пироговъ въ этотъ періодъ своей жизни именно работалъ надъ философскими проблемами, его признаніе объясняетъ намъ, почему Н. И. не удалось разработать и систематизировать свои идеи. Онъ не находить нужнымъ изучать философскія творенія, даже наиболѣе интересовавшія современниковъ. Немалое значеніе имѣла и крайняя скромность Пирогова. „Я не претендую на званіе философа“ (т. I с. 23). Не при-

давая большой цѣнности своимъ философскимъ идеямъ, не считая ихъ особенно важными, Н. И. не могъ заняться ихъ разработкой и систематизаціей. Увы, здѣсь мы должны пожалѣть, что „худыя и хорошия свойства нашей національности“ лишили насъ цѣльной философской доктрины великаго нашего мыслителя.

Даже философія Н. И. представляетъ собою самое яркое проявленіе нашего національнаго духа.

Философія Пирогова, по его собственному опредѣленію, есть „раціональный эмпіризмъ“ (т. I с. 44). Едва ли у насъ и возможно другое міропониманіе; рациональный эмпіризмъ наиболѣе соотвѣтствуетъ свойствамъ нашего ума; другое міропониманіе, по крайней мѣрѣ теперь и въ ближайшемъ будущемъ, едва ли у насъ приемлемо. Въ философскомъ міропониманіи ясно и рѣзко проявилось основное свойство ума Н. И. „Я независимый, т.-е. независимый отъ предвзятыхъ мнѣній и доктринъ“ (т. I с. 163). Именно это свойство присуще русскому человѣку; одинъ европейски извѣстный учёный, знавшій (Бенедиктъ) много нашихъ интеллигентовъ, неоднократно бывавшій въ Россіи, говорилъ мнѣ, что заглогомъ нашего прогресса онъ считаетъ, что мы болѣе другихъ народовъ независимы отъ предвзятыхъ доктринъ.

Наконецъ, несомнѣнно чисто русское міропониманіе, выработанное и исповѣдуемое почти всѣмъ народомъ, лежитъ въ основе міропониманія Н. И. „Я за предопределение. По-моему, все, что случается, должно было случиться и не быть не можно... Значитъ фатализмъ. Да, какъ умозрѣніе, наиболѣе уживающееся въ моемъ умѣ и потому кажущееся мнѣ наиболѣе логическимъ и послѣдовательнымъ... а послѣдовательно строгое примѣненіе къ жизни ученія о предопределѣніи должно вести къ полному бездѣйствію“. Очевидно ближайшее средство міровоззрѣній нашего народа и Н. И.; конечно, основная, общая и народу, и Н. И. идея развита и поставлена Пироговымъ философски, не такъ какъ выражаетъ ее народъ. Такъ же, какъ и нашъ народъ, Пироговъ не исповѣдывалъ послѣдовательного фатализма.

Понятно, что въ чисто научной области, какова хирургія, не могли проявиться оригинальные свойства русского ума Пирогова; нужно лишь отмѣтить раннее развитіе Н. И., трезвость ума, отвращеніе къ показному, театральности, ненависть къ доктринерству. Очень скоро молодой ученый понялъ полную несостоятельность хирургіи даже въ лучшихъ клиникахъ; раннее развитіе и трезвость ума Н. И. доказываются тѣмъ, что онъ вполнѣ понялъ и научную несостоятельность, и ремесленное отношеніе къ дѣлу первыхъ корифеевъ хирургіи того времени. Можетъ быть, правильнѣе это отнести на счетъ высокой талантливости нашего великаго хирурга.

Свойства русского человѣка проявились въ отвращеніи Н. И. къ показному, къ доктринерству. „Я убѣдился достаточно, что нерѣдко принимались мѣры въ знаменитыхъ клиническихъ заведеніяхъ не для открытія, а для затемненія научной истины“ (т. I с. 480). По поводу нѣмецкихъ хирурговъ, защитниковъ медленного производства операций, Пироговъ выразился весьма рѣзко; ихъ пациентовъ онъ назвалъ мучениками „безмозглаго доктринерства“ (т. I с. 440). Нашихъ врачей можно винить во многомъ, но безусловно нельзя винить ни въ стремлѣніи къ шарлатанству, ни въ безмозгломъ доктринерствѣ. Почти всѣмъ нашимъ врачамъ и шарлатанство, и доктринерство такъ же противны, какъ и нашему великому учителю; въ этомъ отношеніи Н. И. безспорно лучшій русскій врачъ. Конечно, я знаю, что шарлатанство и доктринерство нигдѣ не считаются добродѣтелью, но и я видѣлъ въ заграничныхъ „знаменитыхъ клиническихъ заведеніяхъ“ стремлѣніе пустить пыль въ глаза; даже извѣстные ученые не стѣснялись устраивать фокусы съ внушениемъ и гипнозомъ. Также удивило меня доктринерство мало даровитыхъ заграничныхъ ученыхъ. Наши врачи всегда слѣдовали завѣтамъ своего великаго учителя; эти свойства ума Пирогова, чисто русскія, всегда у насъ цѣнились очень высоко; такъ какъ Н. И. ихъ воплотилъ въ себѣ болѣе чѣмъ кто либо, то ни одинъ врачъ не пользовался у насъ такимъ почитаніемъ, какъ Пироговъ.

Раннее развитіе Пирогова едва ли можно отнести на счетъ его національности, но, несомнѣнно, русская натура Н. И. проявилась въ томъ увлеченіи, съ которымъ онъ предался научнымъ занятіямъ въ Дерптѣ. Присматриваясь за границей какъ работаютъ наши и мѣстные молодые ученые, я пришелъ къ убѣждению, что никто не работаетъ съ такимъ увлечениемъ, какъ русскіе; конечно, не всѣ, а нѣкоторые наши молодые ученые, дорвавшись, если можно такъ выразиться, до работы въ благоустроенной лабораторіи, всецѣло отдаются работѣ, работаютъ запоемъ, забывая обо всемъ на свѣтѣ, кромѣ науки. Такое же мнѣніе я слышалъ отъ заграничныхъ профессоровъ, подъ руководствомъ которыхъ работали русскіе; одинъ извѣстный ученый высказалъ мнѣ удивленіе, почему русскіе, работающіе съ такимъ увлечениемъ за границей, вернувшись домой, работаютъ такъ мало. Покойный физіологъ Людвигъ говорилъ, что Ворошиловъ былъ самымъ прилежнымъ его ученикомъ; никто не работалъ въ его лабораторіи съ такимъ увлечениемъ какъ Ворошиловъ; Людвигъ спрашивалъ меня, почему Ворошиловъ не работаетъ дома.

Пироговъ работалъ съ такимъ увлечениемъ, что Е. И. Майеръ говорила Е. Н. Догановской: „женѣ Пирогова надо опасаться, что онъ будетъ дѣлать эксперименты надъ нею“ (т. I с. 509). Самъ Н. И. говоритъ, что во время своей профессуры въ Дерптѣ, т.-е. съ 1836 по 1841, онъ работалъ по 16 часовъ въ сутки (т. I с. 473). Можно лишь удивляться работоспособности Н. И.: такъ много онъ создалъ въ первый періодъ своей профессорской дѣятельности. Конечно, Н. И. былъ богато одаренъ отъ природы, но вѣдь его работы свидѣтельствуютъ не только о его высокомъ умѣ, но и выдающемся прилежаніи.

Н. И. Пироговъ занялъ каѳедру въ 1836 г.; въ 1841 г. перешелъ на службу въ Медицинскую Академію; официаlльно Пироговъ вышелъ изъ состава профессоровъ М.-Х. академіи въ 1856 г.; фактически же онъ оставилъ академію въ 1854, когда отправился на театръ военныхъ дѣйствій въ Крымъ (Малисъ. Н. И. Пироговъ, стр. 52).

Конечно, не можетъ быть и рѣчи о томъ, что Н. И. былъ принужденъ покинуть каѳедру; онъ былъ извѣстенъ великой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ и вообще начальству, что доказывается тѣмъ, что въ 1856 г. онъ получилъ высшій постъ. Несомнѣнно, Пироговъ покинулъ каѳедру по собственному желанію; онъ увлекся общественно-педагогическими вопросами съ такимъ же пыломъ, такъ же вполнѣ, какъ въ молодости всецѣло отдался науки. Вся его послѣдующая жизнь свидѣтельствуетъ, что наука вообще и хирургія въ частности уже не поглощала его вниманія; она, говоря по-просту, ему надоѣла. Никто не рѣшился отрицать, что, если бы Н. И. хотѣлъ продолжать научныя работы, онъ могъ бы и въ 1861, и въ 1866 работать въ качествѣ профессора, главнаго врача больницы, директора частной лѣчебницы. Нужно признать, что хирургія уже въ 1856 г. потеряла свою прелесть для Н. И.: свои громадныя свѣдѣнія, приобрѣтенные до 1856 г., онъ примѣнялъ и въ 1870—1871 годахъ, и въ 1876—1877 годахъ, занимался хирургической практикой и поселившись въ деревнѣ, но не наука составляла главное въ его жизни за этотъ періодъ.

Итакъ, въ расцвѣтѣ силь, 46 лѣтъ, Н. И. обрывается, по собственному желанію, научную дѣятельность; нѣтъ никакихъ указаній, чтобы когда-либо Пироговъ сожалѣлъ о сдѣланномъ шагѣ. Я не припомню случая, чтобы европейскій ученый, столь же талантливый, какъ Н. И., въ 46 лѣтъ прекратилъ научную дѣятельность; въ этомъ возрастѣ заграничные ученые считаютъ себя на серединѣ пути, работаютъ съ неослабѣвающимъ рвениемъ, составляютъ планы будущихъ работъ. У нашихъ ученыхъ ранѣе проявляется утомленіе и разочарованіе. Я думаю, что русская натура Н. И. очень ясно проявилась въ этомъ раннемъ разочарованіи наукой. Къ сожалѣнію, Н. И. не успѣлъ описать этого періода своей жизни, и потому мы не знаемъ, что собственно побудило его такъ рано покинуть науку,—было ли это утомленіе, объяснимое продолжительнымъ, крайне напряженнымъ трудомъ, было ли это разочарованіе, т.-е. созна-

ніе, что наука уже не можетъ наполнить жизни, было ли это убѣжденіе, что данные Богомъ силы можно съ большою пользою примѣнить на другомъ поприщѣ.

Общественная и педагогическая дѣятельность Пирогова была непродолжительна; въ мартѣ 1861 г. состоялось его увольненіе отъ должности попечителя; въ 1862 г. его командировали на 4 года за границу для наблюденія за молодыми русскими учеными. Истинныя причины прекращенія служебной дѣятельности Н. И. неизвѣстны; принято думать, что онъ былъ уволенъ за свой либерализмъ. Теперь едва ли нужно доказывать, что Пироговъ всегда былъ вполнѣ *благонамѣренный* человѣкъ; „я прожилъ три недѣли (въ 1860 г.) въ Петербургѣ и дѣйствительно не зналъ, чemu удивляться: распущенности ли, съ одной стороны, или безалаберности — съ другой; то слышались довольно громко, почти публично, самые ярко-красные бредни и вызовы, то запрещались весьма скромныя журнальныя статьи. Вообще, предшествовавшее непосредственно эманципаціи время оставило у меня впечатлѣніе чего-то смутнаго, неопределеннаго, не позволявшаго понять, должно ли радоваться тому, что предстоитъ, или только рукой махнуть“ (I. с. 244). Несомнѣнно, если бы графу Д. Н. Толстому были извѣстны убѣжденія Пирогова, онъ употребилъ бы всѣ усилия сохранить такого убѣженного монархиста на службѣ.

Весьма поучительны политическія возврѣнія Н. И. „Я убѣжденъ, что всѣ, желающіе со мной октроированнаго представительства въ Россіи, желаютъ не ослабленія, а упроченія монархической власти. Всѣ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе убѣждаются, что пришло такое время, когда и вызванный самимъ монархомъ прогрессъ принимается и приносить добрые плоды не иначе, какъ при дѣятельномъ и самостоятельномъ участіи общества. (Исторический сборникъ о минувшемъ стр. 19).

„Представительство въ сущности не только не ослабляетъ, но еще укрепляетъ самодержавную власть, сообщая проявленіямъ ея большую цѣлесообразность и, такъ сказать,

проницательность, ограничиваетъ же оно власть не болѣе, какъ и всякий законъ, издаваемый самою же властью". (Ib. стр. 50).

Несомнѣнно, что Н. И. покинулъ службу не потому, что принципіально, по своимъ убѣжденіямъ, не могъ служить при данной политической обстановкѣ; его другъ Н. Х. Бунге, какъ известно, умеръ предсѣдателемъ комитета министровъ. Нужно думать, что Н. И. и не особенно хотѣлъ служить; его высокая покровительница Елена Павловна имѣла достаточно вліянія, чтобы Пироговъ получилъ какой-нибудь высокій постъ. Кроме того, по своей русской натурѣ Пироговъ едва ли имѣлъ необходимыя на службѣ стойкость и уживчивость.

Н. И. отъ всей души желалъ поработать на пользу Россіи въ Севастополѣ... „у кого еще не остыло сердце для высокаго и святого, нельзя смотрѣть на все, что дѣлается вокругъ насъ, одностороннимъ, эгоистическимъ взглядомъ“ (Севаст. пис., с. 37). Пріѣхавъ въ ноябрѣ 1854 г. въ Севастополь, Пироговъ, возмущенный нашими безобразными порядками, уже весною 1855 г. рѣшаетъ уѣхать изъ Севастополя. Въ письмѣ отъ 29/IV 1855 Н. И. пишетъ женѣ: „О, какъ рады будутъ многія начальства здѣсь, которыхъ я такъ бомбардирую, какъ бомбардируютъ Севастополь, когда я уѣду. Я знаю, что многіе этого только и желаютъ. Это знаютъ и прикомандированные ко мнѣ врачи, знаютъ, что ихъ заѣдятъ безъ меня, и поэтому, несмотря на всѣ увѣренія и обѣщанія, хотяъ за мною бѣжать безъ оглядки. Достанется и сестрамъ...“ (Севаст. пис., с. 113). Въ маѣ Н. И. уѣхалъ изъ Севастополя, утомленный борьбою, зная, какъ тяжело отзовется его отѣздъ на раненыхъ и больныхъ. Нужно прибавить, что высшее начальство цѣнило Пирогова... „меня здѣсь представилъ Сакенъ и къ Аннѣ...“ (Сев. пис., с. III). Тутъ очень ясно проявилась основная черта нашего национального характера — недостатокъ стойкости, быстро наступающее утомление въ борьбѣ. Можно лишь скорбѣть, что даже такой человѣкъ, какъ Н. И.,

покинулъ самую полезную дѣятельность, утомленный дрязгами, утомленный борьбой съ мелкими воришками и лгунишками. Даже наши лучшіе люди не сознаютъ безусловной необходимости бороться со зломъ; вмѣстѣ съ Н. И. они думаютъ: „поневолѣ хочешь уйти отъ зла, чтобы не быть по крайней мѣрѣ бездѣйственнымъ его свидѣтелемъ“. Пироговъ былъ высоко нравственный человѣкъ, и потому въ концѣ августа вернулся въ Севастополь; и этотъ разъ онъ не оставался такъ долго, какъ того требовало положеніе больныхъ и раненыхъ: 1 декабря онъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Весьма вѣроятно, что Пироговъ покинулъ педагогическую и служебную дѣятельность по тѣмъ мотивамъ, по какимъ онъ уѣзжалъ изъ Севастополя: онъ усталъ въ борьбѣ съ поплѣстью.

Н. И. обнаруживалъ, какъ и многіе очень хорошия русскіе люди и недостатокъ стойкости, и неуживчивость, и неумѣніе приспособляться къ обстоятельствамъ; намъ неизвѣстно, какія мелочныя столкновенія повели къ увольненію его отъ должности попечителя, но мы знаемъ, какъ сильно Н. И. реагировалъ на самыя ничтожныя и неизбѣжныя на службѣ непріятности. Въ письмѣ къ баронессѣ Э. Ф. Радень, 27/II, 1876, Н. И. писалъ: „По возвращеніи съ Кавказа въ 1847 г. утомленный мучительными трудами, въ нервномъ возбужденіи отъ результата своихъ испытаній на полѣ битвы, я велѣлъ о себѣ доложить военному министру почти тотчасъ же по своемъ пріѣздѣ, и не обратилъ вниманія, въ какомъ платьѣ я къ нему явился. За это я долженъ былъ выслушать рѣзкій выговоръ насчетъ моего нерадѣнія къ установленной формѣ отъ г. Анненкова (тогда во главѣ медик. хирург. академіи); я такъ былъ разсерженъ, что со мною приключился истерический припадокъ (со слезами и рыданіями; я теперь сознаюсь въ своей слабости). Послѣ этой выходки я твердо рѣшился подать въ отставку и проститься съ академіей“.

Я нарочно остановился на этомъ мелкомъ эпизодѣ имен-

но потому, что онъ могъ случиться только съ русскимъ человѣкомъ и даетъ намъ право предполагать, что подобная же очень мелочная причины играли немалую роль въ печальномъ для Россіи обстоятельствѣ: увольненіи Пирогова отъ должности попечителя. Правительство потеряло самого великаго своего сотрудника, общество лишилось крупнаго дѣятеля; теперь для насъ вполнѣ ясно, что политическая убѣжденія не могли быть причиной оставленія Пироговыемъ службы.

Мы можемъ только сожалѣть, что Н. И. такъ рано покинулъ государственную службу; еще болѣе мы должны скорбѣть о томъ, что этотъ благородный гражданинъ и глубокій мыслитель такъ скоро охладѣлъ къ педагогической дѣятельности. Вѣдь и не занимая должности попечителя, Пироговъ могъ бы работать на педагогическомъ поприщѣ. Я знаю, какъ высоко цѣнятся заслуги Пирогова, какъ педагога. Занимаясь этимъ дѣломъ всего нѣсколько лѣтъ, Пироговъ сдѣлалъ немало для нашего развитія. Это даетъ полное основаніе думать, что если бы Н. И. такъ скоро не охладѣлъ къ этому важному у насъ дѣлу, наша школа не была бы въ такомъ ужасномъ положеніи, въ какомъ — увы! теперь она находится. Такая увѣренность основывается на томъ, что этотъ великий мыслитель подошелъ уже къ основному вопросу въ дѣлѣ воспитанія... „остается только одно наиболѣе надежное средство къ достижению цѣли воспитанія—это приспособленіе его не къ личной, а къ племенной, расовой или народной особенности (племенной индивидуальности) (I, с. 152).

„Кто сумѣеть это сдѣлать, тому и книги въ руки. И это дѣло не легкое“... Къ нашему несчастію, у насъ не было педагога, равнаго по дарованіямъ Пирогову, и потому никто не сумѣль приспособить нашу школу къ нашей „племенной индивидуальности“, и оттого у насъ, въ сущности, нѣтъ школы, а есть заведенія, выдающія дипломы.

В. Чижъ.

## Этика Д. Юма. III. Краткія критическія замѣчанія.

### I.

Въ своемъ предшествующемъ очеркѣ, посвященномъ изложению этическихъ возврѣній Юма<sup>1)</sup>, мы охарактеризовали взгляды Юма на двѣ основныя добродѣтели — справедливость и благожелательность. Послѣ анализа этихъ двухъ добродѣтелей Юмъ въ своемъ „Изслѣдованіи о принципахъ морали“ (а также, въ болѣе сжатомъ видѣ, и въ „Treatise“) дѣлаетъ характеристику качествъ человѣка, которыя примикаютъ къ этимъ основнымъ типамъ добродѣтели. Всѣ эти качества можно свести, по мнѣнію Юма, къ тремъ группамъ: 1) качества, полезныя намъ самимъ, 2) качества, непосредственно пріятныя намъ самимъ, и 3) качества, непосредственно пріятныя другимъ. Юмъ не дѣлаетъ исчерпывающаго перечня всѣхъ этихъ качествъ, а останавливается только на характеристицѣ наиболѣе типичныхъ изъ нихъ. Такъ, изъ первой категоріи его вниманіе обращаетъ благоразумная осмотрительность (*discretion*), старательность (*industry*), умѣренность (*frugality*). Въ соотвѣтствіе съ послѣднимъ качествомъ оттѣняются такіе недостатки, какъ скучность и расточительность.<sup>2)</sup> Затѣмъ характеризуются болѣе сложныя качества, цѣнность которыхъ опредѣляется болѣшимъ количествомъ условій,—это честность, вѣрность, правдивость<sup>3)</sup>. Далѣе указывается цѣлый рядъ качествъ,

<sup>1)</sup> „Вопросы философіи“, кн. 104.

<sup>2)</sup> Enquiry concerning the principles of morals, pp. 217—222.

<sup>3)</sup> Дѣ., р. 222.

родственныхъ ранѣе названнымъ тремъ положительнымъ свойствамъ (осмотрительности, старательности, умѣренности). Къ такимъ качествамъ относятся: воздержность, трезвость, терпѣливость, постоянство, настойчивость, предусмотрительность и т. п.<sup>1)</sup> Въ заключеніе дѣлаются замѣчанія относительно вліянія тѣлесныхъ свойствъ или имущественнаго положенія на тѣ качества, которыя являются предметомъ одобренія.<sup>2)</sup>

Что касается качествъ, непосредственно пріятныхъ намъ самимъ, то здѣсь Юмъ называетъ общее радостное настроеніе или веселость (*chearfulness*), мужество, спокойствие, способность къ восприятію возвышенного и патетического, въ связи съ чувствомъ изящнаго<sup>3)</sup>). Наконецъ, къ числу качествъ, непосредственно пріятныхъ другимъ, Юмъ относитъ вѣжливость, неподдѣльную искренность и живость въ бесѣдѣ, особенный тактъ въ отношеніи къ другимъ людямъ—въ связи съ различіями пола, возраста, положенія и т. п. и, наконецъ, здѣсь же упоминается такое качество, какъ опрятность<sup>4)</sup>.

Всѣ эти качества, по мнѣнію Юма, являются однимъ изъ источниковъ тогоуваженія или неуваженія, которое питается къ людямъ, обладающимъ такими качествами. Юмъ не называетъ эти качества прямо добродѣтелями, но онъ думаетъ, что этотъ эпитетъ можетъ быть прилагаемъ къ нимъ, ибо по существу нѣтъ различія между ними и ранѣе охарактеризованными добродѣтелями. Правда, нерѣдко въ этомъ случаѣ указывается на то, что эти качества являются какъ бы непроизвольными и не предполагаютъ той, въ извѣстномъ смыслѣ, свободной дѣятельности, которая лежитъ въ основѣ сознательной моральной жизни. Но такое различіе едва ли можно признать вполнѣ состоятельнымъ. Такъ, многія изъ этихъ качествъ назывались добродѣтелями

<sup>1)</sup> Ib., p. 225.

<sup>2)</sup> Ib., pp. 206—230.

<sup>3)</sup> Ib., pp. 231—239.

<sup>4)</sup> Ib., p. 244.

у древнихъ моралистовъ, которые этотъ признакъ произвольности не считали существеннымъ. Затѣмъ, добродѣтель и порокъ могутъ считаться непроизвольными въ томъ же смыслѣ, какъ таковыми считаются красота и безобразіе. Моральныя сужденія возникаютъ въ связи съ естественнымъ развитіемъ удовольствія и страданія, и мы называемъ дѣйствія хорошими или дурными въ зависимости отъ ихъ отношенія къ общему душевному содержанію опредѣленнаго индивидуума. Наконецъ, что касается свободы воли, то, если понимать ее въ строгомъ смыслѣ слова, ея не можетъ быть ни въ отношеніи качествъ, ни въ отношеніи дѣйствій. Не все произвольное есть свободное. Такъ, наши дѣйствія болѣе произвольны, чѣмъ наши сужденія, но свободы въ собственномъ смыслѣ нѣтъ ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ. Основаніемъ для различія между добродѣтелями (въ строгомъ смыслѣ) и естественными качествами, очевидно, послужило то обстоятельство, что послѣднія (по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ нихъ) почти совершенно не измѣняются подъ вліяніемъ сознательныхъ усилий, тогда какъ первыя подчинены этому воздействию со стороны такихъ стимуловъ, какъ награда и наказаніе, похвала и порицаніе. Но какъ бы то ни было, античные моралисты, не дѣлавшіе въ данномъ случаѣ принципіального различія, стояли на вѣрномъ пути.<sup>1)</sup>

Эта краткая характеристика или, скорѣе, перечень этихъ качествъ - добродѣтелей показываетъ, что санкція добродѣтели заключается не въ чемъ-либо внѣшнемъ, а въ тѣхъ свойствахъ полезности и пріятности, которыя присущи какъ ранѣе охарактеризованнымъ добродѣтелямъ — справедливости и благожелательности, такъ и этимъ менѣе значительнымъ качествамъ. Соціальная полезность всѣхъ этихъ качествъ не можетъ подлежать сомнѣнію. Но польза заключаетъ въ себѣ еще одинъ эмоциональный элементъ,

<sup>1)</sup> Treatise, III, pp. 363—364; cp. Enquiry concerning the principles of morals, pp. 248—283.

который также является необходимымъ для достиженія счастья. Элементъ этотъ—пріятность или удовольствіе, каковыми свойствами объясняется, между прочимъ, привлекательность полезного. Въ обыденной жизни мы постоянно видимъ ссылку на полезность, какъ на основаніе для пробужденія пріятнаго чувства въ отношеніи того, кто обладаетъ этимъ качествомъ. Такъ, едва ли можно сильнѣе похвалить человѣка, чѣмъ какъ выяснивъ полезность его дѣятельности для общества. Даже неодушевленные предметы, какіе-нибудь механизмы, являются предметомъ нашей похвалы только при условіи, если правильность и изящество частей не нарушаютъ ихъ пригодности для опредѣленной полезной цѣли. Наоборотъ, если этого не бываетъ, если въ этихъ механизмахъ осуществляются чисто-геометрические принципы, то у насъ едва ли можетъ получиться названное пріятное чувство. Такъ, если бы въ какомъ-либо домѣ всѣ окна и двери представляли собою правильные квадраты, зданіе это едва ли могло бы понравиться намъ: указанныя его части слишкомъ мало соответствовали бы своему назначенію, поскольку онѣ такъ мало были бы согласованы съ общимъ строеніемъ человѣческаго организма. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что человѣкъ, поведеніе котораго является вреднымъ для общества и опаснымъ для всякаго соприкасающагося съ нимъ, долженъ вызывать чувство неодобренія и порицанія у зрителя<sup>1)</sup>.

Но, конечно, это обстоятельство не даетъ намъ права прилагать эпитетъ „добродѣтельный“ и къ неодушевленнымъ предметамъ. Послѣдніе не могутъ возбуждать своеобразнаго чувства, возникновеніе котораго связано съ сознательнымъ характеромъ человѣческой дѣятельности. Только мыслящія существа, уже въ силу изначальной конституціи своей природы, могутъ порождать эти эмоціи. Если мы приписываемъ способность производить ихъ и неодушевленнымъ предметамъ, то поступаемъ только какъ

<sup>1)</sup> Enquiry concerning the principles of morals, p. 202.

бы по капризу нашей рѣчи, котораго нельзя принимать въ серьезъ.<sup>1)</sup>

## II.

Если бы мы теперь попытались резюмировать только что изложенная этическія воззрѣнія Юма, то это резюме могло бы принять слѣдующую форму и выразиться въ такихъ положеніяхъ.

Юмъ, прежде всего, считаетъ необходимымъ дать обоснованіе моральными принципами независимо отъ религіи, поскольку онъ слишкомъ низко цѣнилъ, выражаясь его языкомъ, народныя религіи, исполненные суевѣрій и фанатизма, которыхъ являются источникомъ многихъ безнравственныхъ дѣяній. Такимъ образомъ, санкція морали должна быть только въ ней самой, а не въ ея, а тѣмъ болѣе не въ области религіи. Этимъ устанавливается известная автономія морали. Затѣмъ, установление и обоснованіе моральныхъ принциповъ можетъ итти только эмпириическимъ методомъ, путемъ анализа самого процесса моральной дѣятельности. Этимъ отвергается априорная конструкція морали, выходящая въ своихъ построенияхъ изъ известныхъ абстрактныхъ положеній. Въ этомъ процессѣ анализа моральной дѣятельности действующій субъектъ долженъ быть взятъ во всей полнотѣ своихъ душевныхъ переживаній, поскольку его дѣятельность есть нечто цѣльное, объединенное въ понятіи морального характера, предлагающее опредѣленные мотивы для своего обнаруженія и имѣющее известную объективную цѣнность. Существеннымъ пунктомъ этого анализа является выясненіе природы моральной оцѣнки, въ силу которой одни поступки считаются нравственными, другіе—безнравственными. Здѣсь, прежде всего, отвергается интеллектуалистическая точка зреенія въ морали, главными защитниками которой были Кларкъ и Уолластонъ: нашъ интеллектъ, какъ абстрактная дѣятельность, будучи оторванъ отъ конкретныхъ душев-

<sup>1)</sup> Ib., p. 202.

ныхъ переживаній, не можетъ считаться, по мнѣнію Юма, источникомъ моральныхъ сужденій. Такимъ источникомъ можетъ быть только чувство, своеобразное состояніе удовольствія или неудовольствія, возникающее при видѣтъхъ поступковъ, которые мы называемъ добродѣтельными или порочными. Это чувство является непосредственнымъ по характеру своего возникновенія въ опредѣленномъ индивидуумѣ, и съ этой точки зрења его можно сравнить съ эстетическимъ вкусомъ, съ тѣмъ душевнымъ состояніемъ, которое является въ связи съ воспріятіемъ прекраснаго въ его различныхъ формахъ. Такимъ образомъ, мы можемъ признать существованіе особаго морального чувства, которому принадлежитъ рѣшающее значеніе въ нашихъ приговорахъ о томъ, что хорошо и что дурно. Но это чувство требуетъ болѣе глубокаго анализа, въ связи съ выясненіемъ вопроса, почему именно устанавливается такая высокая оцѣнка актовъ, имѣнущихъ добродѣтельными, и опредѣляется отрицательное отношеніе къ поступкамъ, которые квалифицируются какъ порочные. Этотъ анализъ ведется на почвѣ изслѣдованія природы двухъ типовъ добродѣтелей — искусственныхъ и естественныхъ. Кардинальною изъ добродѣтелей первого типа является добродѣтель справедливости, добродѣтели второго типа группируются вокругъ той особенности человѣческой природы, которую можно назвать благожелательностью. Анализъ добродѣтели справедливости приводить къ тому выводу, что чувство справедливости возникаетъ на почвѣ установленія извѣстнаго отношенія между эгоистическими тенденціями человѣческой природы и ея благожелательными склонностями, причемъ здѣсь принадлежитъ большая роль чисто-внѣшнимъ факторамъ, различнаго рода материальными благами, пользованіе которыми, при относительной ограниченности ихъ въ количественномъ отношеніи, требуетъ обузданія эгоизма и соблюденія извѣстныхъ правилъ. Такимъ образомъ, конечнымъ основаніемъ для предпочтенія справедливости передъ несправ-

вездливостью является соображение пользы и именно пользы для общества, и отсюда—уже для индивидуума. Но это не значитъ, что въ каждомъ отдельномъ случаѣ человѣкъ взвѣшиваетъ всѣ мотивы поступка, оцѣниваетъ всю безконечную возможность предполагаемыхъ послѣствій своего акта: въ дѣйствительности, такой процессъ не имѣетъ мѣста, и человѣкъ дѣйствуетъ, прежде всего, подъ вліяніемъ благожелательного чувства, которое является изначальною принадлежностью его природы. Предпочтеніе однихъ дѣйствій, которыя именуются нравственными, передъ другими, которыя квалифицируются какъ бѣзнравственные, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть выведено изъ эгоистическихъ склонностей человѣческой природы: хотя эти склонности существуютъ какъ фактъ несомнѣнныи, однако онѣ являются передъ нами всегда въ соединеніи съ другими задатками — благожелательными, направленными на интересы другихъ людей. Соціальность человѣческой природы есть фактъ, не подлежащий никакому сомнѣнію, и то представленіе объ изначальномъ состояніи человѣчества, которое мы встрѣчаемъ у Гоббса, является антипсихологической фикცіей. Здѣсь громадная роль принадлежитъ тому свойству человѣческой природы, которое называется симпатіей и въ силу котораго мы легко можемъ представить себѣ душевное состояніе другого лица, будетъ ли это радость, печаль или какое-нибудь другое аналогичное состояніе. Такимъ образомъ, если нравственные отношенія возникаютъ на почвѣ установленія извѣстнаго равновѣсія между эгоизмомъ и благожелательностью, то въ этомъ процессѣ опредѣленія моральнаго нѣтъ элемента холоднаго разсчета, который предполагается въ чисто-утилитарныхъ системахъ, будетъ ли это система Гоббса или Бентама: у Юма, прежде всего, имѣется въ виду соціальная цѣнность извѣстныхъ поступковъ, и уже отъ этой болѣе широкой цѣнности производится цѣнность индивидуальная, поскольку всякий человѣкъ неизбѣжно является членомъ общества.

Здѣсь, слѣдовательно, еще имѣеть полную силу концепція, которая ведет свое начало отъ античнаго міра и по которой благо государства, какъ соціального цѣлого, выше блага отдельнаго человѣка.

### III.

Всѣ указанные пункты въ моральныхъ воззрѣніяхъ Юма находятся въ извѣстномъ отношеніи къ предшествующимъ направленіямъ англійской этики, и для того, чтобы уяснить относительную оригинальность взглядовъ Юма, необходимо болѣе подробно остановиться на характеристицѣ каждого изъ этихъ пунктовъ, разсмотривая его въ исторической перспективѣ.

Такъ, что касается отношенія къ религіи, какъ санкціи морали, то вопросъ этотъ имѣеть довольно длинную исторію, и мы уже часто встрѣчались съ нимъ при обозрѣніи доюмовскихъ системъ англійской этики. Что касается рѣшенія этого вопроса, то оно въ общемъ уже не разъ совпадало съ тѣмъ отношеніемъ къ этой проблемѣ, которое мы находимъ у Юма, поскольку здѣсь имѣется въ виду отрицательный взглядъ на религію, какъ на исключительную моральную санкцію. Такъ, еще у Гоббса мы видѣли попытку сдѣлать мораль самостоятельной въ отношеніи религіи, поставивъ даже самую истинность религіи въ зависимость отъ государственной санкціи. Затѣмъ, эта же мысль объ автономіи морали встрѣчается и у Шефтсбёри, при чёмъ здѣсь указывались и отрицательные послѣдствія религіозной санкціи и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалась попытка найти основаніе для моральной санкціи въ области самихъ душевныхъ переживаній. Далѣе, и ближайшіе предшественники Юма, Гетчесонъ и Бэтлеръ, несмотря на свою особенную связь съ церковной традиціей, однако жъ пытались обосновать свои этическія воззрѣнія независимо отъ теологической санкціи, опираясь лишь на чисто-психологическіи данныя. Наконецъ, даже представители интеллектуалистической морали, Кларкъ Уолластонъ, свои важнѣйшія этическія инструкціи обосно-

Вопросы философіи, кн. 105.



вывали также виѣ теологическихъ предпосылокъ, хотя въ конечномъ выводѣ они всегда имѣли передъ собою определенное вѣроученіе христіанской религії. Такимъ образомъ, Юмъ, въ этомъ пунктѣ своей моральной системы, не является вполнѣ оригинальнымъ, и его связь съ его предшественниками а можетъ быть, и зависимость отъ нихъ, вполнѣ очевидна. Его относительная оригинальность заключается въ томъ, что онъ гораздо категоричнѣе своихъ предшественниковъ смотритъ на традиціонную религію, какъ на тормазъ къ моральному прогрессу, поскольку она въ своихъ конкретныхъ формахъ исполнена суевѣрій и фанатизма, т.-е. такихъ чертъ, которыя являются столь вредными именно съ точки зрењія соціальныхъ отношеній. Здѣсь именно проглядывается столь типичный для этого мыслителя пессимизмъ въ отношеніи религіи, какъ она находитъ для себя конкретное выраженіе въ различныхъ формахъ традиціонной религіозной жизни. Такимъ образомъ, здѣсь не можетъ быть рѣчи о томъ соотношеніи между моральной и религіозной санкціями, которое стараются установить (иногда, правда, довольно замаскированно) не только представители ярко выраженного интеллектуализма, какъ Кларкъ и Уоластонъ, но даже и защитники морали чувства, такие мыслители, какъ Гетчесонъ и Бэтлеръ.

Что касается, теперь, дальнѣйшаго пункта въ этикѣ Юма, то его можно обозначить какъ этическій эмпиризмъ, какъ попытку дать истолкованіе и решеніе моральной проблемы отправляясь исключительно изъ данныхъ опыта и отрицаю всякийaprіоризмъ въ моральныхъ построеніямъ. Конечно, у Юма не было недостатка въ предшественникахъ и въ этомъ направленіи, и уже упомянутые намъ англійскіе моралины—Гоббсъ, отчасти Локкъ, затѣмъ Шефтсбёри, Гетчесонъ, Бэтлеръ,—всѣ они пытались опереть свои этическія конструкціи не на какія-либоaprіорныя соображенія, а на даннныя опыта въ широкомъ смыслѣ, имѣя въ виду какъ анализъ личныхъ переживаній въ процессѣ моральной дѣятельности, такъ и изслѣдованіе эмпирическаго происхожденія

разнообразныхъ моральныхъ нормъ. Поэтому у каждого изъ упомянутыхъ моралистовъ построение этики предварялось характеристикой душевной дѣятельности, какъ эта послѣдняя рисовалось уму изслѣдователя, въ связи съ его общими философскими и психологическими воззрѣніями. Но мы уже упоминали <sup>1)</sup>, что ни одинъ изъ предшествующихъ моралистовъ не далъ намъ такого обстоятельного анализа психологическихъ переживаній, имѣющихъ мѣсто въ процессѣ моральной дѣятельности, какой мы находимъ у Юма. Юмъ, особенно въ первой редакціи своей основной работы, посвятилъ особое сочиненіе выясненію психологическихъ основъ морали, между тѣмъ какъ одинъ изъ его ближайшихъ предшественниковъ, Гетчесонъ, на это изображеніе психологическихъ переживаній въ актахъ этической дѣятельности, повидимому, смотрѣлъ какъ на второстепенную задачу моралиста. Затѣмъ, основная эмпирическая точка зрѣнія не была послѣдовательно проведена, въ области анализа моральныхъ отношеній, ни однимъ изъ предшествующихъ моралистовъ: она осложнялась или рационалистическими элементами, или же ссылкой на нѣкоторыя изначальные свойства человѣческой природы, которая будто бы не могутъ быть сведены, на почвѣ эмпирическаго анализа, къ болѣе простымъ, непосредственно извѣстнымъ намъ психологическимъ даннымъ. Мы знаемъ, что эти рационалистические элементы замѣтны у Гоббса, еще рельефнѣе выступаютъ они у Локка, находятъ извѣстное отраженіе и у Бэтлера—въ его ученіи о совѣсти. Что касается инстинктивности въ проявленіяхъ моральной дѣятельности, то эта черта особенно сильно подчеркивается Гетчесономъ, отчасти Шефтсбёри и, пожалуй, еще нѣсколько раньше—Кумберлэндомъ. У Юма впервые мы видимъ попытку сдѣлать эмпиризмъ исчерпывающимъ методомъ объясненія, хотя осуществленіе этой попытки и здѣсь нельзя назвать, какъ мы увидимъ нѣсколько ниже, вполнѣ удавшимся. Съ другой стороны, Юмъ на первый

<sup>1)</sup> Вопросы философии, кн. 101.

планъ выдвигаетъ именно анализъ, стремится разложить самые разнообразные виды душевныхъ переживаний на болѣе простые процессы и свести ихъ, въ концѣ-концовъ, къ болѣе элементарнымъ и изначальнымъ проявленіемъ нашей психики. Правда, въ этомъ процессѣ сведенія сложныхъ психическихъ комплексовъ къ первичнымъ элементамъ наблюдалась колебаніе у самого Юма, поскольку во второй редакціи своего трактата о морали онъ склоняется къ умноженію основныхъ объясняющихъ принциповъ, но тѣмъ не менѣе онъ всегда является противникомъ слишкомъ частыхъ ссылокъ на инстинктивныя движения нашей души, и въ этомъ его существенное отличие отъ одного изъ его ближайшихъ предшественниковъ, которому онъ несомнѣнно многимъ былъ обязанъ при формулированіи своей концепціи и съ положительной стороны: мы разумѣемъ Гетчесона. Эта сила психологического анализа рельефнѣе вскрывается на различныхъ стадіяхъ въ процессѣ изслѣдованія моральной дѣятельности во всемъ ея объемѣ.

Намъ уже известно, что Юмъ представляетъ весь этотъ процессъ въ высшей степени сложнымъ. При разсмотрѣніи природы морального акта мы должны не только обращать вниманіе на вѣщнее выражение дѣйствія и на вытекающіе изъ него результаты, но и имѣть въ виду мотивы, которые лежать въ основѣ этого дѣйствія. На почвѣ воспріятія всей сложности этого акта въ зрителѣ возникаетъ извѣстное душевное переживаніе, и одной изъ начальныхъ стадій этого переживанія является то, что мы называемъ моральнымъ сужденіемъ, когда извѣстное дѣйствіе квалифицируется какъ хорошее или нравственное, а противоположное ему— какъ дурное или безнравственное. Это произнесеніе морального приговора предполагаетъ, по мнѣнію Юма, постиженіе всего характера человѣка какъ совокупности высшихъ и наиболѣе устойчивыхъ проявленій человѣческой психики, и не можетъ ограничиваться воспріятіемъ отдельныхъ особенностей въ дѣятельности человѣка, которая могутъ служить выраженіемъ его случайного, преходящаго на-

строенія. Но этимъ, конечно, не исчерпывается сфера психологического анализа въ этомъ процессѣ изслѣдованія моральной дѣятельности, и здѣсь выступаетъ на сцену одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ этики—вопросъ объ основаніяхъ въ нашихъ сужденіяхъ о добрѣ и злѣ или вопросъ о санкціяхъ морали. Юмъ опредѣленно ставить эту проблему и пытается дать на нее известный отвѣтъ, находящійся въ тѣсной связи съ его взглядомъ на понятіе добродѣтели вообще. Всѣ эти проблемы, конечно, ставились и предшествующими моралистами и, въ частности, ближайшими къ Юму—Гетчесономъ и Бэтлеромъ, но у нихъ мы не всегда находили ясно расчлененными вопросы объ источникѣ моральныхъ приговоровъ и о санкціяхъ морали, тѣмъ болѣе, что вопросъ о санкціяхъ у этихъ мыслителей осложнялся ихъ теологическими соображеніями, которыхъ, въ силу профессионального положенія авторовъ, иногда совершенно невольно вкрадывались въ ихъ этическія построенія.

Что касается, теперь, первого изъ намѣченныхъ вопросовъ,—вопроса о природѣ нашихъ моральныхъ различій (выражаясь языкомъ Юма), нашихъ приговоровъ основательно того, что хорошо, и что дурно, то взглядъ Юма, прежде всего, опредѣляется съ отрицательной стороны, поскольку Юмъ является здѣсь противникомъ интеллектуализма въ области морали, въ особенности какъ этотъ интеллектуализмъ былъ формулированъ Кларкомъ и Уолластономъ. Юмъ не является вполнѣ оригинальнымъ въ этомъ пунктѣ, поскольку онъ имѣетъ предшественниковъ въ лицѣ Шефтсбёри и Гетчесона, но у обоихъ этихъ мыслителей мы неходимъ обстоятельной аргументаціи ихъ взглядовъ, связанной съ самимъ существомъ ихъ психологическихъ воззрѣній. Эти моралисты своей критикѣ не предполагаютъ изображенія самой природы интеллектуальной дѣятельности, и поэтому при чтеніи ихъ произведеній читатель не всегда ясно представляетъ себѣ, противъ чего именно борются эти мыслители и какъ представляютъ они себѣ роль интеллекта въ актахъ моральной дѣятельности. Ближайшій предшествен-

никъ Юма—Бэтлеръ уже сознательно выбралъ точку зрѣнія компромисса въ этомъ тонкомъ вопросѣ, но отъ этого рѣшеніе обсуждаемой проблемы мало подвинулось впередъ. Что касается Юма, то здѣсь постановки вопроса болѣе опредѣленная: Юмъ имѣть въ виду извѣстныхъ представителей интеллектуализма и опровергаетъ ихъ взгляды, опираясь на ясно формулированныя собственныея психологическая воззрѣнія. Только постоянно держа въ умѣ эти психологические взгляды Юма, мы можемъ уяснить себѣ его ученіе о пассивности разума, о безполезности этой функции въ процессѣ морального различенія: во всѣхъ этихъ слу-  
отъ идетъ рѣчь объ абстрактномъ разсудкѣ, изолированномъ отъ нашихъ эмоциональныхъ и волевыхъ переживаній и, въ силу такого абстрактнаго существованія, не способномъ быть мотивомъ нашей воли. Конечно, всегда естественно возникнуть вопросу, существуетъ ли реально такая изолированная психическая функция,—но разъ, вмѣстѣ съ Юмомъ, будетъ данъ на этотъ вопросъ утвердительный отвѣтъ, то едва-ли что можно возразить и противъ всѣхъ тѣхъ выводовъ, которые дѣлаетъ Юмъ, лишая такую функцию всякаго реальнаго значенія въ актѣ моральной дѣятельности. Но независимо отъ того или другого рѣшенія этого вопроса, всегда можно согласиться съ Юмомъ въ бездоказательности того интеллектуального объективизма, который мы встрѣчаемъ у Кларка и Гетчесона, и въ этомъ отношеніи нѣкоторыя воззрѣнія Юма не потеряли своего значенія вплоть до позднішаго времени. Субъективизмъ Юма, понимаемый въ широкомъ смыслѣ слова, поскольку здѣсь разумѣется перенесеніе центра тяжести, въ процессѣ моральной оцѣнки, на внутренній міръ дѣятеля и соизерцающаго дѣйствіе, въ противоположность безплоднымъ попыткамъ найти критерій морали въ анализѣ понятій и ихъ соотвѣтствіи реальному существованію вещей,—такой субъективизмъ едва-ли можетъ считаться препобѣженнымъ и позднѣйшимъ развитіемъ этики.

Что касается, теперь, положительного взгляда Юма на

природу морального критерія, то онъ заключается, какъ мы знаемъ, въ признаніи эмоциональной основы для нашихъ моральныхъ приговоровъ, при чмъ здѣсь разумѣется именно то чувство, которое возбуждается въ человѣкѣ, когда онъ созерцаетъ моральный актъ. Это чувство отличается специфическимъ характеромъ и не можетъ быть смѣшиваемо съ другими видами пріятныхъ переживаний, возникаетъ непосредственно, независимо отъ соображеній личной выгода, и, благодаря этимъ особенностямъ возникновенія, оно сходно съ тѣмъ, что обычно именуется вкусомъ въ области искусства. Признаніе эмоциональной природы нашихъ этическихъ сужденій, въ связи съ допущеніемъ специального морального чувства, конечно, является очень не новымъ въ исторіи развитія англійской этики, и мы уже не разъ встрѣчали эту концепцію на протяженіи своего обзора разнообразныхъ направленій въ англійской этикѣ. Если опустить довольно неопределеннное представление Г. Мора, съ его *boniform faculty*, стоитъ лишь остановиться на ближайшихъ предшественникахъ Юма: Шефтсбёри, Гетчесонѣ, Бэтлерѣ, чтобы замѣтить у нихъ эту концепцію. Эмоциональная окраска нашихъ сужденій признается всѣми этими моралистами и, кромѣ того, всѣ они допускаютъ особую моральную способность, своеобразное этическое чувство, будетъ ли это извѣстная гармонія аффектовъ у Шефтсбёри, нравственная способность—у Гетчесона, совѣсть—у Бэтлера. Но если мы болѣе внимательно разсмотримъ возврѣнія каждого изъ этихъ мыслителей въ отношеніи морального чувства, то увидимъ, что, несмотря на извѣстное сходство ихъ съ концепціей Юма, мы никакъ не можемъ отожествить эту послѣднюю съ какимъ-либо взглядомъ одного изъ упомянутыхъ моралистовъ, и Юмовское представление о природѣ этого психического комплекса все-таки заключаетъ въ себѣ извѣстное своеобразіе. Такъ, что касается первого изъ упомянутыхъ мыслителей—Шефтсбёри, то мы знаемъ, что доминирующій чертой его этическихъ построеній былъ эстетизмъ, и эта тенденція красоты сообщала особый ко-

лорить и тому пониманию морального чувства, которое мы встречаемъ у Шефтсбёри. Что касается Юма, то эта точка зрения была чужда ему, и мы не встречаемъ у него ни принципа экономии аффектовъ, ни принципа гармоніи, и его моральное чувство есть нечто болѣе своеобразное. Правда, Юмъ сближаетъ процессъ возникновенія морального сужденія съ процессомъ художественного постиженія красоты, но это сходство касается непосредственности этихъ психическихъ переживаній, отсутствія элементовъ расчета и преднамѣренности въ этихъ актахъ, а совсѣмъ не предполагаетъ той гармоніи, которая является необходимымъ условиемъ возникновенія эстетической эмоціи. Затѣмъ, несмотря на извѣстное сходство концепціи Юма съ гетчесоновскимъ учениемъ о благожелательности, мы не можемъ обращать это сходство въ тожество, ибо при этомъ сходствѣ въ воззрѣніяхъ этихъ моралистовъ есть на лицо и опредѣленное различіе. Такъ, универсальную благожелательность, которую Гетчесонъ считаетъ основнымъ свойствомъ человѣческой природы, ни въ какомъ случаѣ нельзя отожествлять съ тѣмъ, что понимается Юмомъ подъ именемъ морального чувства. Гетчесонъ считаетъ эту способность инстинктивной и врожденной, не подлежащей никакому дальнѣйшему анализу. Не такъ думаетъ Юмъ о природѣ морального чувства, которое, по его мнѣнію, является очень сложнымъ продуктомъ. Правда, основаніе для этого своеобразного душевнаго переживанія дано въ самой природѣ человѣка, въ видѣ изначальныхъ эгоистическихъ и симпатическихъ тенденцій человѣческаго существа; правда также, что симпатические задатки являются, по мнѣнію Юма, очень дѣйственными въ условіяхъ общественного существованія, однако только на почвѣ взаимодѣйствія указанныхъ предрасположеній можетъ возникнуть характеризуемое чувство, и его, во всей его конкретной специфичности, никакимъ образомъ нельзя свести къ изначальнымъ и основнымъ свойствамъ человѣческой природы, какъ это допускаетъ Гетчесонъ. Въ своемъ первомъ произведеніи (*Treatise*) Юмъ

особенно сильно подчеркиваетъ сложность этого чувства, поскольку та форма душевного переживанія, которую мы наблюдаемъ въ моральной эмоціи, обязана своимъ происхождениемъ установлению извѣстнаго равновѣсія между „эгоизмомъ“ и „ограниченнымъ благородствомъ“, какъ выражается Юмъ. Правда, во второй редакціи своего сочиненія о морали Юмъ сильнѣе подчеркиваетъ благожелательный тенденціи человѣческой природы, однако и здѣсь все сводится въ своеобразно понимаемому чувству симпатіи, и это послѣднее ни въ какомъ случаѣ нельзя отожествлять съ универсальною благожелательностью Гетчесона. Равнымъ образомъ, юмовская концепція не представляетъ собою простого повторенія и взгляда Бэтлера. Правда, этотъ послѣдній, вопреки Гетчесону, придаетъ большое значеніе и эгоистичкимъ тенденціямъ человѣческаго существа, и въ этомъ случаѣ онъ больше приближается къ Юму, однако вопросъ объ установлениіи равновѣсія между этими тенденціями и благожелательными склонностями имъ только поставленъ, а не решенъ вполнѣ опредѣленно. Затѣмъ, высшою инстанціей въ процессѣ морального сужденія у Бэтлера является совѣсть, которая имѣеть доминирующее значеніе среди всѣхъ душевныхъ дѣятельностей, причемъ это изображеніе совѣсти носить у Бэтлера ярко выраженную раціоналистическую окраску. Ничего подобнаго нѣтъ у Юма: послѣдній не утверждаетъ того примата морального сознанія, которое мы находимъ у Бэтлера, и его моральное чувство есть только одна изъ формъ душевыхъ дѣятельностей, наряду съ другими психическими функциями. Съ другой стороны, Юмъ не могъ приписать своему чувству и того раціоналистического колорита, который есть у Бэтлера и который стоять въ полномъ противорѣчіи съ столь сильно подчеркнутымъ отрицательнымъ отношеніемъ Юма къ интеллектуализму въ области морали. Такимъ образомъ, взглядъ Юма на самое существо морального чувства не можетъ быть вполнѣ отожествляемъ съ воззрѣніями предшествующихъ моралистовъ, хотя въ этихъ воззрѣніяхъ уже даны элементы для этой концепціи Юма.

То же самое нужно сказать и относительно другой основной проблемы этики—проблемы о санкциях морали. Вопрос о санкциях, конечно, затрагивался всеми предшествующими моралистами, и мы въ свое время говорили объ этомъ. Мы знаемъ, что одинъ изъ болѣе раннихъ английскихъ мыслителей, Бэконъ, конечной санкцией считалъ религию или то учение христианства, которое дано въ Евангелии. Къ этой же санкции склонялся и Локкъ, несмотря на то, что онъ же является сторонникомъ и утилитарной теоріи. Этотъ принципъ пользы съ гораздо большей силой выдвигается Гоббсомъ, при чёмъ рѣшающей инстанціей, при опредѣлении видовъ полезного и при вычислении ихъ преимуществъ, является государство, которое, какъ известно, санкционируетъ и истинность религіи. Что касается ближайшихъ предшественниковъ Юма—Шефтсбёри, Гетчесона, Бэтлера, то у нихъ мы видимъ попытки найти санкцию для морали въ сферы религіи, будетъ ли это принципъ гармоніи у Шефтсбёри, универсальная благожелательность—у Гетчесона, совѣсть у—Бэтлера. Какъ бы то ни было, во всѣхъ этихъ случаяхъ мы наблюдаемъ перенесеніе санкций морали въ самую этическую дѣятельность, въ ея психологическая и соціальная основы. Юмъ также, какъ мы знаемъ, ищетъ основанія для моральной санкціи въ самой моральной дѣятельности. Рѣшеніе промблемы о санкціи находится у Юма въ тѣсной связи съ его анализомъ искусственныхъ и естественныхъ добродѣтелей (по терминологіи Юма). Юмъ въ обоихъ своихъ произведеніяхъ, посвященныхъ выясненію моральной проблемы, удѣляетъ слишкомъ много мѣста изслѣдованію добродѣтели справедливости, какъ наиболѣе типичной изъ категоріи естественныхъ добродѣтелей. Онъ очень подробно останавливается на анализѣ самыхъ разнообразныхъ формъ общественныхъ отношеній и даетъ множество въ высшей степени цѣнныхъ замѣчаній, касающихся самыхъ различныхъ проявленій общественности, поскольку на почвѣ ихъ развивается и та форма взаимныхъ отношеній, которая по преимуществу предполагаетъ соблюденіе справедли-

вости. Здѣсь Юмъ, несомнѣнно, обнаруживаетъ значительную оригинальность, ибо до него никто не привлекалъ такого богатаго соціологического материала для рѣшенія одной изъ важнѣйшихъ этическихъ проблемъ. Въ этомъ анализѣ, далеко оставляющемъ за собою всѣ соціологическія разсужденія Гоббса, вскрываются очень обширныя знанія Юма изъ области историческихъ наукъ въ широкомъ смыслѣ и обнаруживается его способность разбираться въ самыхъ запутанныхъ, чисто юридическихъ вопросахъ. Результатомъ этого анализа является выводъ, что добродѣтель справедливости цѣнится потому, что она служитъ общимъ интересамъ, интересамъ человѣческаго рода. Такимъ образомъ, здѣсь выступаетъ утилитарный критерій, но съ особой окраской: центръ тяжести здѣсь полагается именно въ общей пользѣ, и индивидуальное благо предполагается здѣсь настолько тѣсно связаннымъ со всѣмъ разнообразiemъ общественныхъ отношеніемъ, что и не можетъ быть рѣчи о томъ, что это благо можно рассматривать какъ совершенно самостоятельное, независимо отъ его соціальной основы. Поэтому здѣсь и не ставится вопроса объ индивидуальномъ счастьѣ, какъ цѣли самой въ себѣ: этотъ взглядъ Юма ясно отличается какъ отъ позднѣйшей формы утилитаризма, которую мы встрѣчаемъ у Бентама, такъ и отъ нѣкоторыхъ формъ античнаго эпикуреизма, гдѣ на первый планъ выдвигалось счастье именно индивидуума. Равнымъ образомъ, эта тенденція Юма не можетъ быть отожествлена и со взглядомъ Гоббса, гдѣ изначальной формой человѣческаго существованія представляется индивидуализмъ въ силу психологическихъ предпосылокъ этого мыслителя (человѣкъ человѣку—волкъ), когда главнымъ двигателемъ всей дѣятельности человѣка представляется эгоизмъ. Юмъ, какъ мы видѣли, постоянно стремится ограничить себя отъ гоббизма и опирается на отличные отъ Гоббса психологическія представленія. Эти своеобразныя психологическія предпосылки Юма помогаютъ ему найти и вторую санкцію для морали, которую онъ и усматриваетъ или въ симпатіи (если держаться первой редакціи

его трактата о морали) или въ благожелательныхъ тенденціяхъ нашей природы (если имѣть въ виду, главнымъ образомъ, „Позлѣдованіе о принципахъ морали“). Но несмѣря на это различіе, самое существо этой санкціи не измѣняется: все-таки здѣсь на первый планъ выступаютъ соціальные свойства человѣческой природы, и именно въ нихъ самихъ нужно искать и санкціи для тѣхъ дѣйствій, которая именуются моральными и которая считаются цѣнными именно съ точки зрѣнія соціальныхъ интересовъ. Здѣсь опять сходство Юма со всѣми его ближайшими предшественниками—и Шефтсбёри, и Гетчесономъ, и Бэтлеромъ, хотя никто изъ этихъ мыслителей не выдвигалъ соціального элемента такъ сильно, какъ это дѣлаетъ Юмъ. Мы уже отмѣчали эстетическую точку зрѣнія Шефтсбёри, инстинктивность морального критерія у Гетчесона, рационалистической элементъ въ понятіи совѣсти у Бэтлера: всѣ эти особенности не позволяютъ отожествить взглядъ Юма съ воззрѣніями его предшественниковъ. Ближе всего Юмъ стоитъ къ Гетчесону и Бэтлеру, и онъ самъ не отрицаетъ этой близости, особенно въ отношеніи первого, но все-таки очъ не повторяетъ этихъ моралистовъ: Юмъ не можетъ признать того изначального, независимаго отъ опыта соціальной жизни перевѣса благожелательныхъ тенденцій, не сводимыхъ ни къ какимъ болѣе элементарнымъ психическимъ тенденціямъ, съ чѣмъ мы встрѣчаемся у Гетчесона, все-равно какъ для него, при его чисто эмпирическомъ способѣ объясненія, является непонятнымъ и тотъ немотивированный приматъ совѣсти, какъ доминирующей душевной функциї, что мы находимъ у Бэтлера. Все это указываетъ на относительную оригинальность важнѣйшихъ концепцій Юма въ области морали, при всей ихъ тѣсной связи съ предшествующими направленіями англійской этики. Эта связь вскрывается безъ особыхъ затрудненій, и пониманіе основныхъ положеній этики Юма невозможно безъ постоянного яснаго представленія важнѣйшихъ моральныхъ принциповъ его предшественниковъ. Но при этомъ

анализъ воззрѣній предшественниковъ Юма обычно упускается изъ виду воздействиe, исходящее отъ одного, повидимому, очень не крупнаго мыслителя, и при этомъ еще изъ античнаго міра, воздействиe, которое должно быть особенно подчеркнуто, какъ очень значительное для Юма по своимъ общимъ послѣдствіямъ. Мы разумѣемъ Цицерона. Юмъ былъ очень хорошо знакомъ съ сочиненіями этого эклектика и высоко цѣнилъ ихъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ не только частыя ссылки Юма на этого писателя, но и специальное упоминаніе Юма въ письмѣ къ Гетчесону, что онъ, Юмъ, при выработкѣ своихъ моральныхъ воззрѣній былъ многимъ обязанъ этому римскому эклектику<sup>1)</sup>. Внимательное разсмотрѣніе трактатовъ Цицерона, посвященныхъ анализу моральныхъ вопросовъ, только подтверждаетъ это свидѣтельство Юма. Въ особенности здѣсь важны такія сочиненія Цицерона, какъ „De finibus bonorum et malorum“ и еще больше „De officiis“. Послѣдній трактатъ, несомнѣнно, повліялъ на Юма и своею общею конструкциeю и своимъ анализомъ такихъ понятій, какъ справедливость, благая дѣятельность, полезность, честность и т. п. Все это дало поводъ одному изъ новѣйшихъ ученыхъ, занятому выясненіемъ громаднаго историко-философскаго и историко-культурнаго значенія Цицерона, сказать, что этика Юма „въ существенномъ—новое изданіе цицероновскаго ученія объ обязанностяхъ“<sup>2)</sup>. Но едва ли, конечно, нужно доказывать все преувеличеніе, которое заключается въ этихъ словахъ, ибо и самое бѣглое сравненіе трактатовъ Юма съ относящимися сюда сочиненіями Цицерона указываетъ на оригинальность англійскаго мыслителя и въ самой постановкѣ моральной проблемы и въ способахъ ея трактованія. Стоитъ лишь вспомнить общую эмпирическую точку

<sup>1)</sup> Burton J. Life and correspondence of D. Hume, Edinburgh, 1846, v. 1, p. 115 ff.

<sup>2)</sup> Cp. De officiis, L. I, cc. I—III.

<sup>3)</sup> Zielinski Th. Cicero im Wandel der Jahrhunderte, 2 Aufl., Leipzig, 1908, S. 303.

зрѣнія британского моралиста и сопоставить ее съ учени-емъ Цицерона о врожденности добродѣтели справедливости, въ связи съ извѣстнымъ принципомъ *consensus gentium*.<sup>1)</sup> Такимъ образомъ, и это безспорное античное вліяніе ни въ какомъ случаѣ не можетъ заслонить оригинальности этическихъ воззрѣній Юма въ самомъ ихъ существѣ. Но, какъ бы то ни было, всѣ эти важнѣйшіе пункты въ моральномъ ученіи Юма являются очень цѣнными съ точки зре-нія дальнѣйшаго развитія этики, заключая въ себѣ такие элементы, которые, съ одной стороны, вызывали къ себѣ положительное отношеніе, съ другой—являлись объектомъ кри-тики, часто вполнѣ справедливой. Мы остановимся на тѣхъ и другихъ.

#### IV.

Что касается пунктовъ, вызывавшихъ, главнымъ образомъ, положительное отношеніе со стороны позднѣйшихъ моралистовъ, то здѣсь, прежде всего, обращаетъ на себя вниманіе вопросъ объ отношеніи между религіей и моралью, въ осо-бенности поскольку первая пытается санкционировать по-слѣднюю. Мы уже не разъ касались исторіи этого вопроса на англійской почвѣ, отмѣчали попытки освободиться отъ этой зависимости и въ то же время указывали, относи-тельно нѣкоторыхъ англійскихъ моралистовъ, на бесплод-ность этихъ попытокъ, поскольку теологическая струя все-таки нерѣдко вторгалась въ моральную конструкцію этихъ мыслителей — часто въ силу ихъ конфессионального или соціального положенія. Юмъ гораздо яснѣе и опредѣлен-нѣе высказался относительно этого пункта, не давая здѣсь мѣста ни для какихъ сомнѣній. Этимъ онъ вполнѣ открыто сталъ на сторону принципа автономіи въ области морали, принципа, такъ подчеркнутаго 'впослѣдствіи Кантомъ и ставшаго однимъ изъ краеугольныхъ камней въ позднѣй-шихъ конструкціяхъ морали. Правда, эта автономія имѣеть въ виду независимость моральной дѣятельности отъ одной

<sup>1)</sup> Ср. *De finibus bonorum et malorum*, L. II; *De natura deorum*, L. I.

только санкції — теологической и не задается анализомъ этого понятія во всемъ объемѣ, однако и въ такой постановкѣ вопроса уже есть нѣкоторый шагъ впередъ, особенно если имѣть въ виду тѣ колебанія по этому вопросу, которыя мы встрѣчаемъ у ближайшихъ предшественниковъ Юма — Гетчесона и Бэтлера.

Далѣе, заслуживаетъ быть отмѣченнымъ методъ изслѣдованія моральной проблемы, принятый Юмомъ. Методъ этотъ — тотъ же, что и въ отношеніи теоретической философіи, о чёмъ намъ пришлось уже достаточно говорить въ первой части нашей работы. Юмъ называетъ его эмпірическимъ и противопоставляетъ абстрактному или умозрительному способу разсмотрѣнія этической проблемы, принятому нѣкоторыми изъ его предшественниковъ (въ особенности Кларкомъ и Уолластономъ). Только имѣя въ виду это противопоставленіе, и можно подходить къ оцѣнкѣ этого метода. Могутъ быть различныя мнѣнія по вопросу о томъ, можетъ ли быть построена чисто эмпірическимъ методомъ система морали, претендующая на полное логическое самооправданіе. Но едва-ли можно отрицать односторонность тѣхъ этическихъ построений, которыя имѣль въ виду Юмъ и которыя исходили изъ совершенно немотивированныхъ принциповъ, совсѣмъ незаконно отожествляя моральныя нормы съ математическими схемами. Даже признавая необходимость априорныхъ предпосылокъ для обоснованія логически—правомѣрной моральной системы, мы можемъ вполнѣ согласиться съ тѣми возраженіями Юма, которая онъ выдвигаетъ противъ упомянутыхъ построений на почвѣ этихъ произвольныхъ абстрактныхъ принциповъ. Съ другой стороны, цѣнность эмпірическаго метода является безспорной для построенія всякихъ теорій въ области морали, если мы будемъ понимать этотъ методъ въ томъ широкомъ смыслѣ, который придаетъ ему Юмъ, характеризуя его не только въ противовѣсь абстрактному разсмотрѣнію этическихъ вопросовъ, но и постоянно подчеркивая необходимость обращаться къ болѣе глубокому анализу самихъ кон-

крайнихъ явленийъ, подлежащихъ въ данномъ случаѣ изслѣдованію. Этотъ анализъ предполагаетъ, прежде всего, приложеніе обще-эмпирическаго способа изученія самыхъ разнообразныхъ факторовъ, имѣющихъ мѣсто въ процессѣ моральной дѣятельности, и обращеніе къ априорнымъ принципамъ можетъ имѣть для себя оправданіе уже послѣ того, какъ исчерпаны эти эмпирические способы изслѣдованія, и послѣ того, какъ обнаружилась недостаточность такого рода изученія анализируемыхъ явленийъ. Такимъ образомъ, и въ этомъ пунктѣ едва ли можно возразить что-либо по существу противъ характеризуемаго принципа Юма. Мы уже не говоримъ о томъ, что очень многія системы морали въ новѣйшее время считаютъ возможнымъ удовлетвориться однимъ этимъ методомъ чисто эмпирическаго изслѣдованія.

Затѣмъ, въ результатѣ этого анализа Юмъ основныхъ принциповъ этики мы приходимъ къ убѣженію въ сложности этическаго процесса, и эта сложность особенно подчеркивается Юмомъ. Здѣсь Юмъ опять не стоитъ въ противорѣчіи съ данными новѣйшей науки о нравственности, также оттѣняющей эту сложность. Разумѣется, могутъ быть значительныя различія въ мнѣніяхъ относительно состава этого морального процесса и относительно значенія каждого изъ входящихъ сюда элементовъ, но самая сложность его едва ли можетъ быть отрицаема кѣмъ бы то ни было изъ современныхъ моралистовъ. Что касается самихъ этихъ элементовъ, то у Юма, прежде всего, ясно выступаютъ вопросы о мотивахъ и о результатахъ дѣятельности, поскольку въ самой характеристики морального поступка нужно, по мнѣнію Юма, обращать вниманіе на то и другое. Самое это различие проведено Юмомъ довольно точно и является очень плодотворнымъ съ точки зреінія дальнѣйшихъ попытокъ въ решеніи моральной проблемы. Здѣсь именно лежитъ основаніе для того различенія формалистического и телевологического типовъ въ разсмотрѣніи этической проблемы, какъ это мы наблюдаемъ не только въ позднѣйшемъ англійскомъ утилитаризмѣ, но и у Канта, и у нѣкоторыхъ

представителей новѣйшей нѣмецкой этики (напр., у Паульсена). При обсужденіи природы мотивовъ моральной дѣятельности Юмъ читаетъ необходимымъ брать всю сложность психики опредѣленного индивидуума, поскольку она находитъ свое выраженіе во всей совокупности душевныхъ переживаній, именуемой характеромъ, и не ограничиваться только случайными душевными обнаруженіями, хотя бы они имѣли въ данный моментъ и наиболѣе яркое выраженіе, повидимому, занимая доминирующее положеніе въ нашей душѣ. Такою постановкою дѣла Юмъ предвосхищаетъ наиболѣе прочныя конструкціи позднѣйшей морали, гдѣ это значение характера, какъ болѣе сложнаго и устойчиваго психического комплекса, всегда подчеркивается въ противоположность другимъ, болѣе подвижнымъ и измѣняющимся содержаніямъ сознанія.

Что касается теперь слѣдующаго пункта въ этическихъ возврѣніяхъ Юма—его отрицательного отношенія къ интеллектуалистическому критерію въ области морали, то мы уже достаточно говорили объ этомъ и отмѣчали положительное значение этого взгляда, въ особенности поскольку мы видѣли одностороннее проявленіе этого интеллектуализма въ нѣкоторыхъ предшествующихъ англійскихъ ученіяхъ о нравственности. Недостаточность этого способа щѣнки морального поведенія, когда разсудокъ берется въ отвлечении отъ другихъ душевныхъ переживаній, не требуетъ особыхъ доказательствъ. На мѣсто этого критерія Юмъ выставляетъ эмоциональную оцѣнку, сближаясь въ этомъ случаѣ съ нѣкоторыми предшествующими представителями англійской морали (въ особенности съ Шефтсбери). Этимъ Юмъ, несомнѣнно, глубже смотрить на дѣло, оттѣня въ этомъ случаѣ сложность морального процесса и отмѣчая важность элемента чувства въ конкретномъ этическомъ переживаніи. Это послѣднее, въ дѣйствительности, всегда носитъ эмоциональную окраску, которая типически отличаетъ его отъ процесса абстрактной, логически—холодной мысли. Въ этомъ случаѣ Юмъ, конечно,

гораздо ближе къ настоящей дѣйствительности, чѣмъ самые крупные интеллектуалисты. Но, справедливо оттѣняя эмоциональную пророду этическаго переживанія, Юмъ не впадаетъ въ крайности, если такъ можно выразиться, односторонняго эмоционализма и не считаетъ чувство изначальнымъ двигателемъ всей нашей дѣятельности. Наоборотъ, онъ справедливо указываетъ на инстинктивный элементъ активности, присущій самымъ элементарнымъ нашимъ актамъ, которые сопровождаются чувствомъ пріятнаго или непріятнаго. Съ этой точки зреінія, удовольствіе или неудовольствіе, на раннихъ стадіяхъ активности, рассматриваются не какъ основные мотивы дѣятельности, а только уже какъ результатъ осуществленной активности. Эта послѣдняя имѣетъ самостоятельное значеніе, и основа для нея дана въ самой организаціи человѣка, будемъ ли мы рассматривать послѣднюю съ анатомо-физиологической стороны или же ограничимся только однимъ психологическимъ анализомъ. Правда, на болѣе высокихъ ступеняхъ активности чувству принадлежитъ болѣе значительная роль и въ качествѣ мотивовъ дѣятельности, когда самое предвкушеніе удовольствія можетъ явиться однимъ изъ стимуловъ къ извѣстному поступку, но и здѣсь это чувство не всегда можетъ быть окончательнымъ мотивомъ, не говоря уже о томъ, что весь этотъ процессъ оказывается возможнымъ только на почвѣ предварительного осуществленія дѣятельности. Все это опять указываетъ на исключительную психологическую проницательность Юма, которая помогла ему предвосхитить нѣкоторыя положенія современной волюнтаристической психологіи.

Наконецъ, при характеристикѣ положительныхъ элементовъ въ этикѣ Юма должна быть особенно подчеркнута ея соціальная окраска, находящаяся въ тѣсной связи съ основными психологическими предпосылками его морали. Разумѣется, Юмъ здѣсь не былъ вполнѣ оригиналъ, поскольку мы и на его родинѣ встрѣчаемъ цѣлый рядъ мыслителей, пытавшихся именно на этой почвѣ разрѣшить моральную

проблему. Но нѣкоторые изъ этихъ моралистовъ отправлялись отъ совершенно иныхъ психологическихъ предпосылокъ, стоящихъ въ противорѣчіи съ психологическою дѣйствительностью. Это, напримѣръ, можно сказать о Гоббсѣ, съ его крайне индивидуалистическимъ представлениемъ о самомъ существѣ человѣческой природы. Съ другой стороны, и самая попытка этого и родственныхъ ему мыслителей построить мораль на почвѣ эгоизма не могли быть удачными, благодаря одностороннему толкованію соціальныхъ отношеній между людьми на болѣе раннихъ стадіяхъ человѣческаго существованія. Не избѣжали односторонности и мыслители другого типа, во главѣ съ Шефтсбёри, выдигавшіе на первый планъ соціальные инстинкты человѣческой природы. Мы уже видѣли, что самое представление объ этой соціальности было довольно смутное и неопределеннное, часто устанавливаемое нѣсколько произвольно, безъ достаточнаго углубленія въ самое существо человѣческой природы. Кромѣ того, болѣе правильному представлению о роли этихъ соціальныхъ инстинктовъ въ общей суммѣ человѣческой жизни мѣшало привнесеніе эстетической точки зреянія, которая не всегда была согласована съ тѣмъ принципомъ, который у Шефтсбёри назывался экономіей аффектовъ. Юмъ, какъ мы знаемъ, признавалъ сходство этическаго критерія съ эстетическимъ только со стороны ихъ непосредственности и совсѣмъ не считалъ возможнымъ отожествлять свое моральное чувство съ тѣмъ своеобразнымъ ощущеніемъ гармоніи, которое такъ выдигалъ Шефтсбёри. Съ другой стороны, и самый анализъ соціальныхъ задатковъ человѣческой природы носить у Юма болѣе тонкій характеръ и болѣе глубоко проникаетъ въ самое существо природы человѣка. Этотъ анализъ постается у Юма въ болѣе тѣсную связь съ дѣйствительнымъ развитіемъ человѣчества, поскольку въ этомъ изображеніи прогресса человѣческаго рода ему удается избѣжать иногда довольно фантастическихъ представлений его предшественниковъ. Этотъ ходъ человѣческой эволюціи разсматри-

вается здѣсь въ связи съ цѣлымъ рядомъ конкретныхъ историческихъ факторовъ, которые играли большую роль въ генезисѣ разнообразныхъ моральныхъ и правовыхъ понятій. Особенно это нужно сказать о тѣхъ частяхъ этическихъ трактатовъ Юма, гдѣ анализируется понятіе справедливости, въ связи съ развитіемъ соціальныхъ отношеній вообще. Въ этомъ анализѣ едва ли кто сильнѣе Юма выдигалъ роль общественного элемента, во всемъ широкомъ пониманіи этого термина, въ процессѣ формированія нашихъ основныхъ моральныхъ концепцій. Тотъ колоритъ утилитаризма, который получаетъ моральная теорія Юма въ этомъ процессѣ выясненія генезиса нравственности, имѣть свой источникъ именно въ этомъ доминированіи соціального элемента. Этимъ, какъ уже мы упоминали, утилитаризмъ Юма ясно отличается какъ отъ болѣе раннихъ, такъ и отъ болѣе позднихъ формъ этого направленія, будеть ли это утилитаризмъ Гоббса и Локка или позднѣйшій утилитаризмъ Бентама: у Юма прежде всего выступаетъ полезность извѣстнаго поступка для общества и уже отсюда опредѣляется его значеніе для индивидуума. Вообще элементъ соціальности очень ярко оттѣняется Юмомъ, и едва ли Юмъ стоитъ здѣсь въ противорѣчіи съ главнѣйшими направленіями новѣйшей этики. Наоборотъ, всякая система морали послѣдняго времени, пытающаяся найти для себя болѣе прочную основу, естественно направляетъ свое вниманіе на анализъ соціальныхъ отношеній, и подведеніе соціологической базы уже въ значительной степени обеспечиваетъ всю, иногда очень сложную этическую конструкцію.

## V.

Всѣ только что охарактеризованные особенности моральныхъ конструкцій Юма выгодно выдѣляютъ эту этическую теорію среди многихъ другихъ аналогическихъ построеній, которыхъ было такъ много на англійской почвѣ. Но наряду съ этимъ мы находимъ здѣсь цѣлый рядъ пунктовъ, которые являются очень уязвимыми и которые всѣ эти этическія кон-

структурі Юма, въ ихъ цѣломъ, сдѣлали очень недолговѣчными. Нѣкоторые изъ этихъ пунктовъ касаются самыхъ существенныхъ сторонъ въ моральной проблемѣ, и поэтому отверженіе ихъ, несомнѣнно, заставляетъ признать далѣко не окончательнымъ то рѣшеніе этической проблемы, которое мы находимъ въ трактатахъ Юма. Такъ, прежде всего, здѣсь обращаетъ на себя вниманіе самое понятіе о нравственности, которое должно быть поставлено во главѣ этическаго изслѣдованія и отъ опредѣленія котораго зависитъ ходъ дальнѣйшаго анализа. Обращаясь къ разсмотрѣнію этого понятія въ сочиненіяхъ Юма, мы, къ сожалѣнію, не находимъ вполнѣ точнаго его опредѣленія. Юмъ начинаетъ свое изложеніе съ констатированія самого факта различія между нравственнымъ и безнравственнымъ, считая этотъ фактъ всѣмъ непосредственно извѣстнымъ и самоочевиднымъ. Но такого утвержденія, конечно, недостаточно, и здѣсь былъ необходимъ болѣе глубокій анализъ, который долженъ быть привести къ точному установлению понятій нравственного и безнравственного. Правда, въ своемъ дальнѣйшемъ изложеніи Юмъ пытается точнѣе определить эти понятія, но это ему не всегда удается, и часто намъ трудно указать границу между тѣмъ, что считается нравственнымъ, и тѣмъ, что рассматривается какъ противоположное ему. Еще больше смѣщенія получается въ томъ случаѣ, когда то, что обычно называется моральнымъ, встречается въ сопоставленіи съ нѣкоторыми родственными явленіями, напр., правовыми, или когда наряду съ нимъ называются явленія, повидимому, безразличныя съ моральной точки зрѣнія. Во всѣхъ этихъ случаяхъ концепція „морального“ слишкомъ расширяется, включая въ свой объемъ представление о такихъ актахъ, которые не могутъ быть названы нравственными въ собственномъ смыслѣ слова. Это отсутствие предварительного, болѣе глубокаго разсмотрѣнія понятія „нравственного“, несомнѣнно, составляетъ очень существенный недостатокъ всѣхъ юмовскихъ анализовъ въ области этики и сильно понижаетъ значеніе его трактатовъ изъ

данной области. Это отрицательное обстоятельство, быть можетъ, объясняется тѣмъ широкимъ значенiemъ термина „моральный“, которое мы находимъ въ англійскомъ языкѣ, когда нерѣдко этотъ терминъ отожествляется съ понятіемъ „духовный“, въ противовѣсь тѣмъ названіямъ, которыя имѣютъ дѣло съ явленіями природы въ болѣе тѣсномъ смыслѣ словъ и выражаются терминомъ „natural“. Съ другой стороны, на расширеніе этого термина имѣло вліяніе обращеніе Юма къ античной философіи. Мы уже видѣли, какое сильное воздействиe оказали на Юма философскіе трактаты Цицерона, гдѣ также можно констатировать эту неопредѣленность и широту въ употребленіи ранѣе названныхъ терминовъ. Конечно, элементъ оцѣнки не былъ устраненъ изъ этихъ терминовъ и въ философіи римского эклектика, но тамъ не была достаточно выяснена та точка зрења, съ которой производилась эта оцѣнка. Такимъ образомъ, здѣсь мы можемъ констатировать скорѣе отрицательное вліяніе на Юма со стороны античной философіи, особенно въ ея эклетической формѣ, какъ эту послѣднюю мы наблюдаемъ въ послѣдній, эллино-римскій періодъ древней философіи. Но это отрицательное воздействиe на Юма античнаго духа сказывается еще сильнѣе въ употребленіе другого термина, который также очень часто эксплоатируется имъ и который, въ то же время, удерживая въ данномъ случаѣ тѣсную связь съ древней философіей, порождаетъ еще въ большей степени неопределенность и смѣшеніе въ сферѣ чисто моральныхъ концепцій. Мы разумѣемъ терминъ „добродѣтель“. Юмъ постоянно прибегаетъ къ этому названію, и однако же, если бы мы попытались точно опредѣлить смыслъ этого термина у Юма, то едва-ли бы наши попытки увѣнчались желаемымъ успѣхомъ. Тѣ различныя мѣста, въ которыхъ Юмъ комментируетъ этотъ терминъ, скорѣе всего приводятъ къ мысли, что и въ этомъ случаѣ на Юма оказалась сильное воздействиe античная мысль. Добродѣтель здѣсь, по большей части, понимается какъ совершенное качество вообще, независимо отъ его морального значенія.

Такъ, дѣйствіе называется добродѣтельнымъ и въ томъ случаѣ, если оно полезно или пріятно намъ самимъ или другимъ. Такимъ образомъ, моральныя явленія недостаточно отграничиваются отъ явленій полезныхъ и пріятныхъ въ широкомъ смыслѣ. Всѣ напряженныя попытки Юма доказать присутствіе особаго рода пріятности въ актахъ, именуемыхъ моральными въ тѣсномъ смыслѣ, не могутъ считаться убѣдительными и не выясняютъ самаго существа нравственаго дѣянія. Еще больше спутанности вноситъ разъясненіе Юма, что при характеристицѣ моральныхъ поступковъ не нужно обращать вниманія на произвольность или непроизвольность дѣйствія. Все это указываетъ на то, что вліяніе античной философіи на Юма далеко не всегда было вполнѣ плодотворно, хотя здѣсь очень трудно решить, насколько въ данномъ случаѣ было воздействиѣ въ собственномъ смыслѣ и насколько иниціатива въ такомъ пониманіи моральнаго акта принадлежала самому Юму, который могъ въ идеалахъ древней философіи находить только подтвержденіе своимъ, сложившимся при другихъ условіяхъ, философскимъ концепціямъ. Но какъ бы то ни было, это античное вліяніе имѣло мѣсто, и мы уже упоминали, что главное значеніе въ этомъ случаѣ принадлежитъ философскимъ воззрѣніямъ Цицерона. Воздѣйствіе этого эклектика выразилось, между прочимъ, и въ выдиганіи Юмомъ двухъ типовъ добродѣтелей, естественныхъ и искусственныхъ, и въ связи съ этимъ, въ болѣе подробной характеристицѣ основныхъ добродѣтелей каждого типа—благожелательности и справедливости. Всѣ эти замѣчанія показываютъ, какъ это обращеніе къ античной философіи сказалось отрицательнымъ образомъ у Юма на самой постановкѣ моральной проблемы, на формулировкѣ и выясненіи важнѣйшихъ пунктовъ этой проблемы. Эти недостатки въ обсужденіи Юмомъ затронутыхъ вопросовъ были отмѣчены, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, нѣкоторыми позднѣйшими представителями британской морали и дали поводъ къ болѣе углубленному трактованію этической проблемы.

Эта односторонность и неполнота юмовского анализа самаго существа моральной дѣятельности вскрываются и въ отношении другихъ важныхъ, ранѣе отмѣченыхъ пунктовъ его основныхъ конструкцій. Такъ, что касается природы нравственного сужденія, то это послѣднее анализируется здѣсь только съ точки зрењія лица, созерцающаго моральный поступокъ, и такимъ образомъ, здѣсь не обращается должнаго вниманія на переживанія самого дѣйствующаго лица или виновника поступка. Но и этотъ анализъ душевнаго состоянія созерцателя не можетъ считаться исчерпывающимъ. Такъ, здѣсь наиболѣе типичнымъ психическимъ процессомъ считается моральное чувство, но что изъ себя представляеть это душевное состояніе, мы затрудняемся сказать. Это состояніе скорѣе опредѣляется отрицательно, поскольку отмѣчается его свое образіе по сравненію съ чисто интеллектуальными процессами. Но въ чемъ заключается особенность этого переживанія какъ эмоционального, чѣмъ оно отличается отъ другихъ родственныхъ психическихъ состояній, возникающихъ при созерцаніи другихъ дѣйствій человѣка, которыхъ намъ трудно назвать моральными,—это не является достаточно выясненнымъ у Юма. Ссылка на то, что это чувство непосредственно известно намъ и что мы чисто интуитивнымъ путемъ можемъ безъ затрудненія определить его специфичность, едва-ли можетъ считаться убѣдительной и достаточной съ точки зрењія болѣе объективнаго психологического анализа. Во всякомъ случаѣ, здѣсь не уясняется самая природа этого чувства и не устанавливается отношение его къ другимъ сторонамъ нашей психики. Послѣ анализа Юма намъ все-таки трудно представить, какая же роль принадлежитъ интеллектуальному элементу въ процессѣ морального сужденія. Равнымъ образомъ, для насъ неясно, есть ли въ этомъ процессѣ обнаружение активной стороны нашего духа, и если есть, то, въ чемъ именно оно выражается. Даѣе, вѣдь несомнѣнно, анализъ морального процесса можетъ имѣть мѣсто и съ точки зрењія самого агента (а не зрителя только), и, быть можетъ, этотъ анализъ является глубоко-цѣннымъ въ интересахъ уясненія

самаго существа морального акта. Едва ли можно спорить противъ того, что изображеніе душевнаго состоянія лица, совершающаго поступокъ, именуемый нами какъ нравственный или безнравственный, должно входить какъ составная часть въ этотъ анализъ морального чувства, даже и въ томъ пониманіи этого переживанія, какое мы находимъ у Юма. Какъ опредѣляется этотъ актъ субъективно, черезъ какія стадіи проходитъ этотъ процессъ морального дѣйствія, какая роль принадлежитъ здѣсь нашему интеллекту и нашей волѣ,—уясненіе всѣхъ этихъ пунктовъ является въ высшей степени важнымъ и совершенно необходимымъ, какую бы моральную теорію мы ни строили. Кѣ сожалѣнію, все это въ значительной степени игнорируется Юмомъ и потому сильно понижаетъ цѣнность его этическихъ конструкцій. Въ особенности это можно сказать относительно игнорированія элемента активности (въ ея высшей формѣ) въ процессѣ морального дѣйствія. Этотъ элементъ справедливо такъ сильно подчеркивается новѣйшой этикой, а между тѣмъ онъ совсѣмъ остается въ тѣни у Юма: непосредственность морального чувства, опредѣляемая съ точки зрѣнія созерцателя морального поступка, менѣе всего способна вскрыть этотъ элементъ активности.

Наконецъ, если мы обратимъ вниманіе на юмовскій анализъ основныхъ типовъ добродѣтелей—добродѣтели справедливости и добродѣтели благожелательности, то и здѣсь мы встрѣтимъ достаточно неполноты и неясности, что также было справедливо отмѣчено позднѣйшими представителями британской морали. Правда, анализъ добродѣтели справедливости можетъ рассматриваться какъ очень цѣнное приобрѣтеніе въ области соціологического изученія генезиса этого свойства, но мы затруднились бы сказать то же самое въ отношеніи другой добродѣтели—благожелательности. Юмъ удѣляетъ сравнительно много мѣста выясненію природы этой добродѣтели въ обоихъ своихъ трактатахъ, при чёмъ во второмъ изъ нихъ дѣлаетъ добавленія, въ связи съ анализомъ этого качества, къ основному тексту сочиненія. И однако, при всемъ томъ, мы не получаемъ здѣсь яснаго и

отчетливаго представлениа о самомъ существѣ этой добродѣтели. Такъ, то цѣнность этого качества ставится Юмомъ въ зависимость отъ элемента полезности, присущаго этому свойству, то благожелательности приписывается положительное значеніе самой по себѣ, поскольку это свойство является пріятнымъ и привлекательнымъ непосредственно, независимо отъ той пользы, которую можно извлечь отсюда. Эта неопределеннность и колебаніе во взглядахъ Юма находятся въ тѣсной связи съ воззрѣніями Юма на роль эгоистическихъ и альтруистическихъ тенденцій человѣческой природы въ общей экономіи человѣческой жизни. Воззрѣнія эти также обнаруживаются передъ нами нѣкоторую двойственность и какъ бы нерѣшительность. Съ одной стороны, Юмъ считаетъ себя противникомъ Гоббса и не находитъ возможнымъ присоединиться къ его крайне индивидуалистическимъ представлениямъ о существѣ человѣческой природы, предпочитая въ этомъ случаѣ приблизиться къ воззрѣніямъ противника Гоббса—Шефтсбёри. Въ этомъ случаѣ благожелательность разсматривается какъ основное свойство человѣческой природы, въ отвлеченіи отъ практическихъ результатовъ, къ которымъ онъ можетъ повести. Съ другой стороны, Юмъ никакъ не можетъ согласится и съ оптимизмомъ Шефтсбёри въ отношеніи человѣческой природы и постоянно подчеркиваетъ и эгоистическія тенденціи человѣческаго существа, которыя смягчаются благожелательными влеченіями уже въ связи съ полезностью послѣднихъ въ процессѣ соціальной эволюціи. Это колебаніе проходитъ черезъ оба трактата черезъ Юма, при чёмъ въ первомъ изъ нихъ мы видимъ наклонъ скорѣе въ сторону эгоизма, во второмъ—въ сторону благожелательныхъ стремленій. Въ связи съ этимъ находится и ранѣе охарактеризованное различие во взглядахъ Юма на природу симпатіи, когда симпатія, съ одной стороны, рассматривается какъ общепсихологическое свойство и когда, съ другой стороны, она сближается по своему существу именно съ альтруистическими тенденціями человѣческой натуры. Здѣсь и лежитъ источникъ той неопределенности, которая

порождается разсмотрѣніемъ обоихъ трактатовъ Юма. Повидимому, Юмъ самъ хорошо сознавалъ эту неопределѣленность, чѣмъ и объясняется цѣлый рядъ оговорокъ и дополнительныхъ разъясненій, которыя онъ дѣлаетъ преимущественно въ своемъ второмъ трактатѣ. Но все это не устраниетъ отмѣченного затрудненія, и мы и послѣ этого не можемъ достигнуть полнаго согласованія въ своихъ представленіяхъ о существѣ этики Юма. Особенно неяснымъ является пунктъ объ утилитаризмѣ Юма. Эта неясность обусловливается именно охарактеризованнымъ неопределѣленнымъ представлениемъ о взаимоотношеніи между эгоистическими и альтруистическими тенденціями человѣческой природы. Благодаря этому, намъ не всегда легко вообразить, для кого именно и при какихъ обстоятельствахъ то или другое дѣйствіе можетъ быть полезнымъ. Въ то же время мы не встрѣчаемъ у Юма правильно установленного отношенія между полезностью и пріятностью, хотя онъ не разъ пользуется своей классификацией качествъ, какъ полезныхъ или пріятныхъ и самимъ себѣ и другимъ. Въ этомъ случаѣ гораздо большая ясность присуща другимъ формамъ утилитаризма,—будетъ ли это утилитаризмъ Гоббса или утилитаризмъ Бентама,—гдѣ мы видимъ ясно выраженные и строго формулированныя предпосылки. Эти качества исходныхъ пунктовъ совсѣмъ не говорять о ихъ правильности съ фактической стороны, но они, по крайней мѣрѣ, логически связаны съ тѣми, иногда очень крайними выводами изъ нихъ. Къ сожалѣнію, этого нѣть въ этическихъ конструкціяхъ Юма, хотя его представлениія объ основныхъ свойствахъ человѣческаго существа, несмотря на ихъ компромиссный характеръ, быть можетъ, ближе къ психологической дѣйствительности, чѣмъ эти крайнія воззрѣнія упомянутыхъ англійскихъ моралистовъ.

Всѣ эти недостатки моральныхъ конструкцій Юма не могли не вызвать дальнѣйшей работы этической мысли на англійской почвѣ, но все это можетъ быть предметомъ особаго очерка.

Н. Виноградовъ.



# Гносеологическая проблема<sup>1)</sup>.

(къ критикѣ критицизма.)

## § I.

Проблема гносеологической безспорно принадлежитъ центральное мѣсто въ умственной жизни нашей эпохи. Критическая гносеология—тончайшій плодъ умственной культуры. Мимо гносеологии, ея сомнѣній, ея вопросеній, ея запретовъ пройти нельзя. Если вникнуть въ жизненную основу и жизненный смыслъ проблемы критической гносеологии, въ ея психологію, то должно будетъ признать, что проблема эта является результатомъ болѣзненной рефлексіи, раздвоенности, почти что како-то мнительности. Гносеологической критицизмъ есть гамлетизмъ въ сферѣ философіи, рефлектирующая нерѣшительность дѣйствовать въ области познанія вслѣдствіе нарушенія жизненной цѣльности. Мы не столько познаемъ, сколько рефлектируемъ надъ познаніемъ, проходимъ всѣ стадіи раздвоенія. Гносеологической гамлетизмъ съ самаго начала предполагаетъ познаніе отсѣченнымъ отъ цѣльной жизни духа, субъектъ оторваннымъ отъ объекта и ему противоположнымъ, мышленіе выдѣленнымъ изъ бытія и гдѣ-то вѣтъ его помѣщеннымъ. Но наступаютъ времена, когда мысль, утомленная болѣзненнымъ гамлетизмомъ, должна вернуться къ здоровому донъ-кихотизму. Этотъ гносеологической донъ-кихотизмъ вотъ съ чего начнется.

Мышленіе не можетъ быть отдѣлено отъ бытія и противоположно ему; познаніе не можетъ быть отдѣлено отъ жизни и противопоставлено ей. Мышленіе есть плоть отъ плоти и кровь

1) Отрывокъ изъ книги.

Вопросы философіи, кн. 105.

отъ крови бытія, познаніе есть плоти отъ плоти и кровь отъ крови жизни. Мышленіе есть бытіе, оно въ бытіи пребываетъ; познаніе есть жизнь, оно въ жизни совершается. Оперировать съ субъектомъ, который вѣтъ бытія, надъ бытіемъ и бытію всегда противоположенъ, значитъ оперировать съ чистѣйшей фикціей. Всякая гносеология должна различать субъектъ и объектъ, но это различеніе не есть различеніе субъекта и бытія. Бытіе не есть непремѣнно объектъ, какъ склонны утверждать критические идеалисты: оно въ такой же мѣрѣ и субъектъ. Субъектъ и объектъ—одинаково бытіе. Бытію принадлежитъ изначальный и абсолютный приматъ. Различеніе субъекта и объекта совершается внутри самого бытія, и гносеология не можетъ претендовать на то, чтобы занять мѣсто вѣтъ бытія. Вѣтъ бытія нѣтъ мѣста ни для кого и ни для чего, развѣ для царства дьявола. Безуміе разсматривать бытіе, какъ результатъ объективированія и рационализированія познающаго субъекта, ставить бытіе въ зависимость отъ категорій познанія, отъ сужденія. Познающій субъектъ съ своими категоріями, своими сужденіями, своимъ объективированіемъ есть часть бытія, часть жизни. Бытіе ни въ какомъ смыслѣ не зависитъ отъ мышленія и познанія, оно предшествуетъ самому первоначальному познавательному акту, оно скрыто за самимъ этимъ познавательнымъ актомъ. Отношеніе познающаго субъекта къ познаваемому объекту есть отношеніе внутри бытія, отношеніе бытія къ бытію, а не «мышленія» къ «бытію», какъ противостоящихъ другъ другу. Предразсудокъ, что гносеология должна быть безъ предпосылокъ. Никогда она не могла избавиться отъ предпосылокъ. Да и откуда известно, что предпосылокъ не должно быть? Предпосылкой гносеологии является не психологія и біологія, а изначальная, отъ познающаго не зависящая реальность бытія и духовной жизни. Ниже станетъ ясно, что эта точка зреянія ничего общаго не имѣеть съ такъ называемымъ «психологизмомъ», который несетъ съ собой вѣчную опасность релятивизма. Гносеология покоятся не на психологіи и не на онтологіи, вообще не на «логіи» какой-нибудь, не на наукѣ и знаніи какомъ-нибудь, а на психологическомъ и онтологическомъ, на бытійственномъ. Сама жизнь духа, а не наука о жизни духа, предшествуетъ гносеологии; въ самой жизни духа, въ самихъ силахъ бытія нужно искать предпосылокъ гносеологии, а не въ психологіи или другой какой-нибудь «логіи». На это не напра-

влены возраженія гносеологовъ противъ психологизма. Жизнь духа, само бытіе, во всѣхъ смыслахъ предшествуетъ всякой наукѣ, всякому познанію, всякому мышленію, всякой катего́рии, всякому сужденію, всякому гносеологическому субъекту. Не учение о бытіи, а само бытіе предшествуетъ учению о познаніи. Гносеологи же хотятъ само бытіе вывести изъ гносеологии, превратить его въ суждение, поставить въ зависимость отъ бытія, должно искать твердыхъ основъ знанія. Въ жизни духа можно открыть всѣ качества логики, противоборствующія релятивизму и скептицизму. Гносеологи побѣждаютъ психологизмъ, какъ направленіе, подчиняющее гносеологію психологіи, но никогда не побѣдятъ они направленія, утверждающего само бытіе до всякой гносеологии. Не о психологической или биологической гносеологии рѣчь будетъ идти, а о гносеологии церковной и космической.

## § 2.

Гносеология должна начать съ установлениія различія между первичнымъ, не раціонализированнымъ сознаніемъ и сознаніемъ вторичнымъ, раціонализированнымъ, въ то время какъ обычно она начинаетъ съ сознанія уже раціонализированного и иного не признаетъ. Но сознанію вторичному, раціонализированному не дано сущее и нѣтъ путей къ сущему черезъ разсудочную дѣятельность этого сознанія. Сущее дано лишь въ живомъ опыте первичного сознанія, до раціоналистического разпаденія на субъектъ и объектъ, до разсѣченія цѣльной жизни духа. Только этому первичному сознанію дана интуїція бытія, непосредственное къ нему касаніе. Сознаніе первичное не объективируетъ и не умерщвляетъ; оно живеть, познавая, и познаетъ, живя. Риккертъ и его ученики скажутъ, что это первичное сознаніе есть лишь ирраціональное «переживаніе», съ которымъ не имѣютъ никакого дѣла гносеология и философія, что тутъ можно только «переживать» и нельзя познавать. Но въ этомъ вѣдь вся проблема. Откуда известно, что познаніе не есть переживаніе, оторвано отъ переживанія и противоположно ему? Можетъ ли быть полнота переживаний, ирраціональная полнота, въ которой не оказывается мѣста для познанія? Я именно и утверждаю, что въ такъ называемомъ «ирраціональномъ переживаніи» или, по моей терминологии, въ первичномъ, не раціонализированномъ сознаніи,

совершается самое подлинное познаніе бытія, совершается то кансаніе сущаго, которое не можетъ не быть и познаніемъ. Гносеологи произвольно конструируютъ природу познанія, и все, что не соответствуетъ ихъ конструкціи, не хотятъ называть познаніемъ. Гносеологи хотятъ имѣть исключительно дѣло съ фактомъ положительной науки; Кантъ даже исключительно съ фактомъ математического естествознанія. Но материалъ, съ которымъ оперируютъ гносеологи, оказывается слишкомъ бѣденъ и узокъ, чтобы построить полное учение о познаніи. Нужно рѣшительно порвать съ тѣмъ гносеологическимъ предразсудкомъ, что всякое познаніе есть раціонализированіе, объективированіе, сужденіе, дискурсивное мышленіе. Критические гносеологи имѣютъ дѣло лишь съ частной и ограниченной формой познанія. Кромѣ ихъ царства есть еще безмѣрная и безграницы областіи познанія. Гносеологи же видятъ у вратъ этихъ иныхъ царствъ лишь предѣлъ, за которымъ начинаются ирраціональныя переживанія,—неизреченная область хаоса и тьмы. Изъ ирраціонального хаоса и тьмы изнимается лишь маленькая область раціонализированнаго и объективированнаго, область сужденія, въ которомъ царитъ цѣнность истины. Я же полагаю, что въ безмѣрной областіи первичнаго, не раціонализированнаго сознанія есть царство свѣта, а не только тьмы, космоса, а не только хаоса. Въ этой області раскрывается Логосъ, смыслъ міра. Хаосъ и тьма, «міръ сей», даны именно раціонализированному сознанію, сознанію же иному, первичному, данъ «міръ иной», міръ истинно сущаго. Различеніе двухъ сознаній, о которыхъ идетъ рѣчь, и есть различеніе разсудка и разума или малаго и большого разума. Разумъ, большой разумъ познаетъ, познаетъ сущее, его сфера не есть исключительно сфера переживаній, не имѣющихъ никакого отношенія къ знанію. Сами гносеологи выходятъ изъ той сферы, которую считаютъ единственной сферой познанія, такъ какъ дѣлаютъ объектомъ своего познанія познающій субъектъ, который не поддается объективированію. Въ этомъ основное противорѣчіе гносеологии. Вѣдь у гносеологии нѣтъ органа ея специфического познанія, обычное дискурсивное мышленіе тутъ недостаточно. Гносеологи хвастаются, что работа ихъ предшествуетъ познанію, что сами они надъ познаніемъ; но они не въ силахъ постигнуть тайну познанія и трагедію познанія. Гносеологи вѣдь хотятъ поднять себя за волосы. У нихъ нѣтъ точки опоры и потому ничего они

не могутъ сдвинуть и перевернуть. Положительная наука есть въ концѣ концовъ единственная точка опоры гносеологовъ, но сама положительная наука можетъ обойтись безъ ихъ услугъ. «Гносеологи»—паразиты науки.

### § 3.

Критические гносеологи жаждутъ освободиться отъ психологизма и антропологизма и ставятъ эту проблему очень остро, иногда даже остроумно. Но претензіи на полную свободу отъ психологизма—смѣшны. Роковымъ для гносеологовъ является тотъ фактъ, что философствуетъ человѣкъ, что познаніе совершается въ антропологической средѣ. Гносеологи пытаются преодолѣть этотъ непреодолимый фактъ тѣмъ соображеніемъ, что познаніе совершается въ «сознаніи вообще», въ трансцендентальномъ сознаніи, а не въ индивидуальномъ психологическомъ сознаніи, что сверхъ-индивидуальный субъектъ производитъ сужденія и оцѣнки. Но тутъ гносеологи ясно переходятъ на почву метафизическую и дѣлаютъ предположенія онтологического характера. Такъ шло развитіе отъ гносеологии Канта къ метафизикѣ Фихте, Шеллинга и Гегеля. Новѣйшіе нео-кантіанцы также не въ силахъ удержаться отъ этого рокового перехода къ метафизикѣ и онтологіи. Съ одной стороны гносеологовъ подстерегаетъ метафизика и онтология (сверхъиндивидуальный субъектъ, сознаніе вообще и т. п.); съ другой—подстерегаетъ психологія и біологія (психофизическая организація, субъектъ психологической и біологической). Такимъ образомъ критическая гносеология фатально разлагается на метафизическій онтологизмъ и психобіологическій позитивизмъ. Она не въ силахъ удержаться на острѣ иголки и неизбѣжно падаетъ вправо или влѣво. Проблема, такъ остро поставленная Гуссерлемъ и взволновавшая весь философскій міръ, не можетъ быть разрѣшена «критицизмомъ» и критической гносеологіей. Самъ Гуссерль выходитъ изъ предѣловъ гносеологии. Для критической гносеологии познаніе есть все же дѣло человѣческое и потому освобожденіе отъ психологизма есть поднятіе себя за волосы. И трансцендентальный человѣкъ—все же человѣкъ. Лишь тогда познаніе будетъ свободно отъ психологизма и антропологизма, если опредѣляться оно будетъ не трансцендентальнымъ человѣкомъ, а трансцендентальной вселенной, т.-е. церковью. Критицизмъ остается ком-

промисомъ метафизики (трансцендентальное сознание и сверхъ индивидуальная оцѣнка) и позитивизма (отрицаніе трансцендентныхъ реальностей, имманентизмъ, психобиологизмъ въ генетической точкѣ зрењія).

Чтобы окончательно освободиться отъ психологизма и антропологии, необходимо перейти къ космической, церковной гносеологии, утвердиться на почвѣ соборнаю сознанія. Критицизмъ есть продуктъ протестантскаго индивидуализма; его антропологическая и психологическая подоплека можетъ быть исторически вскрыта. Критическая гносеология—человѣческаго происхожденія и гдѣ же ей возвыситься надъ антропологизмомъ, какъ хочетъ Гуссерль и др. Только гносеология не человѣческаго происхожденія, только гносеология, открывающая дѣйствіе Духа Божьяго въ философскомъ познаніи, только такая соборная, церковная гносеология, исходящая отъ изначальной данности Божественнаго Логоса въ насъ, можетъ возвыситься надъ антропологическимъ и психологическимъ релятивизмомъ. Органомъ философствованія является Божественный Логосъ, а не человѣческий разсудокъ. Поэтому опасность психологизма и антропологии остается лишь для тѣхъ, которые не въ силахъ совершить того акта самоотреченія,透过 который человѣкъ пріобщается къ универсальному разуму. Но Божественный Логосъ живетъ, дѣйствуетъ и сообщаетъ дары благодатнаго познанія лишь въ церкви, лишь въ ея мистическомъ вселенскомъ организмѣ. Внѣ церкви нѣтъ соборности, нѣтъ большого разума. Вотъ истина, которая не была достаточно постигнута германскимъ идеализмомъ, такъ много сдѣлавшимъ для утвержденія идеи универсальнаго разума, но воспринявшимъ и впитавшимъ протестантскій индивидуализмъ. Даже Гегель не преодолѣлъ антропологии и психологизма, потому что его Логосъ не былъ церковенъ, его путь философствованія былъ рационалистический. Даже Шеллингъ былъ слишкомъ рациональнымъ гностикомъ. Поэтому германскій идеализмъ, значеніе котораго огромно, показалъ лишь безсиліе діалектической мысли въ конечныхъ ея выводахъ; онъ обнаружилъ саморазложеніе разума, какъ начала рационалистического. На вѣрномъ пути стоялъ, быть можетъ, лишь одинъ Францъ Баадеръ. Да великий Гете остается представителемъ истинно научнаго духа, полнаго здороваго объективизма, реализма, интуитивизма, врагомъ болѣзненнаго субъективизма и крити-

цизма. Гете былъ въ глубочайшемъ смыслѣ слова церковнѣе, ближе къ міровой душѣ, чѣмъ Кантъ, Фихте и Гегель, и потому осуществлялъ въ своей жизни идеаль цѣльного знанія.

Церковно-соборное сознаніе предшествуетъ раздѣленію и распаденію на субъектъ и объектъ. Внѣ церковнаго опыта субъектъ и объектъ неизбѣжно остаются разорванными и раздѣленными и мышленіемъ не могутъ быть возсоединены. Неудача Шеллига тѣмъ объясняется, что онъ пытался часто философски утвердить тождество субъекта и объекта, въ то время какъ тождество это должно быть сначала утверждено религіозно, а потомъ уже формулировано церковной философіей. Точка зрењія церковнаго сознанія должна быть открыто провозглашена философіей. Всѣ твердые основы знанія, устраниющая опасности релятивизма и скептицизма, даны въ церковномъ сознаніи, не въ «сознаніи вообще», — призракѣ, выдуманномъ въ кабинетахъ гносеологовъ, а въ сознаніи церкви, какъ сущаго, какъ живой души міра, соединившейся съ Логосомъ. Только церковное сознаніе познаетъ сущее; сущее не дано разсудочному и индивидуальному сознанію. Мистическое и религіозное познаніе не менѣе общеобязательно и твердо, чѣмъ познаніе научное и рациональное, потому что растетъ изъ нѣдръ церковнаго сознанія и церковнаго разума.

#### § 4.

Когенъ, самый крайній и, быть можетъ, самый послѣдовательный гносеологъ-неокантіанецъ, полагаетъ, что гносеология должна быть ориентирована на фактъ положительной науки преимущественно математического естествознанія. Сама положительная наука отъ гносеологии не зависитъ и въ гносеологии не нуждается, но гносеология исключительно питается фактомъ существованія науки. Въ сущности не твердость науки обосновывается гносеологіей, а твердость гносеологии обосновывается наукой и безъ твердости науки никакой почвы не имѣтъ. Не гносеология побѣждаетъ скептицизмъ и релятивизмъ, а фактъ существованія положительной науки побѣждаетъ. Въ качествѣ паразита «гносеология» ничего побѣждать не можетъ. Гносеологи вынуждены даже признать, что гносеологическая категоріи могутъ мѣняться въ зависимости отъ состоянія положительныхъ наукъ. Если я попробую усомниться въ твердости математического естествознанія, то вся кантіанская гносеология распадется въ прахъ.

Гносеология претендуетъ быть апологетикой науки, но въ сущности наука оказывается апологетикой гносеологии; наука нужна, чтобы гносеология процвѣтала. Зачѣмъ же существуетъ гносеология? Къ познанію бытія гносеология отношенія не имѣетъ, твердости науки не обосновываетъ, скептицизма и релятивизма не побѣждаетъ. Повидимому гносеология есть товаръ на любителя, есть цѣнители ея самодовлѣющіхъ красотъ. Но тогда зачѣмъ же претендовать на общеобязательность и научность? Гносеология не только имѣетъ предпосылки, но она вся сплошь состоитъ изъ однихъ предпосылокъ, въ ней ничего нѣтъ кромѣ предпосылокъ. Предпосылкой въ гносеологии является наука и притомъ та наука, которую она захочетъ принять; гносеология же не является предпосылкой науки. Въ послѣдней главѣ гносеологии заключено не больше, чѣмъ въ первой главѣ. Гносеология—схоластика чистой воды; она схоластичнѣе всякой схоластики. Гносеология цвѣтеть въ пустынѣ самодовлѣющей мысли, оторванной отъ корней и соковъ. Гносеологические цвѣты—не живые цвѣты, а искусственные, бумажные. На всемъ пути гносеологии нѣтъ органическаго развитія.

Риккеръ захотѣлъ ориентировать гносеологію не только на фактѣ естественныхъ, генерализирующихъ наукъ, но и на фактѣ наукъ историческихъ, индивидуализирующихъ. У него получалась нѣсколько иная чѣмъ у Когена гносеология, въ сердцѣ которой заложена цѣнность. Гносеология, какъ наука о цѣнностяхъ, очень остроумна, но заслуга ея главнымъ образомъ въ томъ, что она есть *reductio ad absurdum* критицизма. Это вѣдь всегда большая заслуга. И вотъ я спрашиваю. Можно ориентировать гносеологію на фактѣ естественныхъ наукъ, можно ориентировать на фактѣ историческихъ наукъ, нельзя-ли ориентировать гносеологію на фактѣ религіознаго откровенія? Въ фактѣ религіознаго откровенія нужно повѣрить, чтобы что нибудь на немъ ориентировать. Но вѣдь и въ фактѣ положительной науки нужно повѣрить, чтобы что нибудь на немъ ориентировать. Разъ принять фактъ науки, онъ питаетъ. Питаетъ и фактъ религіознаго откровенія, разъ онъ принять. Наука и религія должны были бы быть признаны по меньшей мѣрѣ равнозначными, какъ пища для философіи. Если не унижаетъ гносеологію зависимость отъ науки, то почему же унизить зависимость отъ религії? Почему научная философія свободна,

а религіозная філософія—не свободна? Это смѣшной предразсудокъ нашей «научной» эпохи. Лишь гносеология, которая будетъ ориентирована не только на фактъ науки, но и на фактъ вѣры, фактъ откровенія, только такая цѣльная гносеология прикасается къ живому существу, постигаетъ познаніе, какъ тайну брака познающаго съ существомъ. Фактъ вѣры, открывающей сущее, фактъ откровенія сущаго въ вѣрѣ и есть изначальный фактъ, изъ которого должна исходить гносеология и філософія. Фактъ науки есть фактъ мыслительный, фактъ вѣры есть фактъ сущій. Сущій фактъ первичнѣе мыслительного. Кантіанская гносеология, ориентированная лишь на фактъ науки, есть вторичная, второсортная гносеология. Первичная, первосортная гносеология ориентирована на фактъ вѣры, которая есть и познаніе, и бытіе разомъ.

### § 5.

Для Риккерта и родственныхъ ему гносеологическихъ направлений бытіе есть лишь форма экзистенціального сужденія. Природа дана лишь въ естествознаніи, душевная жизнь—лишь въ психологіи, исторія—лишь въ исторической наукѣ. Внѣ научнаго знанія, въ которомъ и дано всякое рационализированное бытіе, а бытіе для нихъ само уже есть продуктъ рационализированія, остаются лишь ирраціональныя переживанія, которые не есть бытіе, которыхъ нѣтъ. Ирраціональныя переживанія,—этотъ передѣлъ «критицизма», который иные произвольно называютъ мистикой, есть темный хаосъ, въ которомъ ничего нельзя узнать и назвать. Въ этотъ темный хаосъ вносятъ свѣтъ лишь цѣнности и нормы; но онѣ сами рационалистическая дѣти сознанія. Свѣтъ есть только въ рационализированномъ сознаніи, въ знаніи; до этого и внѣ этого нѣтъ свѣта и нѣть бытія. Это—страшный, убийственный рационализмъ, для которого не только наука, знаніе, но и самъ міръ, само бытіе есть результатъ рационализированія, сужденія. Но вѣдь безуміе думать, что бытіе можетъ зависѣть отъ познанія, что оно дано лишь въ наукахъ, что внѣ сужденія не можетъ быть и рѣчи о бытіи. Нужно очень глубокое поврежденіе здоровья, чтобы придавать познанію такое поистинѣ демоническое значеніе. Правда, эта демоническая роль познанія разыгрывается только въ книгахъ по гносеологии, только въ книгахъ этихъ бытіе упраздняется, подчиняется сужденію. Но сами эти книги отражаютъ болѣзнь,

поразившую уже саму жизнь. Вѣдь для Канта, не только наука, знаніе, но и самъ міръ, сама природа созидаются познавательными категоріями, судящимъ субъектомъ. Природа потому только существуетъ, что существуетъ математическое естествознаніе, а математическое естествознаніе предполагаетъ гносеологическія категоріи. Отъ логики и гносеологии зависитъ не только существование науки и философіи, но и существование самого міра. Это утверждение примата познанія надъ бытіемъ послѣдовательно проводить Когенъ. Для него научное знаніе есть бытіе; его рационализмъ не ограничивается никакимъ вторженіемъ ирраціонального, какъ у Риккера. Эта точка зреїння фатально должна прійти къ метафизикѣ панлогизма, такъ какъ признаетъ исключительно раціональность, логичность бытія и бытійственность исключительно раціонального, логического. Такой ходъ къ гегельянству намѣчается въ современномъ неокантіанствѣ. Гегель остается наивѣки образцомъ демоническаго и титаническаго раціонализма. Для Риккера бытіе создается сужденіемъ, устанавливающимъ цѣнности. Это—неофихтеанство. Для Когена бытіе создается категоріями, логическимъ методомъ. Это—неогегельянство. Неокантіанство движется по тому же кругу, по которому двигалось и кантіанство. Не породить-ли оно нового фейербахіанства и материализма? Нужно провѣрить саму исходную посылку раціоналистического философствованія. Нельзя безнаказанно оторвать растеніе отъ корней его. Не можетъ жить оно безъ питанія корнями. Нормальное же питаніе въ новой философіи давно уже нарушено.

### § 6.

Бытіе, міровую жизнь можно принять лишь изначально, до сужденія, принять полнотой своего духа, не раціонализированнымъ своимъ сознаніемъ. Къ бытію, къ жизни міра нельзя прійти, отъ него можно только изойти. Бытіе дано въ началѣ, а не въ концѣ, его нельзя вывести, дедуцировать. Есть интуїція бытія, но неѣтъ къ нему путей дискурсивнаго мышленія. Только безуміе раціонализма могло превратить бытіе въ категорію, пристроить его въ сужденіи, поставить въ зависимость отъ познанія. Что бытіе непосредственно, интуитивно дано нашему первичному, цѣлостному сознанію, этого нельзя доказать, нельзя ни изъ чего вывести, это можно только открыть и принять. Нельзя достаточно часто повторять, что изъ бытія мы исходимъ,

а не приходимъ къ нему. Истинная философія, религіозная философія всегда открываетъ изначальную данность, но открытие этой изначальной данности есть сложная работа вслѣдствіе помраченія, въ которомъ мы живемъ. Какъ къ бытію вообще, такъ и къ бытію абсолютному, бытію Божьему нельзя прйти, нельзя доказать Бога, можно только изойти отъ Бога, изначально открыть Бога въ себѣ. Но для этого нуженъ подвигъ освобожденія отъ помраченія,—нѣкая мистическая активность. Во вторичномъ, раціонализированномъ, разсѣченномъ уже сознаніи бытіе для насъ опосредствуется, отделяется; мы мыслимъ посредственно во всѣхъ смыслахъ. Это—неизбѣжная кара. Идеалистическому визіонизму кажется, что въ опосредствованномъ познаніи раціонализированного сознанія бытіе конструируется познающимъ субъектомъ и отъ него зависитъ. Въ дѣйствительности раціоналистическое сознаніе и опосредственное познаніе есть лишь болѣзненное состояніе самого бытія, въ немъ совершившійся разрывъ. Но раціоналистическая гносеология этого не можетъ видѣть, это видно лишь религіозной философіи, посвященной въ тайны бытія.

Но что же въ такомъ случаѣ знаніе, зачѣмъ знаніе, въ чёмъ цѣнность знанія? Раціоналисты по одному, эмпірики (раціоналистические) по другому видѣли въ знаніи отраженіе дѣйствительности въ познающемъ, или адекватное отраженіе или отраженіе измѣненное, точно въ кривомъ зеркаль. Познающій субъектъ оказывался копировальной машиной, «разумъ» и «опытъ» копировали дѣйствительность. Но при такомъ пониманіи природы познанія знаніе оказывалось дублированіемъ дѣйствительности, ненужнымъ какимъ то ея повтореніемъ. Если знаніе есть пассивное отраженіе и копированіе, то непонятно, въ чёмъ творческая цѣнность знанія. Критицизмъ справедливо возсталъ противъ такого превращенія знанія въ пассивное копированіе и дублированіе дѣйствительности и захотѣлъ утвердить творческую цѣнность знанія, какъ порожденного активностью субъекта. Но не удалось этого сдѣлать критицизму, потому что самъ онъ зарожденъ всѣми грѣхами раціонализма. Раціонализмъ изначально предполагаетъ познающего и познаваемое раздѣльными и противоположными. Тогда начинается рефлексія надъ тѣмъ, каково взаимоотношеніе этихъ двухъ раздѣльныхъ и противоположныхъ началъ. Критицизмъ цѣликомъ принимаетъ эту раздѣльность и

противоположность. Только у познающего субъекта, оторванного отъ объекта, отсѣченного отъ бытія, можетъ явиться соблазнъ быть зеркаломъ, отраженіемъ дѣйствительности, быть върной копіей дѣйствительности. У познающего субъекта, живущаго въ нѣдрахъ самого бытія можетъ быть лишь желаніе активно творить цѣнности въ самомъ бытіи, развивать бытіе къ совершенству. Другимъ соблазномъ оторванного познающего субъекта является желаніе признать себя творцомъ бытія, увидѣть въ дѣйствительности какъ бы копированіе самого себя. При этомъ творческая цѣнность знанія оказывается иллюзорной, ни на что не направленной, ничего не рождающей. Знаніе ни въ какомъ смыслѣ не есть отраженіе, копированіе, дублированіе бытія и ни въ какомъ смыслѣ не есть созданіе, конструированіе бытія. Познающій субъектъ не есть пассивный отражатель бытія и не есть активный его создатель; онъ живой дѣятель въ бытіи, развиватель бытія, повышающій творческую энергию бытія, создатель цѣнностей бытія. Что же такое есть знаніе, въ чёмъ его цѣнность, если смотрѣть на само знаніе, какъ на бытіе, на смыслъ познанія, какъ на осуществляющейся въ бытіи?

### § 7.

Знаніе само есть бытіе, живая функція бытія, цѣнность развитія бытія. Знаніе есть актъ самосознанія и самопознанія универсального бытія, къ которому и мы пріобщаемся,—функція универсального развитія. Знаніе не есть отраженіе бытія и не есть конструированіе бытія, а есть самораскрытие бытія, его расчлененіе и оформленіе. Въ актѣ познанія съ самимъ бытіемъ, съ самой реальной дѣйствительностью происходитъ нечто такое, въ силу чего бытіе совершенствуется, развивается, осуществляется цѣнность. И это происходитъ не въ индивидуальномъ психологическомъ сознаніи, а въ нѣдрахъ универсального бытія. Знаніе есть путь отъ хаоса къ космосу, отъ тьмы къ свѣту, и не потому, что познающій субъектъ своимъ трансцендентальнымъ сознаниемъ оформливаетъ бытіе и распространяетъ на него рациональный свѣтъ, а потому, что само бытіе просвѣтляется и оформляется въ актѣ самопознанія. Эту точку зрения я бы назвалъ творческимъ реализмомъ и еще назвалъ бы мистическимъ реализмомъ. Да, знаніе есть цѣнность, въ знаніи совершается творческий актъ, но цѣнность въ самомъ бытіи, творчество въ

его развитії. Познаніе дерева есть развитіе, совершенствование дерева, реальное осуществление цѣнности въ растительномъ мірѣ. Это звучить парадоксально лишь при поверхностномъ слушаніи. Какъ раньше уже было установлено, мы исходимъ изъ того положенія, что познаніе совершается въ церковномъ, соборномъ, вселенскомъ, божественномъ сознаніи и разумѣ. Въ церковномъ сознаніи дано тождество субъекта и объекта, познающаго и познаваемаго, мышленія и бытія. Въ церковномъ сознаніи всякое познаніе есть самопознаніе универсального бытія, переходъ его къ свѣтлому космосу. То, что гносеологамъ представляется лишь идеальной, познавательной цѣнностью, то обладаетъ цѣнностью реальной, бытійственной. То расчлененіе и дифференціація и объединеніе и синтезированіе, которымъ даны въ знаніи, совершаются въ самомъ бытіи, въ немъ самомъ побѣждаютъ хаотическую тьму. Еще разъ подчеркиваю: не въ индивидуальной душѣ знаніе есть оформленіе и просвѣтленіе, т.-е. творческое развитіе бытія, а въ самомъ универсальномъ бытіи. Чтобы дерево росло, цвѣло и совершенствовалось, оно должно познаваться въ соборномъ, вселенскомъ сознаніи, и это познаніе есть въ то же время самопознаніе. Истинное познаніе какого нибудь объекта есть также и самопознаніе этого объекта, этотъ объектъ—также и субъектъ, субъектъ и объектъ—тождественны. Гносеология—біологична въ смыслѣ церковной, соборной, вселенской біологии. Критерій знанія, критерій цѣнности не этическій, а біологический. Это критерій бытія и небытія, жизни и смерти, развитія и упадка. Такъ утверждается тождество бытія и мышленія, не рационалистического тождества въ духѣ панлогизма, а мистического тождества въ духѣ панбытійственности.

Въ знаніи творческимъ, созидающимъ цѣнности факторомъ является Логосъ, большой разумъ, смысьлъ міра. Деятельность Логоса, разума, осмысливаетъ бытіе, просвѣтляетъ бытіе, соединяетъ твореніе съ Творцомъ. Поэтому въ знаніи совершается не пассивное отображеніе, а активное овладѣніе. Знаніе потому есть жизнь самого бытія и потому въ самомъ бытіи происходитъ то, что происходитъ въ знаніи, потому такъ, что въ познающемъ субъектѣ и въ познаваемомъ объектѣ, въ мышленіи и въ бытіи живеть и действуетъ тотъ же универсальный разумъ, Логосъ,—начало божественное, возвышающееся надъ противопо-

ложностями. Разумъ же не есть начало разсудочное, интеллектуальное, это—цѣльный духъ въ мірѣ и въ человѣкѣ. Знаніе потому есть цѣнность, что въ немъ бытіе возвращается къ первоисточнику, т.-е. побѣждаетъ безуміе хаотического распада. Но такой возвратъ совершается лишь въ живомъ, цѣльномъ знаніи, знаніи подлинно брачномъ. По геніальному выражению Фр. Баадера: *познавать истину значитъ быть истиннымъ*. Цѣнность знанія въ томъ и заключается, что въ немъ бытіе становится болѣе истиннымъ. Но истину нужно заслужить и потому познаніе истины есть подвигъ цѣльной жизніи духа, есть совершенствованіе бытія. Истина заслуживается подвигомъ отречения отъ разума индивидуального во имя стяженія разума церковнаго. Только въ церкви растетъ и познается, вѣць церкви оно погибаетъ и погружается въ тьму.

### § 8.

Языкъ—очень несовершенное и опасное орудіе, онъ нась подводитъ на каждомъ шагу, рождаетъ изъ себя противорѣчія и запутываетъ. Особенно труденъ сталъ языкъ съ тѣхъ поръ, какъ реальный смыслъ, реальное содержаніе словъ почти утеряно, значеніе словъ стало номинальнымъ. Теперь въ философіи приходится спорить изъ-за каждого слова, условливаться о значеніи словъ на протяженіи цѣлыхъ томовъ. Пустыя, утѣрявшія реальный смыслъ слова не подпускаютъ людей другъ къ другу. Мы хотѣли бы прійти другъ къ другу въ гости и поговорить по душѣ, но слова не пускаютъ дальше передней. Гносеологія не только подчиняется этой власти номинализма, но и закрѣпляетъ эту власть. Гносеологические споры—главнымъ образомъ споры о словахъ, гносеологическая разногласія—многозначность словъ. Мы все условливаемся, что значатъ слова, непосредственный смыслъ которыхъ утерянъ. Развращающая власть словесности надъ философіей, номинализма надъ реализмомъ тогда лишь будетъ побѣждена, когда будетъ возстановлена непосредственная мистика словъ, не магія словъ, всегда заколдовывающая, а мистика словъ, всегда освобождающая. «Мысль изреченная есть ложь». Этими проникновенными словами поэта (тоже изреченной мыслью) слишкомъ теперь злоупотребляютъ. Насъ хотятъ увѣрить, что всякая изреченность есть рационализированіе, т.-е. убіеніе жизни, скрытой за изреченнымъ. Но бо-

жественное слово было изречениемъ смысла міра, и не было оно ложью. И всякая изреченность, всякое слово, пріобщенное къ Логосу, не есть ложь, есть истина. Реальный смыслъ словъ возвышается отъ соединенія съ Словомъ—Логосомъ, это Слово не есть уже рационализация. Когда я говорю съ братомъ по духу, у которого есть та же вѣра, что и у меня, мы не условливаемся о смыслѣ словъ и не раздѣлены словами, для настъ слова наполнены тѣмъ же реальнымъ содержаниемъ и смысломъ, въ нашихъ словахъ живетъ Логосъ. Рационализация словъ, на которой такъ настаиваетъ критической гносеологии, есть распадъ и разрывъ. Номинализмъ—болѣзнь. Номиналисты-рационалисты не убѣждены, что слова имѣютъ реальное содержаніе, слишкомъ часто для нихъ они звуки пустые. Для однихъ слова—жизнь, реальность, дѣйствіе, для другихъ слова—лишь слова, лишь названія, лишь звуки. Для критической гносеологии всякое сочетаніе словъ есть сужденіе, а всякое сужденіе есть рационализация. А объясненіе въ любви, выраженное словами, тоже—рациональное сужденіе? А поэзія, которая всегда есть изреченность, тоже—рациональное сужденіе? Не должна ли быть истинная философія объясненіемъ въ любви двухъ влюбленныхъ? О, тогда поймутъ другъ друга, тогда всѣ слова будутъ полны реального содержанія и смысла. Какъ ужасно, что философія перестала быть объясненіемъ въ любви, утеряла Эросъ и потому превратилась въ споръ о словахъ. Религіозная философія всегда есть объясненіе въ любви, и слова ея не рационализированы, значеніе ея словъ не номинальное. Какая ложь, что познаніе исчерпывается рациональнымъ сужденіемъ! Выраженіе любви есть изреченіе высшаго и подлиннаго познанія. Любовь къ Богу и есть познаніе Бога, любовь къ міру и есть познаніе міра, любовь къ человѣку и есть познаніе человѣка. Для однихъ сочетаніе словъ есть рациональное сужденіе, дискурсивное мышленіе, для другихъ то же сочетаніе словъ есть интуиція, сочетаніе полно реального смысла. Этотъ споръ не разрѣшается гносеологіей—это—споръ о принадлежности къ двумъ разнымъ мірамъ, къ міру, въ которомъ все рационализировано, и слова лишены реального значенія, имѣютъ лишь номинально, и къ міру, въ которомъ все дано въ мистической цѣльности и потому слова полны реального значенія. Нельзя доказать, что бытіе есть бытіе, а не форма экзистенціального сужденія, можно лишь пережить тотъ жизненный переворотъ, послѣ котораго пока-

жется безумiemъ превращеніе бытія въ сужденіе. Откуда извѣстно, что истина всегда можетъ быть доказана, а ложь всегда можетъ быть опровергнута? Возможно, что ложь гораздо доказательнѣе истины. Доказательность есть одинъ изъ соблазновъ, которыми мы ограждены отъ истины.

### § 9.

Несовершенство языка, страшный номинализмъ словъ даетъ кажущееся оправданіе тому ученю современнаго критицизма, согласно которому бытіе есть лишь форма экзистенціального сужденія и внѣ сужденія бытія нѣтъ. И само это утвержденіе подпадаетъ подъ страшную власть номинализма словъ. Всегда опасно оперировать съ словосочетаніемъ «бытіе есть» или «бытія нѣтъ». «Бытіе» прежде всего всегда «есть» и никогда не можетъ быть, чтобы оно «не было». Но что значитъ «есть»? Неужели «есть»—только въ сужденіи? «Есть»—связка сужденія, часть сужденія, при чемъ и тутъ говорятъ, что «есть» есть часть сужденія. Изъ сужденія и его рокового круга нѣтъ выхода въ номинальномъ царствѣ словъ. Неужели же все «есть» только въ сужденіи и внѣ сужденія ничего нѣтъ? Но ведь «не есть», «нѣтъ»—тоже часть сужденія. Получается какой-то страшный кошмаръ. Развязать этого узла нельзѧ, его можно только разрубить. Разрубить этотъ узелъ значитъ радикально порвать съ номинализмомъ словъ, вернуть словамъ ихъ реальное содержаніе и смыслъ. Мистика языка должна преодолѣть кошмаръ формальной логики и номинальной словесности. Я не хочу, цѣльнымъ духомъ, не хочу находиться во власти номинализма языка и формализма логики, для которыхъ «бытіе»—форма сужденія, во всякомъ изреченномъ «есть» дана лишь часть сужденія. И я знаю, что я правъ, разрубая этотъ узелъ, что я служу истинѣ, порывая со всякимъ формализмомъ и номинализмомъ. Если отдаться исключительной власти формально разсудочного начала, то мы фатально попадаемъ въ царство номинализма словъ, словъ, лишенныхъ реального смысла, формъ, лишенныхъ реального содержанія. Только усилемъ цѣлостнаго духа можно противиться этому разсудочному формализму и номинализму. Я ведь отлично знаю, какой реальный смыслъ и реальное содержаніе имѣеть изреченная мною мысль, когда я говорю: «то-то есть», а «того-то нѣтъ». Я знаю, знаю, что не мое бытіе и не

бытие міра зависитъ отъ суждений, отъ связки «есть», а суждение со всѣми его частями зависитъ отъ моего бытія и бытія міра. Да и всѣ это прекрасно знаютъ. Отъ меня же требуютъ, чтобы я притворился, что ничего не знаю и цѣликомъ завишу отъ формализма суждений и номинализма словъ. Узелъ разрубается тѣмъ, что я исхожу изъ непосредственной и первичной интуиціи бытія, сущаго. Рационализированная изреченность въ суждениі мысли о бытіи есть лишь условная форма, въ которой для однихъ дано само бытие, для другихъ дано лишь суждение. Одна и та же форма можетъ имѣть разное значеніе въ зависимости отъ того, находимся ли мы во власти номинализма словъ или освободились отъ нея. Къ бытію нельзя прійти путемъ суждений, нельзя его дедуцировать, нельзя рационально его вывести, изъ бытія можно лишь изойти и въ немъ пребывать. Знаніе предшествуетъ сужденію и въ суждениі находитъ лишь условную форму своего выраженія, какъ могло бы его найти въ жестахъ.

Нельзя ставить знакъ равенства между «бытиемъ» и «есть» суждений. Относительно бытія недозволительна формально номиналистическая игра со словомъ «есть». Этой софистикѣ формализма и номинализма нѣтъ конца, если ей отдаваться. Риккерть кладетъ въ основу своей философіи *цѣнность*, которой окончательно замѣняетъ бытіе. Но и Риккертъ не одинъ разъ приходится обмолвиться словомъ, что цѣнность *есть*, существуетъ, т.-е. что цѣнность—бытие. Если цѣнности *нѣтъ*, не существуетъ, то цѣнность—*небытие*, что тоже некорошо. О цѣнности ничего нельзя изрекать словами, не можетъ быть ученія о цѣнности, потому что цѣнность должна предшествовать сужденію, не зависѣть отъ суждений, а опредѣлять его. Фрейбургская школа, какъ и всякая другая, не имѣетъ органа для своего ученія о цѣнностяхъ. Въ изреченномъ суждениі всякое ученіе, всякая философія цѣнностей раціонализирована. Съ «цѣнностью» дѣло обстоитъ нелучше, чѣмъ «съ бытиемъ», и «цѣнность» и «бытие» одинаково для раціоналистической философіи помѣщаются въ сужденіи. Поэтому позволительно предпочесть бытіе. Критическая гносеология можетъ быть обвинена въ томъ, въ чемъ она всѣхъ такъ любить обвинять. Въ ней нѣтъ ничего трансцендентального; все исходить изъ фактической данности, на которой она произвольно захотѣла себя ориентировать. Внѣ суждений, изъ которыхъ состоитъ знаніе, не можетъ быть никакой еще гносеологии.

гии, никакой философії цѣнностей. Гносеологія оказывается невозможной съ точки зрењія гносеологіи же. Гносеологія есть лишь выражение власти номинализма словъ. Только интуитивная гносеологія внутренно не противорѣчива. Актомъ воли цѣльного духа я прекращаю игру съ словомъ «есть» и возвращаюсь къ реализму. Я «есмь» не только въ сужденіи, которое изрекаетъ «такой-то есть», это я слишкомъ хорошо знаю, и всѣ это знаютъ. То же я знаю и о всемъ объемѣ бытія, которое не зависитъ ни отъ какого сужденія, хотя бы отъ сужденія «сознанія вообще», какъ утверждаютъ гносеологи. Номинализмъ словъ одинаково допускаетъ сказать «бытіе есть», «небытіе есть», «бытія нѣтъ», «Богъ есть» и «дыра въ кольцѣ есть». «Бытіе» не зависитъ отъ того, что сужденіе изрекаетъ свое «есть», такъ какъ эта часть сужденія готова назвать существующей и дыру въ кольцѣ. Бытіе-бытію. Это изначально.

### § 10.

Риккерть и его школа съ одной стоны, прагматизмъ Джемса и Бергсона съ другой—самые замѣчательные и злободневные явленія современной философіи. Бергсонъ и Риккерть—самые, быть можетъ, крупныя философскія дарованія современной Европы и съ ними поневолѣ приходится считаться. Въ этихъ послѣднихъ результатахъ европейской философіи обостряется до послѣдней степени одна проблема—проблема отношенія рационального и иррационального. Современная философія признаетъ иррациональность бытія, и она же гносеологически утверждаетъ рационализмъ. Это основное противорѣчие современной философіи. Гносеология Риккера до послѣдней степени раціоналистична; но тотъ же Риккерть вмѣстѣ съ Ласкомъ выдвигаетъ проблему иррационального, иррациональности дѣйствительности, иррациональности индивидуальности. Раціональность познанія и иррациональность дѣйствительности оказываются несоизмѣримыми. Познать дѣйствительности нельзя, такъ какъ раціональное не покрываетъ иррациональное, познающій субъектъ не въ силахъ совладать съ хаосомъ, да и дѣйствительности не существуетъ, какъ трансцендентной реальности. Противъ гносеологического раціонализма возстаетъ прагматизмъ Джемса и Бергсона. Прагматизмъ порываетъ съ отвлеченнымъ познаніемъ, пытается возстановить связь познанія съ жизнью, вновь превратить

познаніе въ функцію жизни,—онъ знаменуетъ собою кризисъ раціоналістическої філософії. Но прагматизмъ—плоть отъ плоти и кровь отъ крови раціонализма, прагматический ирраціонализмъ есть лишь обратная сторона раціонализма. Джемсъ и Бергсонъ—блестящіе мыслители, заслуги ихъ несомнѣнны, они пытаются вырваться изъ ограниченности раціонализма и отвлеченности. Но они остаются въ томъ же кругу, такъ какъ раціонализмъ и ирраціонализмъ пребываютъ въ одной плоскости. Раціонализмъ нельзя побѣдить волюнтаризмомъ. Раціонализмъ есть царство малаго разума, разсудка. Волюнтаризмъ и ирраціонализмъ пассивуютъ передъ малымъ разумомъ, передъ разсудкомъ, и ограничиваютъ его господство лишь темной, ирраціональной волей. Субъектъ и объектъ остаются разорванными и для волюнтаризма и для ирраціонализма, такъ какъ они не видятъ третьаго начала, общаго для субъекта и объекта,—большого разума, Логоса. Гносеология, въ основѣ которой лежитъ идея Логоса, разума большого, объединяющаго субъектъ и объектъ, будетъ не раціонализмомъ и не ирраціонализмомъ, а сверхраціонализмомъ. Раціонализмъ и ирраціонализмъ, эти дѣти одной разорванности и разобщенности, побѣждаются не слабосильнымъ прагматизмомъ, а церковной гносеологіей, церковнымъ сознаніемъ. Современная гносеология убиваетъ живое брачное познаніе, потому что не въ силахъ соединить раціональное и ирраціональное. Бытіе, какъ ирраціональное, остается въ мышленія, какъ раціональнаго, дѣйствительность остается недоступной познающему. Только допущеніе единаго органическаго разума—Логоса въ субъектѣ и объектѣ соединяетъ мышленіе и бытіе, выходитъ за предѣлы противоположности раціональнаго и ирраціональнаго. Но разумъ—Логосъ живетъ и дѣйствуетъ только въ церковномъ, соборномъ, вселенскомъ сознаніи. Безъ Бога, безъ божественнаго сознанія не только Бога, но и міра, и человѣка нельзѧ познать, такъ какъ раціональность субъекта ничего не можетъ подѣлать съ ирраціональностью объекта. Всякое подлинное познаніе есть пріобщеніе къ соборному разуму, преодолѣвающему противоположность раціональнаго и ирраціональнаго, есть участіе въ самопознаніи абсолютнаго. Прагматизмъ Джемса, ирраціонализмъ Бергсона, *reductio ad absurdum* всей критической гносеологии у Риккерта—всѣ эти явленія имѣютъ большое симптоматическое значеніе, помогаютъ выйти изъ кризиса. Но выходъ можетъ быть только къ

церковной гносеологии, къ церковному сознанию. Тогда поновому будут обрѣтены утерянная ясность и утерянный реализмъ.

Вѣчнымъ источникомъ идеализма является Индія. Въ религіи и философіи Индіи даны уже всѣ образцы идеализма со всѣми опасностями иллюзіонизма. Въ религіозномъ и философскомъ сознаніи Индіи можно найти не только Шопенгауера, но и Риккerta, и весь трансцендентальный идеализмъ. Въ трансцендентальномъ идеализмѣ сказалось индійское отношеніе къ бытію. Бытіе становится призрачнымъ и эта призрачность бытія отлично соединяется съ позитивной наукой, съ эмпириическимъ реализмомъ. Вѣчнымъ источникомъ реализма является Греція. Въ философскомъ и религіозномъ сознаніи Греціи дано вѣковѣчное утвержденіе бытія, дано реальное воспріятіе души міра. Греческий реализмъ земли, реализмъ души міра перешель во вселенское церковное сознаніе. Новая религіозная философія имѣетъ главной своей опорой не индійскій трансцендентализмъ, а греческий реализмъ. Реализмъ этотъ хранится въ церкви.

### § II.

Модное риккертіанство, которое пришлось нынѣ ко двору, есть въ сущности разновидность фихтеанства. Фихте продолжилъ дѣло Канта въ сторону окончательной замѣны бытія долженствованіемъ. Фихтеанство не выносить никакого завершенія въ абсолютномъ бытіи. Духъ этотъ требуетъ безконечного процесса въ осуществленіи долженствованія. Бога нѣтъ, Богъ долженъ быть, но Бога никогда и не будетъ, такъ какъ процессъ осуществленія Бога—долженствованія не имѣетъ завершенія, не имѣетъ конца. Поэтому духъ фихтеанскій находится во власти дурной множественности, плохой бесконечности. Духомъ этимъ пользуются тѣ, которые хотятъ оставить за собой право выбора между безконечнымъ множествомъ послѣднихъ истинъ. Выборъ этотъ никогда не бываетъ послѣднимъ, такъ какъ послѣднее требуетъ завершенія. Духъ этотъ боится того завершенія, конца, который данъ въ абсолютномъ бытіи. Все дальнѣе и дальнѣе отодвигается то, что должно быть сотворено, и такъ безъ конца, безъ разрѣшенія конфликта времени и вѣчности. Это и есть философія цѣнностей, которая неизбѣжно закрѣпляетъ дурную бесконечность. Только философія сущаго ведетъ къ хорошей бесконечности, къ вѣчности, къ концу.

Неофихтеанская философия цѣнностей плѣняетъ тѣмъ, что она выдвигаетъ и обогаляетъ творческій актъ. Но этотъ творческій актъ не идетъ отъ сущаго и не идетъ къ сущему, онъ остается призрачнымъ. Абсолютное—становящееся, но не сущее. Живого Бога нѣтъ, есть лишь Богъ нормъ и цѣнностей. Это—кошмаръ, кошмаръ дурной, поистинѣ дурной безконечности. Вѣдь и въ философии сущаго абсолютное становится въ творческомъ актѣ, но абсолютное—и сущее, Богъ-живъ. Наша эпоха тяготѣетъ къ философии отрицательной безконечности. Но побѣдить философию положительной вѣчности.

Риккертъ очень злоупотребляетъ словомъ «переживаніе». Только чистое «переживаніе» не рационализировано, только въ неизреченномъ и необъективированномъ «переживаніи» есть «мистика». Но эта чистая, свободная «мистика переживаній», которую, кстати сказать, признаютъ решительно всѣ, всѣ позитивисты и рационалисты, оказывается самымъ ужаснымъ рабствомъ. Мнѣ пикнуть не позволяютъ, не позволяютъ сдѣлать никакого движения, ни въ чемъ выразиться. Немедленно меня заключаютъ подъ стражу рационализма, садятъ въ темницу рационализированія. Мистика переживаній, которую любезно и либерально разрѣшаютъ, ни въ чемъ не можетъ выразиться. Въ качествѣ мистика я ничего не могу дѣлать, ничего говорить, ничего писать. Я могу объективировать себя лишь въ качествѣ рационалиста. Это тоже какой-то кошмаръ. Вѣдь въ извѣстномъ смыслѣ «переживаніе» есть все, и все есть «переживаніе». «Переживаніе» нельзя отдѣлить отъ познанія, и само познаніе совершается внутри «переживаній». Риккертъ предлагаетъ пережить все то, что относить къ иррациональному и послѣднему. Но что значить «пережить»? Почему знаніе, культура и пр. не есть жизнь, не есть «переживаніе»? Жизнь есть все. Нельзя выдѣлить изъ жизни философию, искусство, культуру. Я «переживаю», когда познаю; мое познаніе всегда есть «переживаніе». Тѣмъ болѣе художественное творчество есть «переживаніе». «Переживаніе» неизбѣжно объективируется и выражается. «Переживаніе» мы находимъ не только въ душѣ человѣка, но и въ душѣ міра, въ исторіи, въ культурѣ. Вся культура есть объективированіе мистическихъ «переживаній». Вся культура развивается изъ культа, это исторически и научно установлено; культура же есть объективированіе религиозной мистики и въ немъ нѣтъ ни-

какой рационализации. Объективированіе, изреченіе, воплощеніе въ актахъ не есть рационализация, не есть умерщвленіе; это—продолженіе творенія міра, творчество совмѣстное съ Богомъ. Если вы творите совмѣстно съ Богомъ, то ваша философія, ваше искусство, ваша общественность не будутъ рационализированы и умерщвлены; все останется живымъ, творческій актъ будетъ мистиченъ не только въ своемъ источнике (въ субъектѣ), но и въ своихъ результатахъ (въ объектѣ). Въ теургическомъ, совмѣстномъ съ Творцомъ творчествѣ субъектъ и объектъ тождественны; мистиченъ не только субъектъ, но и объектъ.

У риккертіанцевъ получается очень смѣшной выводъ: всѣ мистики, тѣ мистики, которыхъ знаетъ исторія, всѣ эти Эккерты, Бёмы, Сведенборги, Баадеры, Соловьевы, всѣ они оказываются рационалистами. Тѣ, которые писали мистической книги, совершили мистическую дѣйствія, тѣ не мистики, а вотъ мистики тѣ, которые никогда ни въ чемъ не выражали своей мистики, ни въ словахъ, ни въ дѣйствіяхъ, у которыхъ мистика оставалась въ сфере чистаго «переживанія». И святые—не мистики, у нихъ мистика всегда вѣдь въ чемъ-то выражалась, раскрывалась, объективировалась, т.-е. рационализировалась. А вотъ, вѣроятно, тѣ, которыхъ мы знаемъ, какъ явныхъ рационалистовъ и позитивистовъ, тѣ у кого жизнь не была реализацией и объективаціей мистики, тѣ, вѣроятно, настоящіе мистики. Можетъ быть, Риккертъ и Когенъ или даже Марксъ и Спенсеръ—настоящіе, чистые мистики; у нихъ вѣдь навѣрное есть «ирраціональная переживанія», и они ни въ чемъ этихъ ирраціональныхъ переживаній, не выразили, не объективировали и не реализовали, т.-е. не убили своей мистики рационализированіемъ. Мистикъ тотъ, о комъ даже и догадаться нельзя, что онъ мистикъ, и рационалистъ тотъ, кто является намъ мистикомъ. Мы же на это говоримъ риккертіанцамъ и прочимъ критикамъ: руки прочь. Мистики тѣ, которые живутъ мистикой, страдаютъ мистикой, готовы всѣмъ пожертвовать для того, чтобы мистику объективировать и реализовать въ міровой и исторической жизни. Тотъ лишь мистикъ, кто любить міръ иной, божественный, и не мистикъ—слишкомъ любящій міръ этотъ.

### § 12.

Реальность не можетъ ни въ какомъ смыслѣ зависѣть отъ рефлексіи, отъ познанія, отъ рационализированія. Всякая позна-

вательно-рационалистическая рефлексія—вторична и производна, реальность же первична и непроизводна; она дана до всякаго рефлектированія, до самаго раздвоенія на субъектъ и объектъ. Проблема реальности бытія, проблема трансцендентнаго, какъ любятъ говорить, не можетъ быть ни поставлена, ни решена рационалистической гносеологіей. Проблема эта разрѣшається положительно до всякой гносеологии, разрѣшається въ «переживаніи», какъ сказалъ бы Риккертъ, но «переживаніе» это есть уже познаніе. Въ критической гносеологии проблема трансцендентнаго бытія принимаетъ призрачный характеръ и разрѣшається лишь номинально. Въ трансцендентномъ бытіи никто серьезно, жизненно, полнотой духа не сомнѣвается. Сомнѣнія гносеологовъ—чисто словесныя сомнѣнія. Номиналистическая сколастика—вотъ что такое гносеологическая изслѣдованія трансцендентнаго. Трансцендентное словесно побѣждается гносеологіей. Оно реально утверждается полной жизнью духа. Полнота же и цѣльность жизни духа заключаетъ въ себѣ познаніе, это не риккертовское «переживаніе». Интуитивное, цѣlostное, органическое познаніе совершается въ первичномъ, не рационализированномъ сознаніи. Модное же слово «переживаніе» лучше было бы окончательно бросить. Этимъ безсодержательнымъ словомъ слишкомъ злоупотребляютъ. Слово это имѣетъ скверный привкусъ и запахъ, оно болѣзненно. Эпохѣ «переживаній» пора положить конецъ. Переживаніе есть полнота опыта—вотъ единственный смыслъ этого слова. А полноту опыта нельзя противополагать знанію.

Самую проблему трансцендентнаго пробуютъ устранить тѣмъ, что всякую реальную дѣйствительность рассматриваютъ, какъ содержаніе сознанія. Но этимъ лишь призрачно и словесно отодвигаютъ трансцендентное. Допустимъ, что всякое бытіе есть лишь содержаніе сознанія, имманентно ему, но содержаніе «сознанія вообще», сверхъ индивидуального сознанія, сознанія трансцендентального. Въ этомъ случаѣ роковымъ образомъ само «сознаніе вообще» становится трансцендентнымъ, какъ то и обнаружилось въ германскомъ идеализмѣ начала XIX вѣка. Сверхъиндивидуальное сознаніе неизбѣжно принимаетъ онтологический характеръ, или какъ у позитивистовъ, оно принимаетъ характеръ психологической и биологической. *Основное и неустарливое противоречие критической гносеологии я вижу въ томъ,*

что для нея трансцендентальное сознание неизбежно превращается въ объектъ, а должно предшествовать всякому объекту. Но если трансцендентальное сознание есть объектъ, а сама гносеология есть познаніе, то должно быть нѣчто предшествующее этому объекту, т.-е. предшествующее трансцендентальному сознанію, и должна быть гносеология гносеологии, теорія гносеологического познанія. И такъ до безконечности. Никогда мы не достигнемъ того, что уже ничего не предполагаетъ раньше, что уже не требуетъ критического изслѣдованія. Критическая гносеология не имѣеть органа, которымъ могла бы оправдать свои операции; ея субъектъ является ея же объектомъ и потому гносеология попадаетъ въ порочный кругъ. На этотъ неисправимый порокъ критической гносеологии упорно не хотятъ обратить достаточного вниманія. Въ концѣ концовъ гносеологій критицизмъ есть лишь одно изъ метафизическихъ направлений, и притязанія его быть выше всякой метафизики и предшествовать всякому познанію прямо смѣшны. Виндельбандтъ и Риккертъ остроумно пробовали свести всю гносеологію къ долженствованію, къ цѣнности и этимъ привели ее къ абсурду. Это—этически ориентированная метафизика, какъ у Фихте. Въ такой этической гносеологии нѣть никакихъ признаковъ объективной научности. Для этой гносеологии знаніе въ концѣ концовъ сводится къ вѣрѣ, къ свободѣ выбора, къ этикѣ воли. Тутъ я готовъ вступиться за объективную науку. Научное знаніе заключаетъ въ себѣ объективную и неустранимую принудительность; науку нельзя этизировать, нельзя превращать ее въ постулаты долженствованія. Обыкновенные позитивисты правильнѣе смотрятъ на науку, чѣмъ Виндельбандтъ и Риккертъ. Въ позитивной науки долженъ быть утверждены позитивизмъ, а не идеализмъ. Критической идеализмъ гносеологовъ для науки не только не нуженъ, но даже вреденъ, такъ какъ вноситъ разлагающую рефлексию въ здоровую работу ученыхъ. Все великое въ науку сотворено духомъ непосредственную, проникающую въ объективность природы реализма, а не рефлектирующую, гносеологическую идеализма, не наука предполагаетъ гносеологію, а гносеология предполагаетъ науку. Это ясно обнаруживается въ школѣ Когена, которая не можетъ существовать иначе, какъ питаясь фактами положительной науки, математического естествознанія. Еще разъ повторяю: критическая гносеология есть лишь паразитъ науки,

болѣзненная рефлексія отъ худосочія. Отъ гносеологии нужно защищать нынѣ саму науку, которой грозитъ опасность отдаленія отъ объективности природы вслѣдствіе рефлектирующаго самоанализа. Науку нужно спасать, а не только метафизику и теологію. Гносеология отнимаетъ у настѣ *природу*.

### § 13.

Нельзя этизировать познаніе подобно Виндельбандту и Риккерту, но должна быть этика познанія. Нельзя нормально познавать безъ этики познанія не потому, что логика и гносеология имѣютъ исключительно дѣло съ нормами долженствованія, а потому, что познаніе есть функція жизни и предполагаетъ здоровую жизнь познающаго. Позитивная наука имѣетъ творческое значеніе, въ ней жизнь міра просвѣтляется. Знаніе позитивной науки не есть пассивное состояніе, пассивное отраженіе; оно всегда есть активное усиленіе, дѣйствіе въ мірѣ; знаніе всегда «прагматично». Достиженіе истины, просвѣтленіе всегда есть творческая активность познающаго, путемъ которой онъ пріобщается къ міровому, соборному разуму. Всякое знаніе, самое даже научно-позитивное предполагаетъ извѣстное самоотреченіе и самодисциплину. Активность знанія есть факторъ *розвитія* міра, самораскрытие и самооформленіе вселенского бытія.

Я не предлагаю вернуться къ первоначальной наивности, это было бы невозможно, и это значило бы, что весь процессъ мірового самосознанія совершился даромъ и ничего не завоевалъ. Тотъ дифференцирующей процессъ самосознанія, которымъ наполнена история философіи, имѣлъ положительную миссію, онъ ко многому привелъ. Тотъ путь, которымъ мы должны идти, есть, конечно, путь критической, хотя и не путь «критицизма». Синтетическая цѣлостность жизни духа можетъ и должна быть возсоздана послѣ всѣхъ испытаній критической дифференціаціи, должна быть осуществлена, какъ высшая ступень бытія. Критический, сознательный, творческій догматизмъ—вотъ къ чему мы идемъ. Нельзя противопоставлять творчество догматизму. Скорѣе можно было бы сказать: творчество невозможно безъ догматизма, безъ догматического упора, безъ догматическихъ утвержденій. Только лишенный творчества критицизмъ противоположенъ догматизму. Всѣ творцы—догматики, образъ и подобіе Единаго Творца—Догматика. Творчество есть позитивный дог-

матизмъ. Отрицательный же критицизмъ есть изсяканіе творчества. Только «догматики» восходятъ по ступенямъ ввысь, развиваются, творятъ, «критики» толкуются на мѣстѣ, вращаются въ кругу. Догматы и есть ступени восхожденія. Восхожденіе по лѣстницѣ познанія нѣвозможно безъ догматовъ, безъ догматовъ нельзя стать на одну ступень, чтобы потомъ перейти на высшую. Догматы—могучее орудіе творческаго перерожденія міра, творческаго его развитія. Безъ догматовъ всегда останемся въ ниzechъ. Только догматы—лѣстница къ небу и Богу. Только догматическая, органическія эпохи творческія, дерзающія; эпохи исключительно критическая лишены творчества, плоски. Мы добивались критицизма, какъ права, а когда добились, то обѣднили и припали къ землѣ. Теперь мы добиваемся права преодолѣть критицизмъ, хотимъ новаго доктринализма, укрѣпленнаго на нашемъ богосыновствѣ.

Метафизика превратилась въ жупель, стала синонимомъ рационализма. Можно подумать, что только метафизики—рационалисты, а вотъ критицисты и позитивисты—тѣ не рационалисты. Какая путаница понятій! Спора нѣтъ, что метафизика слишкомъ часто бывала крайнимъ рационализмомъ, не специальнѣо метафизика, а вообще философія, цѣлое направленіе человѣческаго мышленія и познанія. Критицисты и позитивисты—только послѣдніе результаты этой рационалистической метафизики, не имѣ судить, въ ихъ владѣніи нѣтъ такого мѣста, съ котораго можно было бы наблюдать и изслѣдоватъ рационализмъ въ метафизикѣ. Рационалисты не могутъ судить о рационализмѣ. Не могутъ осуждать рационализмъ тѣ, которые во всякомъ познаніи и всякомъ объективированіи видятъ рационализацио. Именно тѣ и должны быть названы раціоналистами, которые всюду видятъ раціонализацию и внѣ раціонализации допускаютъ лишь «переживаніе». О раціонализмѣ и не раціонализмѣ въ метафизикѣ нужно представить судить мистикамъ. Психически разстроенный не можетъ быть врачомъ психіатрической лѣчебницы. Раціонализмъ есть болѣзнь и разстройство, мистика есть здоровье и нормальность. У раціоналистовъ и метафизика будетъ раціоналистическая; но метафизика никогда не была раціоналистической у мыслителей религіозныхъ, у мыслителей-мистиковъ, прикасающихся къ живой сущности бытія. Метафизика разсудка—раціоналистична, но не раціоналистична метафизика Логоса. Не всякое знаніе есть

разсудочное суждение. Суждение есть одно изъ орудій знанія, но живая полнота знанія не можетъ исчерпываться сужденіемъ. Спиритуалистическая метафизика не есть психологизмъ; она не можетъ быть добыта психологической наукой. Духъ данъ въ непосредственномъ, иерационализированномъ опыте, а не въ томъ рационализированномъ опыте, съ которымъ имѣеть дѣло психологія.

### § 14.

Человѣкъ—микрокосмъ, въ немъ дана разгадка тайны бытія,—макрокосма. Вотъ основная истина всякой религіозной метафизики. Этой истинѣ учили мистики всѣхъ временъ. Эта истина утеряна позитивизмомъ, критицизмомъ, эмпиризмомъ, рационализмомъ. Истинѣ этой соотвѣтствуетъ особая гносеология, отличная отъ господствующихъ гносеологическихъ типовъ,—гносеология священной философіи. Лишь для церковной гносеологии становится понятной та истинна, что человѣкъ—микрокосмъ. Только церковная гносеология владѣетъ тѣмъ соборнымъ, большими разумомъ, который одинаково живетъ въ субъектѣ и объектѣ, въ человѣкѣ и въ мірѣ. Человѣкъ—микрокосмъ есть столь же многосложное и многосоставное бытіе, какъ и макрокосмъ; въ немъ есть все, отъ камня до Божества. Во всѣхъ оккультныхъ ученіяхъ скрыта въ сущности все та же таинственная истинна о человѣкѣ—микрокосмѣ. Осмысливается эта тайна лишь въ церковномъ сознаніи. Лишь микрокосмъ въ силахъ постигнуть макрокосмъ. Человѣкъ потому постигаетъ тайну вселенной, что онъ одного съ ней состава, что въ немъ живутъ тѣ же стихіи, дѣйствуетъ тотъ же разумъ. Человѣкъ—не дробная, безконечно малая часть вселенной, а малая, но цѣльная вселенная. Человѣкъ—вселенная и потому вселенная ему не чужда. Эти двѣ вселенные—микрокосмъ и макрокосмъ реально, бытійственно соприкасаются и сливаются лишь въ церкви; лишь въ церковномъ разумѣ, церковномъ сознаніи совершается подлинное познаніе макрокосма. Церковь—душа міра и лишь въ премудрой душѣ міра, въ Софії, оба космоса—малый и большой брачно сливаются въ познаніи. Церковное сознаніе, церковный разумъ есть неосознанная предпосылка всякой гносеологии, для которой познаніе есть бракъ познающаго съ космосомъ, познающій имѣеть отношеніе къ бытію и въ бытіи что-то совершаетъ.

Истина не есть отвлеченная цѣнность, цѣнность сужденія. Истина—предметна, она живетъ; истина—сущее, существо. «Я есмь истина». Поэтому истина есть также путь и жизнь. Поэтому знать истину значить быть истиннымъ. Познаніе истины есть перерожденіе, творческое развитіе, посвященіе во вселенскую жизнь. Истина—сущее. Познать истину значитъ познать сущее. Познать сущее нельзѧ извнѣ, можно только изнутри. Во вѣнчшнемъ объективированіи сущее не познается, оно умерщвляется. Лишь углубленіемъ въ микрокосмѣ познается макрокосмъ. Углубленіе же въ микрокосмѣ не есть субъективизмъ, это разрывъ всѣхъ граней субъективизма. Въ глубинѣ человѣка заложена реальная вселенная, въ немъ живеть вселенскій разумъ, и найденная въ человѣкѣ вселенная и вселенскій разумъ всего менѣе могутъ быть названы человѣческимъ субъективизмомъ, субъективнымъ человѣческимъ «переживаніемъ». Это путь реализма, объективизма, универсализма, а не индивидуализма, субъективизма, идеализма. Разумъ церковной вѣры есть цѣльный, органическій разумъ, разумъ вселенскій. И свобода дана въ самомъ началѣ философствованія этого разума, въ началѣ, а не въ концѣ. Это—философія свободы, философія свободныхъ. Бытие, жизнь духа даны изначально, даны сознанію первичному, не рационализированому, сознанію церковному, разуму церковному. Познаніе не есть рационализированіе бытія и жизни, а есть ихъ внутреннее просвѣтленіе, ихъ творческое развитіе. Необходимо прежде всего отказаться отъ рационалистического призрака отвлеченної, исключительно интеллектуальной истины. Истина добывается не только интеллектомъ, но и волей, всей полнотой духа. Поэтому истина спасаетъ, истина даетъ жизнь.

Николай Бердяевъ.

## Природа философского сомнѣнія<sup>1)</sup>.

Какова природа философскаю сомнѣнія? Въ чёмъ его сущность, въ чёмъ живой нервъ?

Философское сомнѣніе не можетъ быть понимаемо, какъ чистый *аффектъ*. Но въ то же время оно не есть чисто *умственное явленіе*. Оно есть нечто такое, что не укладывается въ обычныя схемы психологического наименованія и требуетъ специального анализа.

Философское сомнѣніе—это тотъ скрытый двигатель, которымъ созидаются всѣ философскія построенія, это тотъ таинственный дѣятель, который творитъ подобно невидимымъ силамъ природы. Онъ всюду и нигдѣ въ отдельности. Каждая деталь мысли у каждого истиннаго философа проникнута изнутри философскимъ сомнѣніемъ, каждый изгибъ мировоззрѣнія имъ вызванъ, архитектурный рисунокъ всего построенія имъ вдохновленъ. И въ то же время у наиболѣе великихъ представителей философского сомнѣнія нѣтъ сомнѣнія, какъ внѣшняго метода, какъ сознательно принятаго шаблона. Они не скептики, они искатели. Они не обладатели мнѣмо неподвижной и мнѣмо устойчивой позиціи скептической атараксіи, они посреди всеобщаго движенія Вселенной тревожно ищутъ, стараясь разслышать таинственный ритмъ мирового становленія, разгадать скрытое Слово природы вещей. Опасно смысливать философское сомнѣніе съ тѣми различными видами скептическихъ *системъ*, которыхъ намъ известны изъ исторіи философіи. Между ними такое же отношеніе, какъ между Бекономъ, который любилъ «открывать» новые методы и не зналъ, что съ ними дѣлать, и

1) Читано pro *venia legendi* въ Московскомъ Университетѣ 10 мая 1910 года.

Ньютона, который методомъ не «открывалъ» и гениально умѣлъ оперировать съ ними въ реальномъ процессѣ изслѣдованія. Въ комъ больше философскаго сомнѣнія: въ «скептикѣ» Юмѣ или въ «догматикѣ» Платонѣ? Въ «скептикѣ» Бейлѣ или въ «догматикѣ» Эригенѣ? У знающихъ исторію мысли врядъ ли можетъ быть на это два отвѣта. Сомнѣніе, какъ внутренняя и пламенѣющая сила философскаго испытыванія вещей и скепсисъ, какъ внѣшній остывшій результатъ сомнительныхъ разсужденій, общаго почти ничего не имѣютъ.

Чтобы опредѣлить природу философскаго сомнѣнія, необходимо въ цѣльномъ, единомъ и слитномъ переживаніи, осуществляющемъ философское сомнѣніе, хотя бы мысленно различить двѣ стороны: «что» и «какъ» сомнѣнія, его *содержаніе* и его внутреннюю живую, движущую силу. Сомнѣваются всегда въ *чемъ-нибудь и почему-нибудь*, т.-е. у сомнѣнія всегда есть то или иное *содержаніе*, и въ то же время отъ всѣхъ другихъ переживаній, всегда тоже имѣющихъ какое-нибудь содержаніе, оно отличается какъ переживаніе *sui generis*, именно какъ *сомнѣніе*, а не что-нибудь иное. Это опредѣленное *качество* сомнѣнія, конституирующее его сущность и есть его чистое «*какъ*». Нечего говорить, что обѣ стороны: и «что», и «какъ» сомнѣнія реально нераздѣлимы; онѣ только мысленно различимы; и не можетъ быть сомнѣнія, ни какъ чистаго аффекта, ни какъ чистаго механическаго счисленія. Въ сомнѣніи всегда въ живомъ единстве и нераздѣльно слиты обѣ стороны: и «что» и «какъ».

Нефилософское сомнѣніе, которымъ проникнуты всѣ системы древняго и новаго скептицизма<sup>1)</sup> (я не говорю уже о сомнѣніи патологическомъ), стремится представить дѣло въ такомъ свѣтѣ, что сомнѣніе въ цѣломъ и обѣ стороны его въ частности имѣютъ лишь *отрицательную* сущность, т.-е. въ сущности не имѣютъ никакой сущности. «Что» сомнѣнія признается лишь за *отрицаніе* всякихъ положительныхъ утвержденій (т.-е. утвердительныхъ сужденій), а «какъ» сомнѣнія признается за *воздержаніе*<sup>2)</sup> отъ

1) См. остроумныя разсужденія о скептицизмѣ Вл. Соловьева въ „Критикѣ Отвл. Начальн.“. Прим. 5 къ стр. 184. Собр. Соч. Т. II, стр 341. О различеніи философскаго сомнѣнія отъ патологического см. Л. М. Лопатинъ. „Положительныя задачи философіи“ Ч. II, стр. 27—30.

2) Этимъ самымъ представители нефилософскаго сомнѣнія раздѣляютъ по существу не отдѣлимые другъ отъ друга „что“ и „какъ“ сомнѣнія, ибо

совершенія какихъ-нибудь положительныхъ утвержденій. Такимъ образомъ и «что», и «какъ» сомнѣнія признаются въ существѣ своемъ отрицательными.

Такъ ли это? Дѣйствительно ли сомнѣнію можетъ быть приписанъ такой характеръ?

«Что» сомнѣнія есть известное содержаніе мысли. Всякая мысль осуществляетъ себя въ сужденіяхъ. Для того, чтобы «что» сомнѣнія можно было считать состоящимъ лишь изъ отрицанія, нужно допустить возможность чисто отрицательныхъ сужденій. Возможны ли они?

Логика со временъ Аристотеля дѣлить сужденія по качеству на утвердительныя и отрицательныя<sup>1)</sup>.

Абсолютно ли это дѣленіе? Другими словами, возможно ли сужденіе, въ которомъ *ничего* бы не утверждалось и которое поэтому въ какомъ-нибудь смыслѣ не было *утвердительнымъ*? Стоитъ только задать этотъ вопросъ, чтобы ясно увидѣть, что такія сужденія, по существу самаго акта сужденія, невозможны. Сужденіе, которое *ничего* не утверждаетъ, есть ничего не значащей наборъ словъ. Когда мы говоримъ: *A* не есть *B*, мы вносимъ только *правку* въ наши общія представлениа объ *A*. Если мы раньше думали или были наклонны думать, что *A* есть *B*, то своимъ сужденіемъ *A* не есть *B*, мы только *грамматически* нечтото *отрицаємъ*, по существу же мы *утверждаємъ* новое положеніе, которое полно можно выразить такъ: то *A*, о которомъ мы ду-

воздержаніе отъ сужденій есть уже *волевое* настроеніе, которое къ акту сужденія становится въ *внѣшнег*о отношеніе. Тутъ опять, какъ въ картезіанствѣ измышляется искусственная схема: *разсудокъ не судитъ*, *сужденія производятъ лишь воля*. И когда воля *рѣшила*, что нужно воздерживаться отъ сужденій, разсудокъ повинуется — и получается блаженное состояніе скептической акаталепсіи. Нечего и говорить о надуманной искусственности такого представлениа о судящей мысли. Отмѣтимъ въ высшей степени важное *родство* нефилософскаго сомнѣнія съ догматомъ о чистомъ *ratio*, пассивномъ и стоящемъ во *внѣшнемъ* отношеніи къ волѣ. Скептицизмъ, какъ это ни странно, является лішь оборотной стороной, какъ бы изнанкою *раціонализма*. Подобно тому, какъ *раціонализмъ* предполагаетъ возможнымъ застывшее, неподвижное и статическое міровоззрѣніе, такъ и скептицизмъ предполагаетъ возможнымъ застывшее, неподвижное и статическое *отсутствіе* міровоззрѣнія.

1) ἔστι δὲ εἰς πρῶτος λόγος ἀποφασίκος κατάφασις εἴτε διαφασίς.

De Interpr. c. s. Zeller. Philosophie d. Griechen ; Auf. II B., 2 ss. 219—220.

мали, что оно есть В, на самомъ дѣлѣ обладаетъ такими свойствами, которыхъ несомнѣстимы съ В. Это полное сужденіе по существу утвердительное, остается скрытымъ только потому, что при каждомъ отрицательномъ сужденіи, оно логически подразумьвается. Наша рѣчь получила бы невозможна громоздкую форму, если бы мы это всегда подразумѣваемое, само собой долженствующее быть яснымъ, утвердительное содержаніе каждого отрицательного сужденія облекли бы въ слова. Интуитивный характеръ живой мысли прерывно и моментально схватывающей одно содержаніе за другимъ, переполняетъ наше мышленіе энти-мемами; и такъ называемыя отрицательныя сужденія могутъ быть приняты за дѣйствительно отрицательныя только благодаря тому, что положительное утвержденіе о чѣмъ-нибудь, которое лишь ограничивается или уясняется «отрицательнымъ» сужденіемъ, остается у насъ єю фунд<sup>1</sup>).

Всякое отрицаніе есть отрицаніе опредѣленнаго; отрицается лишь то, что отрицается. Но всегда поле отрицанія уже поля утвержденія. Сколько бы ни отрицалось, всегда область утвержденія будетъ шире. Это необходимо потому, что крайній и предѣльный случай отрицанія можетъ быть мыслимъ въ формѣ отрицанія въ Р. всего того, что утверждается въ S. Это случай такъ наз. въ древности *ἴσοσθενεία τῶν λόγων*. Объемъ отрицанія равенъ всему объему утвержденія. Но и въ этомъ случаѣ перевѣсь все же остается за утвержденіемъ. Ибо отрицаніе, чтобы быть обоснованнымъ, должно на чѣмъ-нибудь базироваться; а эта база уже не можетъ быть отрицательной и необходимо должна быть положительной, т.-е. утвердительной. Констатировать, что мы имѣемъ случай дѣйствительной *ἴσοσθενεία*—можно только путемъ нового акта сужденія. Слѣдовательно, отрицаніе, будучи въ состояніи уничтожить тотъ объемъ утвержденія, который ему противостоитъ въ качествѣ субъекта въ сужденіи, способно сдѣлать это только при помощи того утвержденія, которое служить основаніемъ сужденія. И значитъ, какое бы сужденіе ни взять, въ немъ всегда утвержденія больше, чѣмъ отрицанія, т.-е. по существу всякое сужденіе

<sup>1</sup>) Если только правильно такъ объяснять происхожденіе слова *ἐνθύμημα*, которое у Аристотеля имѣть совсѣмъ другое значеніе *ἐνθύμημα μεν οὐκ εστι συλλογισμός ἐξ εἰκότων η σημεῖων Anal. pr. II, 27. Kappes Arist. Lexicon S. 27.*

утверждаетъ; всецѣло и абсолютно отрицательныхъ сужденій не существуетъ<sup>1)</sup>.

Отсюда получается убѣжденный выводъ для скептицизма, какъ устойчиваго міровоззрѣнія. Любая скептическая система мыслима лишь при допущеніи, что возможна такая позиція мысли, при которой *объемъ отрицанія равенъ объему утвержднія*, — что возможна такая точка зрењія, при которой путемъ системы отри-

<sup>1)</sup> Философское сознаніе, когда оно обращено было на вопросъ объ отрицаніи, всегда рѣшало его въ указанномъ только что смыслѣ. Уже Платонъ въ „Софистѣ“ говорить: „Не существующаго самого по себѣ нельзя ни правильно произнести, ни сказать, ни схватить умомъ, оно и не мыслимо, и не выразимо, и не произносимо, и безсловесно“ 238. С. Не менѣе рѣзко говорить Шопенгауэръ: „абсолютное ничто, дѣйствительное nihil negativum даже и немыслимо, а каждое nihil этого рода, рассматриваемое съ болѣе высокой точки зрењія или подведенное подъ болѣе общее понятіе, всегда оказывается опять-таки лишь nihil privativum. Каждое ничто есть ничто лишь постольку, поскольку оно мыслимо по отношенію къ чему-нибудь другому“. М. к. в. и п. т. I кн. IV § 71. Въ новѣйшей логической литературѣ въ вопросѣ объ отрицаніи царитъ почти единодушіе. Зигварть, посвятившій отрицательнымъ сужденіямъ отдѣльную главу и много разъ къ нимъ возвращающійся, говоритъ: „Не можетъ быть никакого синтеза (а безъ синтеза нѣтъ сужденія), никакого объединенія въ одно цѣлое, если субъектъ и предикатъ остаются раздѣльными и не могутъ даже вступить въ единство. Связь, которая разъединяетъ — это безмыслица. Напротивъ, какъ въ отрицательномъ, такъ и въ утвердительномъ сужденіи собственно связка (грамматически глагольное окончаніе) имѣеть совершенно одинъ и тотъ же смыслъ: (к. п.) она должна выражать соотвѣтствующее сужденію положительное отношеніе субъекта и предиката, отнесеніе предиката къ субъекту, она должна пробуждать ту мысль, что предикатъ принадлежитъ субъекту“ (к. п.). Логика, т. I, стр. 138, russk. пер. И. Давыдова. См. также важное примѣченіе 36. „Нѣтъ такихъ представлений, которые бы были отрицательными сами по себѣ“. Тейхмюllerъ Die wirkliche und die scheinbare Welt g. 152 S. Шуппе говоритъ: „Чистое отрицаніе не мыслимо“. „Его нельзя мыслить вѣкъ предположенія какой-нибудь положительной обусловленности“ Erkenntniss-theoretische Logik § 72 s. 278. Чистаго отрицанія, говоритъ Шуппе въ другомъ мѣстѣ, т.-е. такого, которое не было бы различиемъ одного положительного отъ другого — просто нѣтъ“. Grundriss d. Erkenntnissst. und Logik S. 41—42. Еще рѣшительнѣе говоритъ Вундтъ: „Всякое сужденіе первоначально и по природѣ своей утвердительно“ (Logik I B. s. 201, 3 Aufl. Къ указанному примѣченію Зигварта Вундтъ присоединяется ibid. s. 165). — Характерно для этого единодушія и то, что совсѣмъ другой стволъ новѣйшей логики въ лице Джевонса (Основы науки стр. 43, 44), Де-Моргана (Лъкаръ Англійск. реформаторы логики въ XIX в. стр. 86) энергично подчеркиваетъ положительный характеръ *всякаго* сужденія.

шательныхъ суждений снимается равная ей по объему система какихъ-либо утвердительныхъ суждений, такъ что съ одной стороны уже больше утвердительныхъ суждений не остается, съ другой это «сниманіе» совершается безъ всякой помощи новыхъ утвердительныхъ суждений. Мы видѣли, что это невозможно, невозможна съ такою же необходимостью, съ какой невозможно изъ двухъ отрицательныхъ посылокъ вывести *какое-нибудь* заключеніе.

Не входя въ детальный разборъ цѣлой массы логическихъ несообразностей, вытекающихъ изъ этой основной недѣлости скептицизма, мы вправѣ теперь сказать, что *философское сомнініе*, ничего общаго не имѣя съ скептическими системами, не можетъ имѣть той противорѣчивой отрицательной сущности, которую имѣютъ эти послѣднія и должно заключать въ себѣ *нѣкоторую положительную* природу.

Всякая философія, всякая система воззрѣній (а не чистыхъ аффектовъ), всякая (не патологическая) интуиція есть непремѣнно группа высказанныхъ, усмотрѣнныхъ или инымъ путемъ въ мысли осуществленныхъ суждений о томъ «нѣчто», которое всѣмъ предстоитъ, о томъ X, въ которомъ всѣ находятся, о той неизвѣстной «дѣйствительности», которая прямо или косвенно является субъектомъ *всѣхъ возможныхъ суждений*, ибо всѣ суждения состоять или въ предицированіи этого X какъ субъекта или въ предицированіи другихъ субъектовъ, *всегда обусловленныхъ* своей подчиненностью, своимъ внутреннимъ тождествомъ съ этимъ X. Но мы только что установили, что всякое сужденіе по существу утверждительно, что не можетъ быть сужденія *всесчѣло* отрицательного. Въ такомъ случаѣ не можетъ существовать и группы суждений, въ которой бы отрицанія было бы больше, чѣмъ утвержденія. Другими словами всякая точка зрѣнія, всякой типъ міросозерцанія или мірочувствія въ силу природы самой мысли неизбѣжно и необходимо *что-нибудь утверждаетъ объ X*, т.-е. о томъ «нѣчто», о той неизвѣстной дѣйствительности, которая, какъ сказано, прямо или косвенно предицируется въ каждомъ суждении. Нѣтъ *двухъ* типовъ міровоззрѣній, изъ которыхъ одно утверждается, другое отрицаєтъ. Это благочестивая выдумка—*ria fera*, пущенная въ оборотъ скептиками и съ удовольствиемъ поддерживаемая т. н. критицизмомъ. Возможенъ только одинъ типъ міровоззрѣнія—*утвердительный*.

Всъ сначала что-нибудь объ X утверждаютъ и только что-нибудь утвердивши, получаютъ возможность строить дальше системы мнимаго отрицанія истиннаго знанія (скептицизмъ) или системы мнимо-фатального ограниченія знанія (феноменализмъ). Конечно, эти первоначальная до-скептическія (а также послѣ-скептическія, и до-критическія (а также послѣ-критическія<sup>1)</sup> утвержденія такъ тщательно и заботливо скрываются отъ постороннихъ глазъ, что сами авторы о нихъ забываютъ и съ полной невинностю невѣдѣнія сознаютъ себя истинными скептиками и истинно трансцендентальными философами. Но это послѣ всего вышесказанного не помышаетъ намъ понять кореннуу неосуществимость всѣхъ попытокъ путемъ нѣкоторыхъ скрытыхъ утвержденій уничтожать самую идею положительного знанія, лежащую въ основѣ философскаго сомніння.

Если, какъ мы показали, всякое сужденіе по природѣ своей утвердительно, если всякое міровоззрѣніе, состоящее необходимо изъ группы сужденій, прежде чѣмъ начать отрицать или ограничивать, уже нѣчто объ X утверждается, тогда существенная разница между положительными системами возврѣній и отрицательными, съ точки зрѣнія будто бы большей критичности послѣднихъ—совершенно исчезаетъ. Тогда вся разница между ними сводится на степень лишь одной *внутренней содержательности*.

1) Примѣромъ до-скептическихъ утвержденій „величайшаго изъ скептиковъ“—Юма, можетъ служить принятіе „напечатлѣнія“ за безусловное „что“ исходнаго пункта. Примѣромъ послѣ-скептическихъ утвержденій Юма, можетъ служить его энергичное отрицаніе свободы (въ „Изслѣдованіи“). Его скепсисъ пришелъ къ выводу, что причинное связываніе явлений есть дѣло привычки и *только* привычки. Казалось бы, что отсюда прямой выводъ: значитъ и отрицаніе свободы есть дѣло только *привычки*, покоящейся на приданіи слишкомъ большаго значенія привычкѣ причинности. Но Юмъ утверждаетъ детерминизмъ! Это утвержденіе тѣмъ болѣе замѣчательно, что въ „Діалогахъ“ онъ отрицаетъ значеніе космологического доказательства именно потому, что закону причинности, какъ „привычкѣ“, нельзя приписать реально метафизического характера. Примѣромъ до-критическихъ утвержденій Канта (чтобы не указывать массы другихъ) можетъ служить принятіе существованія математики, естествознанія и метафизики, и адекватнаго познанія ихъ за безусловное „что“ исходнаго пункта, а примѣромъ послѣ-критическихъ утвержденій Канта можетъ служить пресловутая „вещь въ себѣ“, мѣста которой вѣтъ въ „Критикѣ чистаго разума“ и которая тѣмъ не менѣе занимаетъ дѣвѣ трети міровоззрѣнія Канта. .

Всѣмъ системамъ приходится что-нибудь утверждать. Субъектомъ этого утвержденія необходимо является то X, то неизвѣстное, тотъ загадочный міръ, который и скептиковъ и догматиковъ и трансцендентальныхъ философовъ окружаетъ одинаково загадочнымъ, одинаково безусловнымъ и непостижимымъ образомъ. Всякое утвержденіе прямо или косвенно, но всегда всецѣло относится именно къ этому X, и сужденіе, которое чего-нибудь обѣ этомъ X не утверждало, прямо немыслимо, невозможнo,—есть *ens rationis, ens imaginationis*.

X міра одинаково передъ всѣми. Отъ него отвернуться нельзя по самой природѣ судящей мысли. Всякое утвержденіе, для смертныхъ неизбѣжное, есть та или иная *разгадка* этого X; что бы ни утверждалъ философъ, мало ли, много ли, хорошо или плохо, возвыщенно или низменно, глубоко или поверхностно, наконецъ явно или скрыто—заданія у всѣхъ одинаковы. Каковы бы ни были результаты, къ чему бы ни пришли философы—все это не можетъ превысить *величины самой задачи*, необъятности самого факта наличности Сфинкса передъ сознаніемъ человѣка, неизбѣжной данности X'a.

*Размѣры загадки*—есть безусловно данное, нѣчто первичное, нѣчто такое, въ чёмъ находится мысль, чего мысль не можетъ создать уже потому, что *сама мысль есть одинъ изъ моментовъ этой загадки*. Но если такъ, тогда всякое утвержденіе (неизбѣжное утвержденіе), лежащее въ основѣ какой угодно группы сужденій обѣ этомъ X—(т.-е. какой угодно философіи) есть ничто иное, какъ разгадка вселенскаго X, есть ничто иное, какъ притязаніе быть тѣмъ Словомъ, тѣмъ мудрымъ постиженіемъ, отъ котораго Сфинксъ долженъ свалиться въ бездну небытія Священные Оивы, около которыхъ залегло чудовище, требуя или непрерывныхъ человѣческихъ жертвъ или разгадки—это не случайное измышеніе религіозной фантазіи грековъ,—это основной и первичный фактъ человѣческаго сознанія, это нѣчто безусловно присущее мысли, какъ таковой, это то темное основаніе, тотъ таинственный корень, изъ которыхъ она вырастаетъ и въ которыхъ она себя находитъ въ первый же мигъ своего зарожденія.

Каково бы ни было по характеру первоначальное утвержденіе и каковы бы ни были тѣ группы сужденій, которые на основѣ его вырастаютъ, всѣ они неизбѣжно являясь міровой разгадкой—

одинаково притязательны, ибо всѣ притязаютъ быть рѣшеніемъ той задачи, размѣры которой безусловно даны и неизмѣнны. Скептики и критицисты пребываютъ въ жестокомъ самообманѣ<sup>1)</sup>, думая, что они болѣе скромны и умѣренны въ своихъ притязаніяхъ. Дерзновенія и притязанія у всіхъ одинаковы. Очевидно, дѣло не въ величинѣ притязаній, никогда не могущей превысить величину безусловно данной, при всякой мысли неизбѣжной задачи, а въ томъ соотвѣтствіи силь и творческой мощи, которая существуетъ между величиной задачи, между безконечніемъ многоразличіемъ отдѣльныхъ сторонъ и видовъ міровой загадки и тѣми попытками разрѣшить задачу, которая въ ідеѣ должны всесторонне охватывать и покрывать всѣ ея безконечныя стороны.

Теперь мы можемъ подойти ближе къ опредѣленію положительной природы философскаго сомнѣнія. Его истинная задача не въ томъ, чтобы суживать рамки философскаго исканія, не въ томъ, чтобы уменьшать размѣры и величину задачи, стоящей передъ философомъ. Истинная природа философскаго сомнѣнія заключается въ *въчно живомъ исканіи такой философіи, которая соотвѣтствовала бы размѣрамъ загадки*. Корень такого сомнѣнія во все болѣе глубокомъ проникновеніи въ сущность загадки, въ растущемъ *удивленіи*<sup>2)</sup> передъ противорѣчіями всего

1) Самообманѣ, аналогичномъ тому самообману, въ которомъ живутъ въздержные, „скромные“—„добродѣтельные“ люди, которые думаютъ, что они не причастны міровому грѣху, что они не относятся къ тѣмъ „всѣмъ“, „которые во всемъ виноваты“. Чудовище Сфинксъ, подобно міровому грѣху, тяготѣетъ надъ всѣми, и кто живеть въ ложно-оптимистическомъ мірѣ, въ который не падаетъ даже тѣнь отъ чудовища, кто думаетъ поэтому, что Сфинкса вовсе и нѣть, считаетъ возможнымъ пробавляться осторожнымъ скептицизмомъ, тогъ, кроме логической ошибки, указанной нами, впадаетъ еще въ ложное моральное положеніе съ явнымъ оттенкомъ ханжества и лицемѣрія.

2) Аристотель вмѣстѣ съ Платономъ совершенно справедливо считали началомъ философіи удивленіе: διὰ γαρ τὸ θαυμάζειν σὲ ἀδύστοις καὶ μη καὶ τὸ πρώτου ἔργαντο φιλοσοφεῖν. Metaph. I, 2, 982 b, 12. Тоже у Платона Theat. 155 D. Zeller Phil. d. Gr. B. II, 1, 5115 и 13, II, 2, 162 s. Въ „изумлениіи передъ міромъ“—въ „изумлениіи передъ обычнымъ и обыденнымъ“ видить начало философіи и Шопенгауэръ (Вступительная лекція „Объ изученіи философіи“) и Соловьевъ „Крит. отвл. нач.“ Собр. соч. т. II стр. 7 и стр. 337—8. Любопытно, что Спиноза (Ethic. р. I приложеніе къ пол. XXXVI) способности философа постигать все въ необходимости противополагаетъ способность глупыхъ людей всему удивляться. Очевидно, это уже другое удивленіе.

данного, а два ствola такого сомнѣнія—творчество положительныхъ взглядовъ, созиданіе все новыхъ постиженій—и идущая рука объ руку съ этимъ критика всѣхъ существующихъ міровоззрѣній, какъ недостаточно охватывающихъ міровую загадку, какъ недостаточно ею проникнутыхъ, какъ не вполнѣ адекватныхъ этой загадкѣ. Задача философскаго сомнѣнія чисто *положительная*: въ каждомъ данномъ вопросѣ, въ каждой детали проблемы—устранять и разбивать положительныя воззрѣнія свои или чужія лишь для того, чтобы замѣнить ихъ другими *болѣе гибкими, болѣе обширными, болѣе живыми*. Къ негативу вселенской загадки нужно найти *позитив*. Ложность того или другого позитива не въ томъ, что онъ позитивъ, а въ томъ, что онъ не соответствуетъ негативу, недостаточно съ нимъ считается, исказенно его воспроизводить. Но самая идея позитива есть та идея, безъ которой нѣтъ философіи, и всякая критика позитива какой-нибудь философской системы есть въ существѣ созиданіе нового позитива, попытка на почвѣ расчищенной другими философами, возвести новое зданіе, создать новое положительное міровоззрѣніе. И только созидатели новыхъ положительныхъ міровоззрѣній суть истинные философы. И только въ ихъ рукахъ и въ ихъ творчествѣ становятся цѣнными и годными къ употребленію тѣ «сомнѣнія» и тѣ «ограниченія», которыя имѣются въ скептическихъ или критическихъ системахъ воззрѣній. Въ послѣднихъ эти сомнѣнія не имѣютъ самостоятельной, безотносительной цѣнности, потому что испорчены своей логической зависимостью отъ тѣхъ скверныхъ, скрываемыхъ позитивовъ, которые необходимо имѣются въ философскихъ карманахъ каждого представителя архискептической и архикритической системы воззрѣній.

Итакъ «что» сомнѣнія состоитъ, какъ и каждый умственный актъ, въ *сравненіи* данной, готовой формы утвержденія съ тѣмъ идеально-полнымъ и совершеннымъ утвержденіемъ, которое требуется размѣрами и характеромъ вселенской загадки. Въ то время, какъ созидается утвержденіе, сомнѣніе изнутри, музыкально проникая въ него, направляетъ вниманіе на *оценку*, на *взвѣшиваніе*, которая масштабомъ своимъ имѣютъ идеальное утвержденіе, лягтентно содержащееся въ мысли, какъ единственной потенціи истины. Вотъ это то взвѣшиваніе и есть *истинное содержаніе сомнѣнія*; оно носить положительную природу,

ибо необходимо является *переходными* моментомъ, оно полно съменами новыхъ утверждений, оно есть *зачатіе* новыхъ болѣе совершенныхъ положительныхъ концепцій. И въ существѣ своемъ это *взвѣшиваніе*, эта оцѣнка есть *зарожденіе* новаго сужденія. Въ этомъ отношеніи разумъ совершенно подобенъ совѣсти, а сомнѣніе—раскаянію. Раскаяніе полно *положительнало* содержанія. Если осуществленный актъ воли не удовлетворяетъ совѣсть, то раскаяніе, въ которомъ осуществляется не удовлетворность совѣсти, есть не простое *отрицаніе* уже совершенного, а нѣкоторое *начало* новаго дѣйствія (хотя бы въ идѣѣ). «Сомнѣніе» скептиковъ также относится къ философскому сомнѣнію, какъ «отчаяніе» къ покаянію. И насколько отчаяніе не есть истинное отрицаніе совершенного (отреченіе отъ него), настолько и «сомнѣніе» скептиковъ не есть истинное отрицаніе утвержденій высшаго разума неудовлетворяющихъ. Какъ скверное дѣйствіе истинно отрицается лишь хорошимъ дѣйствіемъ (т.-е. актомъ воли, хотя бы и чисто внутреннимъ), такъ и дурное, недостаточное утвержденіе истинно отвергается лишь новымъ актомъ сужденія, новымъ болѣе совершеннымъ и внимательнымъ утвержденіемъ. Извѣстную фразу итальянскаго ученаго i veri continuatori di una dottrina sono coloro che la negano—можно перевернуть обратно: истинно отрицать, скажемъ общѣ, какую нибудь мысль могутъ лишь тѣ, кто ее развиваетъ, кто ее *продолжаетъ*.

Обратимся теперь ко второй половинѣ вопроса.

Какова природа скрытаго корня философскаго сомнѣнія, его подземнаго «какъ»?

Если отвлечься отъ всякаго содержанія, отъ всякаго «что» и «почему», въ какомъ видѣ предстанетъ намъ чистая энергія философскаго сомнѣнія, его несмѣшанное, основное *качество*? его, выражаясь прекраснымъ стоическимъ терминомъ, *тѣло*?

Статично или динамично сомнѣніе? Проспективно или ретроспективно? Куда обращено въ процессѣ философскаго испытыванія вещей: впередъ или назадъ?

Скептикамъ хотѣлось бы представить силу сомнѣнія какъ силу лишь воздержанія. Сомнѣнія обратная сторона увлеченія, созиданія, вѣры. Если творческій порывъ мысли, выхоля какъ бы изъ береговъ, подымается въ своемъ увлеченіи кверху—то сила сомнѣнія вызываетъ обратный процессъ,—пониженія, задержки

и остановки. Пока сомнѣніе замедляетъ, понижаетъ и останавливаетъ, оно — реальная, позитивная сила. Но, когда оно эту функцию осуществитъ, оно никуда больше двигать не можетъ, ибо въ себѣ самомъ, въ сущности оно не имѣетъ и не можетъ имѣть «начала движенія» *арху тѣс чуїсәөс*. Подобно тормозу, существо сомнѣнія негативно. Въ себѣ самомъ оно прозрачно, меонично и сила его лишь въ поѣданіи положительныхъ ростковъ мысли, но поѣдая хотя бы безконечно положительное, оно не приобрѣтаетъ само положительной сущности, подобно тому, какъ тощія фараоновы коровы, поѣдая тучныхъ коровъ, остаются попрежнему тощими и безнадежно прозрачными. Эта отрицательная концепція сомнѣнія можетъ ли быть принята для объясненія природы философской сомнѣнія? Не противорѣчитъ ли она его существеннымъ признакамъ?

Если тóко сомнѣнія отрицательны, тогда тóко а у сомнѣнія просто *нътз*; сомнѣніе не имѣетъ конституирующаго его качества, т.-е. сомнѣнія, какъ сомнѣнія *не существуетъ*.

Этотъ нелѣпый выводъ есть *reductio ad absurdum* отрицательного сомнѣнія. Если сила сомнѣнія существуетъ, если дѣйствительность ея въ философіи неоспорима—сомнѣніе необходимо должно имѣть свою «специфическую энергию», свое опредѣленное и потому позитивное «какъ». Если сомнѣніе будучи въ себѣ отрицательнымъ, т.-е. наѣкоторымъ мѣрой—могло поглощать въ какомъ угодно количествѣ положительные результаты философскаго изслѣдованія—оно было бы абсолютно чудеснымъ явленіемъ, ибо являлось бы прямымъ нарушеніемъ положенія: *ex nihil nihil fit*. Тогда *nihil* сомнѣнія непостижимо порождало бы изъ себя тѣ реальные силы, безъ которыхъ немыслимо переведеніе реальныхъ, уже существующихъ результатовъ философскаго изслѣдованія въ чистое, абсолютное небытие. Но *nihil*, порождающее изъ себя реальные силы, которая, исполнивъ свою функцию въ мірѣ реальностей, опять превращаются въ *nihil*, т.-е. въ ничто—это или чудо, разомъ опрокидывающее всѣ законы мышленія или фокусъ и недостойный и недостаточно ловкій. Подобный взглядъ опирается внутренно на абсолютную *фиксію*. Тутъ сомнѣніе искусственно отвлекается отъ процессовъ познанія, становится чѣмъ-то вѣшнимъ по отношенію къ живымъ актамъ мысли, движетъ ихъ не изнутри, а извнѣ; не силой влеченія, а силой толчка. По этой концепціи, сомнѣніе трансцен-

дентно процессу познання—неліпості, подобна античному *θεός ἀπὸ μηχανῆς*. Що ж оно въ такомъ случаѣ движеть познаніе? Чѣмъ познаніе движется, если сомнініе винъ его? Если это «внѣ», берется въ серъезъ, какъ сомнініе можетъ измѣнить направленіе мысли? Какъ оно можетъ осуществиться? Если оно дѣйствительно винъ,—остановить или измѣнить теченіе мысли оно можетъ только *насильственно*, только какъ сила виѣшняя, посторонняя, но тогда сомнініе есть величайшій врагъ мысли, своей наличностью, просто уничтожающей мысль. Если оно дѣйствительно винъ, если мысль въ природѣ своей, во внутренней сути своей сомнінія не заключаетъ, тогда, чтобы хранить мысль въ ея чистотѣ и свободѣ, нужно оберегать ее отъ всякаго вмѣшательства инородной стихіи сомнінія, совершенно такъ же, какъ нужно охранять свободную жизнь мысли отъ гнѣвной жолчи, отъ чисто аффективнаго, т.-е. виѣшняго состоянія раздраженности.

Тогда сомнініе только психологично и цѣнности гносеологической представить не можетъ, т.-е. это значитъ отрицать сомнініе до конца и лишать его всякаго философскаго смысла. Итакъ, отрицательная концепція, созданная какъ будто для упроченія сомнінія, на самомъ дѣлѣ сводитъ его на абсолютное «нѣть», превращаетъ въ лишенное всякаго интереса и смысла *nihil*.

Мы должны отбросить лживую фикцію. Сомнініе внутренне связано съ мыслью. Оно не винъ, а въ самыхъ глубинахъ мысли. Оно внутренно проникаетъ всякую мысль, музыкально присутствуетъ въ самомалійшемъ *движенії* мышленія; оно *имманентно* процессу познанія. Не тамъ больше сомнінія, гдѣ скептика больше, а тамъ, гдѣ сильнѣе *энергія* мысли, не тамъ сомнініе доведено до высшихъ степеней, гдѣ настроены очень скептично, а тамъ, гдѣ *движение* мысли потенцировано до молніеносныхъ сверканій. Гдѣ нѣть сомнінія, тамъ просто *ничьи мысли*; гдѣ содержаніе мысли не охватывается скрытымъ огнемъ сомнінія и не плавится имъ *непрерывно*, гдѣ мысль не течетъ *расплывчатой* массой реального созерцанія, тамъ нѣть мысли, тамъ суррогатъ, поддѣлка, воспоминаніе о мысли или предчувствіе ея, но не сама мысль *in actu*, живая, божественная,—спокойная или бурная, всегда горящая. Сомнініе, будучи имманентно актомъ познанія, будучи заложено въ самой природѣ философской мысли, есть

то, чѣмъ движется мысль, оно есть прѣтѣпіе *ктоу* философскаго мышленія. Безъ движенія нѣтъ мысли, но движется мысль со мѣниемъ. Сомнѣніе это то внутреннее, абсолютно неотдѣлимое, имманентное мысли *влеченіе*, которое конституируетъ философскую мысль, какъ явленіе *sui generis*, занимающее совершенно самостоятельное мѣсто среди другихъ типовъ человѣческой мысли, и не сводимое ни на что другое.

Каково же опредѣленіе *тюоса* этого влеченія?

Всякое философское размышеніе стремится съ поверхности вмѣбъ. То, что не затрудняетъ обычное сознаніе, то полно трудностью для философа. То, что для взгляда, равнодушно скользящаго по гладкой лицевой сторонѣ даннаго, не таитъ никакихъ проблемъ, никакихъ вопросовъ, то для философскаго ока полно самыхъ неожиданныхъ поворотовъ, изгибовъ, проваловъ и увлекательной сложности. Сомнѣніе, какъ неизбѣжная составная часть философскаго размышенія, есть та сила, которая влечетъ философа къ *трудностямъ*, къ *апоріямъ*, которая интенсифицируетъ философское изслѣдованіе тѣмъ, что въ самомъ простомъ и обычномъ вскрываетъ неожиданно сложныя наслоенія Х'овъ, запутанныя переплетенія неизвѣстностей. Безъ различенія Х'овъ, безъ углубленія въ трудности неизвѣстнаго философія даже немыслима. Это прекрасно понималъ Аристотель, такъ гениально умѣвшій чувствовать философскія апоріи. Въ началѣ II-й книги Метафизики онъ говоритъ:

«Желающимъ что-нибудь хорошо разрѣшить (*εὐπορῆσαι*), необходимо сначала хорошо затрудниться (*διαπορῆσαι*), вѣдь всякое дѣйствительное разрѣшеніе (*εὗπορία*) есть распутываніе (*λύσις*) прежде скопившихся затрудненій (тѣу *πρότερου ἀπορουμένου*). Распутывать же не могутъ тѣ, кто не познали узла» (*λύειν δὲ οὐκ ἔστιν ἀγωοῦτας τὸν δεσμὸν*). И тѣхъ, кто хочетъ философствовать, не умѣя находить трудностей и вскрывать апоріи Аристотель не безъ ироніи сравниваетъ съ тѣми, кто хочетъ идти неизвѣстно куда или кто хочетъ найти неизвѣстно что.

Итакъ, паѳосъ сомнѣнія прежде всего—«затрудниться» овладѣть апоріями данной проблемы, впутаться въ «узелъ», проникнуть въ детали той связанности и сложной переплетенности, которую неизбѣжно таить каждая вещь.

И этотъ моментъ нисхожденія, моментъ отказа мысли отъ всего, что въ ней *есть*, подвигъ самоотверженного сораспятія

мысли трудностямъ даннаго—есть моментъ необычайно характерный для самой священной сути философскаго сомнѣнія.

Тутъ въ сомнѣніи обнажается существенно—двойственная природа. Оно сразу—и сила и слабость, и мощь и безсиліе. Нисходя и падая въ апоріи, безвольно и въ резинъїи путаясь въ «узелъ» даннаго, сомнѣніе какъ бы таитъ въ себѣ какую-то *нищету*, какой-то неутолимый голодъ. И въ то же время уже сойдя и овладѣвъ апоріями, уже впутавшись въ сложность «узла», оно вдругъ обрѣтаетъ внутри себя силы, которыя его преображаютъ. Нищета становится изобиліемъ, алканіе насыщается. Состояніе затрудненности переходитъ въ спокойное состояніе *роста* тѣхъ философскихъ зачатій, которыми оплодотворилось это нищеніе въ апоріи. Тутъ какъ бы вѣчно дѣйствителенъ въ мысли платоновскій миѳъ: въ день рожденія Афродиты Поросъ, опьяненный нектаромъ, сошелся съ Пеніей и та зачала отъ него Эроса.

Философское сомнѣніе въ послѣднемъ опредѣлніи своемъ есть платоновскій Эросъ, сынъ Изобилія и Нищеты. Поэтому такъ подходитъ къ опредѣленію *τόγος*' философскаго сомнѣнія то, что Платонъ говоритъ объ Эросѣ: «Онъ всегда бѣденъ и вовсе не такъ нѣженъ и красивъ, какъ думаютъ многіе. Онъ грубъ и грязенъ, босъ и бездоменъ... имѣя природу матери онъ вѣчно терпитъ нужду. Но по отцу, онъ стремится къ добру, красотѣ, онъ мужественъ, силенъ, отваженъ... онъ всю жизнь философствуетъ (*φιλοσοφῶν διά παντὸς τοῦ θίου*)... въ одинъ и тотъ же день при удачѣ цвѣтетъ и полнится жизнью, при неудачѣ вянеть, вновь оживая благодаря природѣ отца»... <sup>1)</sup>).

Подобно Сократу, высшему носителю Эроса, по Платону, сомнѣніе похоже на тѣхъ силеновъ, которыхъ «изображаютъ обыкновенно съ флейтами или свирѣлями въ рукахъ. Раскройте ихъ и вы найдете внутри божество <sup>2)</sup>). По наружному виду въ аспектѣ Пеніи, сомнѣніе тяжело, трудно, безобразно. Оно требуетъ только отреченія и не даетъ взамѣнъ ничего. Но внутри, въ аспектѣ Пороса, оно таитъ величайшую силу и изобиліе. Оно волнуетъ также, какъ Алкивиада Сократъ: «Когда я слышу его, мое сердце бьется сильно, чѣмъ у неистовствующихъ кориантовъ, изъ глазъ моихъ невольно льются слезы» <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Symp. 203. D. E.

<sup>2)</sup> Symp. 215. B.

<sup>3)</sup> Symp. 215. E.

Эросъ, окрыляющій философію трепетомъ и волненіемъ, и есть то божество, которое скрыто находится въ силено-образномъ сомнѣніи.

Итакъ:

Мы видимъ, что философское сомнѣніе должно быть мыслимо, какъ имманентное процессамъ познанія. И въ своемъ «что», и въ своемъ «какъ» оно носитъ положительную природу. По своему содержанию оно всегда есть снятіе какого-нибудь ограниченного утвержденія во имя безграничнаго, идеальнаго. По своему тѣлу оно совпадаетъ съ сыномъ Пеніи и Пороса, зачатымъ въ день рожденія Афродиты.

В. Эрнъ.

# КРИТИКА И БИБЛIOГРАФІЯ.

## Обзоръ книгъ.

St. v. Dunin-Borkowski S. J. *Der junge de Spinoza. Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie*. Münster i. W. Aschen-dorff. 1910. Mit zwei Vierfarbendrucken, dreizehn Autotypien und sieben Faksimiles XXIII+633 и др.

За нѣсколько послѣднихъ лѣтъ литература о Спинозѣ обога-tилась цѣлымъ рядомъ произведеній, изъ которыхъ нѣкоторыя представляютъ собою томы, по объему еще невиданные въ этой области <sup>1)</sup>.

Мнѣ представляется желательнымъ остановиться на самомъ новомъ изъ этихъ трудовъ, а именно, на трудахъ Дунинъ-Борковскаго, пока стоящемъ внѣ конкуренціи по «подробности изложенія», причемъ появившійся въ печати томъ является только *первымъ томомъ*—о юности Спинозы—и за нимъ долженъ слѣдовать, по всей вѣроятности, не менѣе внушительный по размѣрамъ, второй томъ обѣ эпохѣ зрѣлаго возраста Спинозы.

По своему объему, обѣщаніямъ, высказаннымъ въ предисловіи, хорошей вѣшности изданія и многимъ приложеніямъ, правда смѣшанного достоинства, это произведеніе въ особенности можетъ обратить на себя вниманіе, и потому тѣмъ болѣе важно отмѣтить его характеръ и сущность его содержанія, для того, чтобы лица, знакомыя съ жизнью и учениемъ Спинозы, могли

1) Fr. Erhardt, *Die Philosophie des Spinoza im Lichte der Kritik*. Leipzig, Reisland. 1908. VII+502 S.

A. Wenzel, *Die Weltanschauung Spinozas*. Bd. I. Spinozas Lehre von Gott, von der menschlischen Erkenntnis und von dem Wesen der Dinge. Leipzig, Engelmann, 1907. V+479.

представить себѣ, что они могутъ найти въ данномъ произведеніи, а мало знакомые съ философомъ могли подойти съ достаточно-критической оцѣнкой къ претенціозному во всѣхъ отношеніяхъ произведенію патера іезуитскаго ордена.

Историческая личность Спинозы вырисовывается въ настоящее время съ значительной степенью ясности, главнымъ образомъ благодаря трудамъ Фрейденталя и Мейнсмы <sup>1)</sup>.

Отношеніе общества и науки къ ученію Спинозы прошло, какъ извѣстно, цѣлый рядъ фазъ, и только теперь это ученіе можетъ, наконецъ, разсчитывать на соотвѣтствующую его содержанію оцѣнку. Краткій, но отчетливый очеркъ этихъ фазъ, въ отношеніяхъ къ Спинозѣ, какъ къ философу и человѣку, и изображеніе тѣхъ связей, въ которыхъ можетъ быть поставлено его ученіе съ остальными философскими и историческими теченіями, даетъ въ итогѣ многихъ до сихъ поръ произведенныхъ изслѣдованій только что появившаяся статья Бенно Эрдманна, на которую я обращаю попутно вниманіе лицъ, интересующихся Спинозой и дальнѣйшимъ углубленіемъ его міропониманія <sup>2)</sup>.

Дунинъ-Борковскій въ своемъ изслѣдованіи поставилъ себѣ двѣ задачи: во-первыхъ, прослѣдить развитіе Спинозы съ недостигнутой еще до сихъ поръ никѣмъ обстоятельностью; во-вторыхъ, дать исторію тѣхъ теченій, которая, по его мнѣнію, стоятъ въ болѣе или менѣе тѣсной связи съ міровоззрѣніемъ Спинозы. Конечнымъ пунктомъ своего изслѣдованія Дунинъ-Борковскій намѣчаетъ 1657 годъ; такимъ образомъ, главнымъ источникомъ для обсужденія является такъ называемый «Короткій трактатъ» (*Tractatus de Deo etc.*). Но авторъ привлекаетъ къ разсмотрѣнію и всѣ остальные сочиненія Спинозы, особенно во всѣхъ тѣхъ случаѣахъ, гдѣ онъ пытается доказать заимствованія.

Можно намѣтить слѣдующіе основные пункты въ книгѣ Д.-Б. Послѣ «почти исчерпывающаго» очерка біографическихъ работъ о Спинозѣ, авторъ даетъ собственное описание его дѣтства и юности; затѣмъ слѣдуетъ описание развитія руководящихъ идей;

<sup>1)</sup> Недавно (1909) появившійся нѣмецкій переводъ съ извѣстнаго произведенія Мейнсмы (*Meinsma: Spinoza en zijn kring. 1896*) дѣлаетъ его доступнымъ и для лицъ незнакомыхъ съ голландскимъ языккомъ.

<sup>2)</sup> *Benno Erdmann, Betrachtungen über die Deutung und Wertung der Lehre Spinozas, Genethliakon. Carl Robert zum 8 März 1910. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1910.*

весьма пространными разсуждениями сопровождается выяснение отношений Спинозы к Талмуду и Каббале. К нимъ присоединяется вопросъ о вліяніи іудейской схоластики и объ арабскихъ источникахъ. Попутно подвергаются критикѣ нѣкоторыя основы спинозизма.

Путемъ «Пирровой побѣды» надъ скептицизомъ и «минутнаго союза съ натурализмомъ» Спиноза приходитъ, по мнѣнію автора, къ зачаткамъ достовѣрнаго познанія. Вліяніе Гоббса и Декарта рассматривается авторомъ съ различныхъ сторонъ ихъ воздействиія. Своимъ собственнымъ открытиемъ авторъ считаетъ у становленіе вліянія на Спинозу нѣкоторыхъ второстепенныхъ скрытыхъ философскихъ теченій, мистическихъ направлений и «платоновскихъ тайнъ». Книга заканчивается изложеніемъ отношенія Спинозы къ христіанству, къ этическо-христіанскому сектантству, къ христіанскому мистицизму, съ другой стороны — къ либертинизму его времени и, наконецъ, къ Аристотелю и схоластикамъ.

Путемъ всѣхъ этихъ очень пространныхъ разсуждений авторъ даетъ, по его мнѣнію, «совершенно новое освѣщеніе» (р. IV) развитию Спинозы. Это вѣрно во всякомъ случаѣ въ томъ смыслѣ, что онъ зачастую совершенно перемѣщаетъ тѣ соотношенія тѣней и свѣта на историческомъ изображеніи Спинозы, которая рисуются намъ изъ трудовъ другихъ изслѣдователей. Подробная критика отдельныхъ взглядовъ автора была бы здѣсь не уместна; какъ на примѣръ — такой детальной критики и тѣхъ результатовъ, къ которымъ она приводитъ, можно указать на появившуюся еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ статью Фрейденталя<sup>1)</sup>, въ которой онъ, отстаивая правильность собственной обработки старѣйшей биографіи Спинозы, вскрываетъ цѣлый рядъ неточностей и неправильностей въ данныхъ Д.-Б. по тому же вопросу<sup>2)</sup>. Этотъ разборъ данныхъ Д.-Б. ясно показываетъ насколько осторожно надо относиться къ его историческимъ изысканіямъ. Фрейденталь отмѣчаетъ, между прочимъ, уже тогда явно выраженную черту въ способѣ изложенія автора, а именно, его крайній апломбъ въ сообщеніи далеко не выдерживающихъ

<sup>1)</sup> Freudenthal, I. Ueber den Text der Lucasschen Biographie Spinozas, Zeitschr. f. Phil. u phil. Kr., Bd. 126. 189 ff.

<sup>2)</sup> См. статью Д.-Б. въ Archiv f. Gesch. d. Phil., Bd. XVIII. Отвѣтъ Д.-Б. на указ. статью Фрейденталя, данный въ примѣчаніи на стр. 530 разбираемой книги, не ослабляетъ вѣской критики Фрейденталя.

критики положений (р. 190); эта же черта чрезвычайно характерна и для данного произведения.

Чтобы показать свойства разбираемой книги, въ настоящемъ случаѣ будетъ вполнѣ достаточно привести изъ нея нѣкоторыя выдержки. Взятая, какъ примѣры, изъ многихъ имъ подобныхъ, онѣ легко дадутъ понятіе о томъ, каково то новое освѣщеніе ученія и личности Спинозы, которое предлагаетъ своимъ читателямъ Д.-Б. Вообще, оно сводится, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы заставить видѣть ученіе Спинозы исключительно съ точки зрения зависимостей и аналогій по отношенію къ предшествовавшимъ и современнымъ ему теченіямъ.

Этические идеалы Спинозы, притомъ не только идеалы его юности, но его идеалы вообще, по мнѣнію автора, взяты почти цѣликомъ изъ изречений Талмуда (р. 132 и сл.). Претенціозное стремленіе указать источникъ для всякой детали заставляетъ автора при его «почти что исчерпывающихъ данныхъ» видѣть заимствованія изъ Талмуда даже въ такихъ вещахъ, какъ отрицательное отношение Спинозы къ вспыльчивости (р. 133), или въ его положительному отношению къ труду (р. 140). Открывъ взорамъ читателя цѣлый «лѣсъ цитатъ изъ Талмуда», по выражению Д.-Б., послѣдній пытается развѣшать по деревьямъ этого лѣса всѣ этическія возврѣнія Спинозы, не замѣчая, что для этого ему приходится разорвать единое цѣлое на массу не имѣющихъ самихъ по себѣ никакого значенія отрывковъ. Но не только этические идеалы Спинозы заимствованы изъ Талмуда: «возможно, что нѣть ни одного критического толкованія въ «Теолого-политическомъ трактатѣ», которое не было бы внушено тѣмъ или другимъ изъ старыхъ учителей Талмуда или однимъ изъ его экзегетовъ» (р. 123).

Проникая затѣмъ въ «сокровенные глубины Каббалы», Д.-Б. находитъ, что каббалистическимъ ученіямъ Спиноза обязанъ въ сущности всѣми главнѣйшими руководящими идеями его спекулятивной философіи. «Если кто-нибудь хотѣлъ бы дать набросокъ спинозовской спекулятивной философіи, то ему было бы достаточно для этого выписать только теоріи Ерреры» (Herrera) (р. 189).

Іудейскіе философы (Gaon Saadja, Bachja, Ibn Gabirol и др.) приводятся какъ учителя Спинозы относительно различныхъ источниковъ познанія (р. 204 и сл.). Пониманіе свободы воли

у Хаздаи Креска, по мнѣнію автора, «идентично» съ пониманіемъ ея у Спинозы (р. 213). Переходя къ арабскимъ философамъ, авторъ и здѣсь находитъ все тѣ же черты: Спиноза въ своей несамостоятельности черпаетъ отовсюду полными руками. Мысли Аль-Фараби, въ особенности въ той формѣ, въ какой онъ изложены въ комментаріи Измаила, проникаютъ «въ самый мозгъ Спинозовской спекуляціи» (р. 231). Ученія Аль-Фараби о сущности Бога перенесены «почти дословно» въ Спинозовскую этику (р. 335).

То, чего не достаетъ Спинозѣ въ области теоріи познанія и психологіи, онъ «добываетъ себѣ», при томъ не только изъ Декарта, но и «изъ произведеній платонизирующихъ современниковъ» (р. 245). Его теорія познанія—это связанный другъ съ другомъ теоріи Платониковъ и Декарта (р. 316, 328). Среди всего этого потока заимствованій «моральное легкомысліе» Спинозы склоняетъ его на короткое время «къ союзу съ популярнымъ материалистическимъ натурализмомъ его поверхностныхъ друзей» (р. 277 и сл.).

Таковы примѣры освѣщенія несамостоятельности Спинозы въ общихъ вопросахъ его ученія; въ неменѣе рѣжущемъ свѣтѣ рисуются автору заимствованія Спинозы въ частностяхъ.

Такъ, ученіе Спинозы обѣ атрибутикахъ показываетъ, по мнѣнію Д.-Б., «совершенно поразительное совпаденіе съ ученіемъ о трединствѣ» (р. 342 и сл.). Спиноза запутывается, однако, въ неразрѣшимыхъ трудностяхъ, «такъ какъ онъ пускаетъ въ ходъ взятые имъ изъ спекуляцій о трединствѣ аналогіи безъ достаточнаго знанія этого въ высшей степени сложнаго лабиринта мыслей» (р. 346). Что касается безконечной, но недѣлимой протяженности, о которой говорить Спиноза, то о ней учили, по мнѣнію Д.-Б., всѣ болѣе тонкіе метафизики 17 вѣка «точь въ точь такъ же», какъ Спиноза (р. 357). Такжѣ и воззрѣніе на душу, какъ на идею тѣла, ни въ какомъ случаѣ не составляетъ открытія Спинозы (р. 384). Врачъ изъ Праги Маркусъ Марци, «лѣтски набожный и строго вѣрующій католикъ», долженъ быть названъ, какъ самый значительный пionеръ этого ученія (р. 388). Психологическая и виталистическая теорія англичанина Глиссона, создавшіяся отчасти подъ влияніемъ Маркуса Марци, «являются настолько глубоко обоснованными въ противоположность къ поверхностному легкомыслію «Короткаго Трактата», что беспо-

лезно и невозможно предполагать воздѣйствіе (на Глиссона) несвязныхъ Спинозовскихъ тезисовъ»; напротивъ, естественно, по мнѣнію автора, предположить обратное, и цѣлый рядъ положеній изъ второй книги «Этики» представляются автору «дословно заимствованными у Глиссона» (р. 392).

Авторъ видитъ у Спинозы повсюду только заимствованія и аналогіи. Не удивительно, поэтому, что Спиноза является для него исключительно «анализирующимъ умомъ», «генiemъ собирания» (*Sammelgenie* р. 166), «эклектикомъ» («хотя и не въ дурномъ смыслѣ слова!») (р. 167). Спиноза, по представлению Д.-Б., старается соединить въ себѣ, «какъ въ собирательномъ зеркальѣ, всѣ выдающіяся по значенію мысли, всю мудрость міра» (р. 143). И для этого онъ собираетъ «направо и налево» (р. 286). Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ аналогіи отказываются служить ему, «оказывается несостоятельной и его метафизика» (р. 407). При такихъ обстоятельствахъ понятно, что въ глазахъ автора Спиноза пятнаетъ себя неблагодарностью (р. 126, 137, 224) къ своимъ «учителямъ», имена которыхъ онъ избѣгаетъ приводить «съ досадною скромностью» (р. 42).

Приведенные выдержки, число которыхъ могло бы быть увеличено въ неопределенной степени, достаточно ясно говорятъ о тенденціозности іезуитскаго патера по отношенію къ философу, глазамъ котораго, по мнѣнію Д.-Б., никогда не открывалось «величественное явленіе міровой церкви, сущность сверхестественного, историческая и соціальная понятность учения Христа» (р. 486), притомъ только потому, что Спиноза «слишкомъ рано остановился въ своихъ философскихъ изслѣдованіяхъ». Еще съ болѣшею рѣзкостью выступаетъ тенденціозность автора въ освѣщеніи имъ жизни Спинозы, не смотря на то, что въ предисловіи авторъ проповѣдуетъ справедливость и безпристрастіе и пытается придать своимъ нападкамъ характеръ научности. Нѣсколько взятыхъ и здѣсь для примѣра цитатъ смогутъ опять таки наиболѣе очевиднымъ образомъ вскрыть все то же настроеніе автора по отношенію къ Спинозѣ и въ этихъ біографическихъ данныхъ.

Всѣмъ, читавшимъ произведенія Спинозы, хорошо извѣстны его мысли въ началѣ «Трактата объ исправленіи человѣческаго интеллекта (*Tractatus de intellectus emendatione*)». Всякій человѣкъ самой высокой нравственности могъ бы повторить ихъ по от-

ношению къ себѣ, если бы онъ со всею строгостью разобралъ не только свои поступки, которые со всѣхъ точекъ зрењія могли бы быть безупречными, но и свои самыя сокровенные и мимолетные помыслы. Д.-Б. находитъ нужнымъ толковать ихъ слѣдующимъ образомъ: Спиноза испыталъ на себѣ «тираннію чувственности; онъ страдалъ отъ пожирающей страсти къ богатству и почестямъ и чувствовалъ себя беспомощнымъ передъ этими страстями. Многочисленные друзья, по всей вѣроятности, подстрекали съ своей стороны внутрення вожделѣнія молодого мыслителя». И если, тѣмъ не менѣе, до насъ не дошло ни одного факта, который говорилъ бы въ пользу какого-нибудь выдающагося заблужденія Спинозы, то это можно объяснить только тѣмъ, что «надо было невѣроятно многаго», «чтобы выдаться въ то время, которое непростительно много прощало» (р. 247). Въ сущности, этой одной выдержки было бы достаточно, чтобы оцѣнить стремление автора; но не мѣшааетъ отмѣтить, что вся книга полна безчисленными болѣе или менѣе скрытыми инсинуаций по поводу характера и жизни Спинозы. (См. напр. стр. 115, 152, 198, 243, 255, 449 и мн. др.). И, тѣмъ не менѣе, самому автору чувствуется, что всѣ его обвиненія и ссылки на непритеzательность эпохи не достаточны, чтобы быть противопоставленными положительнымъ результатамъ историческихъ изслѣдований, которые даютъ достовѣрныя указанія на высоко нравственные черты жизни и характера Спинозы, не представляя абсолютно никакихъ точныхъ данныхъ для противоположныхъ допущений. Въ виду этого Д.-Б. прибѣгаетъ еще къ одному средству, а именно онъ пытается, по крайней мѣрѣ, умалить достоинства Спинозы и дѣлаетъ это слѣдующимъ образомъ: «Прямо-таки невѣроятно, говоритъ Д.-Б., какъ мало знакомы историки философіи съ біографіями 17-го столѣтія. Только этимъ можно объяснить то обстоятельство, что они восхваляютъ тихія и прекрасныя добродѣтели Десспинозы, какъ что-то необычное и особенное», и далѣе: «Хотя я знакомъ только съ самой малой долей біографій лицъ, жившихъ съ 1600 по 1700 г., но я съ первого взмаха могъ бы насчитать сотню лицъ, которыхъ по нравственной высотѣ стояли наравнѣ, а частью и выше Десспинозы» (р. 474). Авторъ не приводитъ впрочемъ ни одного изъ этой сотни лицъ, не говоря уже объ умолчаніи имъ его критеріевъ сравненія, для которыхъ врядъ ли вообще можно ожидать въ подобныхъ пси-

хологически-сложныхъ случаяхъ какихъ-либо научныхъ оснований.

Какъ видно изъ двухъ послѣднихъ цитатъ, Д.-Б. находитъ нужнымъ измѣнять въ текстѣ имя (*de*) Спиноза въ Деспиноза; однако для этого пока все еще неѣтъ не только «отличныхъ», какъ утверждаетъ авторъ, но и вообще никакихъ рѣшающихъ оснований. Не говоря уже о томъ, что Спиноза самъ въ единственномъ изданномъ имъ самимъ и подъ своимъ именемъ произведеніи пишетъ *De Спиноза* и что ясное раздѣленіе буквъ *D* и *S* въ его постоянно употребляемой имъ печати, говоритъ за отдѣленіе частицы *de*, но и историческая изслѣдованія въ этомъ направлениі и имѣющіеся сырье материалы ни въ какомъ случаѣ не ведутъ къ необходимости настоятельно желаемаго Д.-Б. измѣненія<sup>1)</sup>.

Приведенныхъ выдержекъ достаточно, чтобы представить себѣ общий характеръ разбираемаго произведенія. Какъ положительныя стороны можно отмѣтить необычайную начитанность автора и обусловленные ею небезинтересные, хотя слишкомъ растянутые, исторические экскурсы, напр., въ описаніи скептика 17-го вѣка или религіозно-этическихъ теченій того времени. Для знакомыхъ со Спинозой книга Д.-Б. можетъ представить поэтому въ ея отдѣльныхъ пунктахъ поводъ къ провѣркамъ и болѣе детальнымъ изслѣдованіямъ и, такимъ образомъ, косвенно можетъ дать положительные результаты.

Однако, эти положительныя стороны отступаютъ далеко на задній планъ передъ тѣмъ общимъ отрицательнымъ впечатлѣніемъ, которое производитъ «новое освѣщеніе» Д.-Б. личности и ученія Спинозы.

Лицамъ, мало знакомымъ съ другими данными о Спинозѣ, книга Д.-Б. дастъ искаженный образъ Спинозы какъ человѣка и какъ философа. Съ этой стороны, появление этой книги не можетъ быть встрѣчено съ сочувствиемъ.

В. Н. Половцова.

<sup>1)</sup> См. напр. давныя, приводимыя Фрейденталемъ въ его трудѣ Die Lebensgeschichte Spinozas etc. Lpz. 1899: „Urkunden“. 109 ff. См. также Baltzer, Spinoza's Entwicklungs an . Kiel 1888 . 60.

I.-B. Séverac. «Vladimir Soloviev». Introduction et Choix de Textes traduits pour la première fois par—Docteur ès Lettres, professeur de philosophie. Paris 1910.

Въ коллекціи «Les grands philosophes français et étrangers», издаваемой фирмой Louis-Michaud въ Парижѣ, появилась книжка, посвященная Владимиру Соловьеву. Если не считать написанныхъ самимъ Соловьевымъ на французскомъ языке сочинений: «Россія и вселенская церковь» и «Русская идея», то трудъ Séverac'a представляетъ собою первую попытку познакомить французскую публику съ возврѣніями великаго русскаго мыслителя.<sup>1)</sup> Авторъ его не впервые пишетъ о идеальныхъ теченияхъ въ Россіи: ему принадлежитъ большая книга объ одной изъ мистическихъ разновидностей русскаго сектантства (*La Secte Russe des Hommes-de-Dieu*. Paris, Cornély, 1906).

«Введеніе» начинается съ краткаго очерка жизни нашего философа. Отмѣтимъ въ немъ одну маленькую неточность. Говоря о причинахъ ухода Соловьева изъ Московскаго Университета, S. объясняетъ его дружбой къ проф. Любимову, за кото-  
рою заступился Соловьевъ. На самомъ дѣлѣ, насколько намъ известно, это заступничество было вызвано не мотивами личнаго характера, а принципиальнымъ несогласиемъ съ мѣрой, принятой противъ проф. Любимова профессорской корпорацией<sup>2)</sup>.

Послѣ краткой, съ любовью написанной характеристики личности Соловьева, S. даетъ изящное и точное изложеніе его воз-  
звѣній и ихъ общую оценку. Въ виду того, что эта оценка предствляетъ для насъ особенный интересъ, мы передадимъ ся наиболѣе существенные моменты.

До Соловьева въ Россіи не было философіи въ томъ значе-  
ніи, какое придаютъ этому слову на Западѣ. Причины ея позд-

<sup>1)</sup> Попытка издать въ нѣмецкомъ переводе „Три разговора“ (покойный кн. С. Н. Трубецкой написалъ для предполагавшагося изданія предисловіе, вошедшее впослѣдствіи въ полное собраніе его сочиненій) не увѣнчалась успѣхомъ. Въ настоящее время, какъ мы слышали, книгоиздательство Dürff'a въ Лейпцигѣ, къ которому перешло изданіе извѣстной „Философской библиотеки“, основанной Киркманномъ, приступаетъ къ переводу Соловьева на нѣмецкій языкъ.

<sup>2)</sup> Ср. очеркъ жизни Соловьева, написанный Э. Л. Радловымъ.

няго развитія S. видить не въ томъ, что русскихъ не тревожатъ «вѣчные вопросы» о смыслѣ дѣйствительности, составляющіе естественную почву для развитія философскаго творчества,— религіозныя исканія въ народѣ, выразившіяся въ безпримѣрномъ развитіи сектантства, религіозность лучшихъ представителей русской литературы Гоголя, Достоевскаго, Голстого доказываютъ какъ разъ обратное. Главнымъ препятствіемъ для развитія самостоятельной философіи S. считаетъ позднее проникновеніе культуры въ Россію, отсутствіе философской традиціи и связанной съ ней интеллектуальной дисциплины. «Къ этому слѣдуетъ прибавить,—замѣчаетъ S.—то обстоятельство, что юные народы склонны получать отъ иностранцевъ интеллектуальные продукты въ такой же степени, какъ и предметы потребленія. Русская интелигенція испытала сильное вліяніе со стороны англійской и французской философіи XVIII вѣка, потомъ со стороны позитивизма XIX вѣка». Несмотря на обаяніе своей личности, Соловьевъ не имѣлъ успѣха, какъ философъ,—«on l'aimait sans le suivre». Россія, «привыкнувъ получать изъ заграницы свои философскія ученія, не могла решиться имѣть, наконецъ, *своего философа*» (стр. 16).

Идеи Соловьева не отвѣчали «духу времени». Въ то же время ихъ пониманію препятствовала поразительная разносторонность его генія. «По богатству и широтѣ своихъ знаній, по глубинѣ своихъ интересовъ онъ можетъ въ самомъ дѣлѣ быть поставленъ на ряду съ величайшими представителями человѣческаго рода» (стр. 16). Но «несмотря на то, что во всѣхъ его произведеніяхъ выступаетъ прежде всего философъ, содержаніе ихъ отличается крайнимъ разнообразіемъ. Онъ писалъ стихотворенія, причемъ нѣкоторыя изъ нихъ безупречны какъ по совершенству формы, такъ и по чистотѣ вдохновенія. Онъ занимался литературной критикой... съ глубокимъ вниманіемъ останавливался на политическихъ и соціальныхъ проблемахъ своего времени, изучалъ соціализмъ и политическую экономію. Онъ обнародовалъ рядъ сочиненій по теологии, и его можно назвать «великимъ учителемъ церкви».

«Ему принадлежатъ многочисленныя изслѣдованія по исторіи философіи и науки». Собственная система Соловьева, опирающаяся «на чрезвычайно глубокое знакомство съ философскими ученіями всѣхъ временъ», обнимаетъ теорію познанія, метафизику

природы и человѣка, теодицею, этику индивидуальную и социальную, учение о государствѣ» (стр. 16).

Передавъ при помощи ряда искусно подобранныхъ выдержекъ изъ «Кризиса Западной философіи» и «Критики отвлеченныхъ началъ» главныя положенія этихъ сочиненій и опредѣливъ ихъ основную тенденцію къ гармоническому примиренію религіи, философіи и науки, S. горячо протестуетъ противъ тѣхъ, которые отъ исключительного разнообразія элементовъ, вошедшихъ въ систему Соловьева, заключаютъ къ отсутствію творческой силы и оригинальности въ его идеяхъ.

«Онъ видитъ то, что соединяетъ, лучше чѣмъ то, что раздѣляетъ... Вместо того, чтобы выдавать свою систему за лишенную какихъ бы то ни было точекъ соприкосновенія съ предшествовавшими, Соловьевъ, напротивъ, заботился больше о томъ, чтобы показать то, чѣмъ онъ былъ обязанъ другимъ, нежели то, въ чемъ онъ никому не былъ обязанъ...» (стр. 20). Дарование Соловьева носило не эклектическій характеръ, а синтетический въ лучшемъ смыслѣ этого слова. «Въ этомъ отношеніи онъ напоминаетъ Лейбница, гению котораго въ значительной степени была присуща эта особенность» (стр. 20.) Соловьевъ посвящалъ всѣ свои силы решенію той же задачи, что и Лейбницъ,—примиренію механическаго естествознанія съteleологическимъ и религіознымъ взглядомъ на міръ. «Образованная Россія,—говорить S.—приняла почти безъ ограниченій позитивистическую философію, весь шумный успѣхъ которой основывался на великихъ открытіяхъ естественныхъ наукъ, по отношенію къ которымъ она представляла собою простое обобщеніе. Такъ какъ чистая наука не могла проникнуть въ область великихъ вопросовъ о судьбѣ міра и человѣка, то (ея поклонники) пришли къ молчаливому соглашенію игнорировать ихъ... Владимиръ Соловьевъ напомнилъ, что наука не въ состояніи удовлетворить ни самой себя, ни человѣческій духъ вообще—самое себя потому, что пользуется принципами, которыхъ она не можетъ объяснить. Человѣческій же духъ наука не можетъ удовлетворить потому, что она—только часть его стремленій. Несомнѣнно, Соловьевъ не думалъ предавать проклятию научное знаніе, какъ мнимое и недостовѣрное, онъ хотѣлъ только показать его действительную цѣнность, опредѣлить его истинныя границы... Религія и метафизика въ сущности—два аспекта на одну и ту же вещь. Философія—

это опирающаяся на доказательства религія, переводъ мистическихъ откровеній на логически связанныя положенія». «Значить ли это,—спрашиваетъ S.,—что у Соловьева роль философіи сведена, какъ въ средніе вѣка, къ скромной роли *ancillae theologiae*? Безусловно нѣтъ: достоинство философіи не уступаетъ религіи, обѣ онѣ одинаково необходимы въ системѣ цѣльного знанія...» (стр. 21).

«Благодаря Соловьеву, у русской философіи есть уже свои національные традиціи...» (стр. 30). «Литературное и философское движение какъ въ настоящемъ, такъ и въ ближайшемъ будущемъ будетъ безусловно непонятнымъ, если игнорировать то важное мѣсто, которое мысли Владимира Соловьева отныне занимаютъ среди идей, волнующихъ русскую интеллигенцію» (стр. 30). S. считаетъ моментъ, когда въ самой Франціи возрождается интересъ къ спекулятивной философіи, особенно удобнымъ для ознакомленія своихъ соотечественниковъ съ идеями великаго русскаго мыслителя. Нельзя не признать, что въ тѣхъ рамкахъ, въ которыхъ S. долженъ былъ держаться, сообразуясь съ общимъ характеромъ коллекціи «Les grands philosophes», пред назначенной для самыхъ широкихъ круговъ читателей, свою задачу онъ выполнилъ прекрасно.

Вторая часть книги S. состоитъ изъ отрывковъ:

«Философія и Теософія» (изъ «Философскихъ началъ цѣльного знанія»), «Воплощеніе божественного Логоса»; «Искушенія въ пустынѣ», «Роль Запада и Востока въ обожествленіи человѣка» (изъ «Чтений о Богочеловѣчествѣ»), «Христіанство и революція» (переводъ «Содержанія рѣчи, произнесенной на Высшихъ Курсахъ 13 марта 1881 года»), «О природѣ, о смерти, о грѣхѣ, о законѣ и благодати» и «Образъ Христа какъ провѣрка совѣсти» (изъ «Духовныхъ основъ жизни»), «Аскетизмъ и Нравственность», «О богословскихъ добродѣтеляхъ», «Личность, семья и общество», «Национализмъ и Космополитизмъ» (изъ «Оправданія добра»), «Смертная казнь» (изъ «Права и нравственности»), «Антихристъ» (изъ «Грехъ разговоровъ»), «Идея сверхчеловѣка» и «Тайна прогресса» (изъ «Воскресныхъ писемъ»). Въ концѣ книги данъ дословный переводъ стихотворенія «Бѣдный другъ, утомилъ тебя путь...»

Отмѣтимъ, наконецъ, что въ той же коллекціи «Les grands philosophes» вышла книжка Gillouin'a о Henri Bergson'ѣ—показа-

тель непрерывнаго роста интереса къ этому замѣчательному мыслителю.

**В. Шилкарскій.**

**Новыя книги и брошюры, присланныя въ редакцію.**

**Алавердянцъ, М. Я.** Тесь А. С. Грибоѣдова — Князь Александръ Чавчавадзе — въ характеристицѣ армянскаго историка. Спб. 1910. Ст. 8.

**Аргамакова, Серафима.** Въ дополненіе къ теоріи О. Вейнингера. Полоцкъ 1910. Ст. 34. Ц. 40 к.

**Бондарскій, Б. С.** Сокращенные таблицы десятичной библіографической классификаціи. (Переводъ съ франц.) Москва 1910. Ст. 66. Ц. 50 к.

**Валишевскій, К.** Смутное время. Перев. съ франц. Спб. 1911. Ст. VI+434. Ц. 2 р. 50 к.

**Венгеровъ, В. И.** Проектъ научнаго и международнаго языка. Екатеринбургъ 1910. Ст. 51. Въ продажу не поступаетъ.

**Вырубовъ, Н. А.** Къ вопросу о генезѣ и лѣченіи невроза тревоги комбинированнымъ гипноаналитическимъ методомъ. Москва 1910. Ст. 13.

**Гартманъ, Л. М.** Объ историческомъ развитіи. Москва 1911. Ст. XVI+128. Ц. 60. к. Изд. «Библіотеки для самообразованія». Вып. VII.

**Гартъ.** Почему зашаталась Россія. Спб. 1910. Ст. 230. Ц. 1 р. 25 к.

**Гёффлеръ, Алоизъ.** Основныя ученія логики. Спб. 1910. Ст. IV+219. Ц. 1 р. 50 к.

**Голуновъ Александръ.** Сосуды скудельные. Москва 1910. Ст. 181. Ц. 1 р.

**Грузенбергъ, Семенъ.** Очерки современной русской философіи. Спб. 1911. Ст. 83. Ц. 50 коп.

**Гурій, іеромонахъ.** Філософія буддизма. Казань 1908. Ст. 31.

**Его же.** Буддизмъ и христіанство въ ихъ ученіи о спасеніи. Казань 1908. Ст. 310. Ц. 1 р. 25 к.

**Джемсъ, В.** О человѣческомъ бессмертіи. Переводъ со 2 англ. изданія О. А. С. Москва 1911. Ст. 56. Ц. 30 к.

**Езерскій, Феодоръ.** Русская грамота гражданская и новая народная. Москва 1911. Ст. 32. Ц. 40 к.

**Николай Яковлевич Гrotъ** въ очеркахъ, воспоминаніяхъ и письмахъ товарищевъ и учениковъ, друзей и почитателей. Спб. 1911. Ст. XXV+410. Ц. 2 р.

**Рубакинъ, Н. А.** Люди мысли и труда. Москва 1911. Ст. IV+215. Ц. 70 к.

**Сланскій, В. В.** О границахъ гипнотического воздействиа и его общественномъ значеніи. Спб. 1910 Ст. 41.

**Спиноза, Б.** Политическій трактатъ. Перев. съ лат. и примѣч. С. М. Роговина и Б. В. Чередина. Предисловіе проф. С. А. Котляревскаго. Москва 1910. Ст. XX+157. Ц. 1 р.

**Freud, S.** О психоанализѣ. Москва 1911. Ст. 67. Ц. 50 к.

**Фридрихъ, Н. А.** Бухара. Этнографическій очеркъ. Спб. 1910. Ст. Ц. 25 к.

**Шульговскій, Н. Н.** Кружокъ философіи права профессора Л. I. Петражицкаго при Спб. университѣтѣ. Историческій очеркъ въ связи съ краткимъ изложеніемъ основныхъ идей ученія Петражицкаго. Спб. 1910. Ст. 45. Ц. 50 к.

**Эберъ, Марсель.** Прагматизмъ. Спб. 1911. Ст. 140. Ц. 85.

### Изданія: «Посредника».

**Н. В. Гоголь.** Ревизоръ. Ц. 4 к., лучш. изд. Ц. 8 к.

**В. Лукьянская.** Какой вредъ дѣлаетъ человѣку вино. Ц. 2 к., лучш. изд. Ц. 5 к.

**Е. Горбунова.** Наши зеленые друзья — деревья, Ц. 1 к. лучш. изд. Ц. 3 к.

**А. Пакинъ.** Пора опомниться. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**В. Чертковъ.** Злая забава. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**М. Конопницкая.** Убійца. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**И. Старининъ.** Получка. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**И. Наживинъ.** Бабушка. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**С. Семеновъ.** Хорошое житѣе. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**Его же.** Левониха. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**Его же.** Мареушка сирота. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**Л. Толстой.** Гдѣ любовь тамъ и Богъ. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**А. Пушкинъ.** Станціонный смотритель. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**А. Волгинъ.** Отказались. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**\*\*\* Артабанъ мидянинъ.** Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

**Н. Телешовъ.** Елка Митрича. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.

- И. Франко.** Къ свѣту. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.  
**М. Конопницкая.** Покинутые. Ц. 1 к., лучш. изд. Ц. 3 к.  
**И. Горбуновъ-Посадовъ.** Маякъ № 8. Ц. 40 к.  
**Л. Толстой.**  
Его же. Единая заповѣдь. Ц. 12 к.  
**Ю. Вагнеръ.** Разсказы о свѣтилахъ небесныхъ, въ обложкѣ.  
Ц. 15 к.  
Его же. Разсказы о растеніяхъ, Ц. 18 к.
-

## Ізвѣстія и замѣтки.

Профессорами и преподавателями Психо-Неврологического Института организуются въ наступающемъ 1911 году курсы для врачей, желающихъ пополнить свои знанія по вопросамъ психиатрии и неврологии.

Курсы будутъ читаться въ продолженіе 6 недѣль, съ 15 января по 1-ое марта 1911 года. Лекціи будутъ носить преимущественно практическій характеръ и сопровождаться демонстраціей больныхъ.

Въ настоящее время намѣчены слѣдующіе курсы: 1) Патологическая психологія—А. Ф. Лазурскій, 2) клиника душевныхъ болѣзней—П. А. Останковъ, 3) общая психопатологія—А. В. Герверъ, 4) умственная отсталость и врачебная педагогика—А. С. Грибоѣдовъ, 5) болѣзни спинного мозга—М. С. Добротворскій, 6) діагностика нервныхъ болѣзней—М. Н. Жуковскій, 7) патологическая анатомія нервной системы—В. М. Нарбутъ, 8) болѣзни периферической нервной системы и мышцъ—М. П. Никитинъ, 9) функциональные нервныя болѣзни—Ю. К. Бѣлицкій, 10) хирургическое лѣченіе нервныхъ болѣзней—Л. М. Пуссенъ, 11) физические методы лѣченія нервныхъ болѣзней и травматической заболѣванія нервной системы—А. И. Карпинскій, 12) бальнеологія и климатологія—Н. Ф. Чигаевъ, 13) Введеніе въ судебную психопатологію—П. Я. Розенбахъ.

Помимо перечисленныхъ курсовъ предполагается курсъ ученія о гипнозѣ, внушеніи и психотерапіи. Означенный курсъ будетъ читаться профессоромъ В. М. Бехтеревымъ или профессоромъ А. В. Герверомъ для г.г. врачей одновременно съ студентами Психо-Неврологического Института.

Плата за слушаніе лекцій опредѣлена въ 30 рублей. Члены Общества взаимопомощи врачей, пріѣзжающіе въ С.-Петербургъ для научнаго усовершенствованія платятъ 25 руб.

Запись на курсы производится ежедневно отъ 11 до 1 ч. въ Канцеляріи Психо-Неврологического Института (Невскій пр. № 104). Курсы состоятся при условіи, если запишется не менѣе 20 слушателей.

## Полемика.

### Отвѣтъ проф. Новгородцеву.

(По поводу его критической статьи: „Русскій послѣдователь Германа Когена“ (Вопросы философіи и психологіи. Кн. 99, сентябрь—октябрь 1909 г.), направленной противъ моей книги: „Основы философіи права въ научномъ идеализмѣ. Марбургская школа философіи: Когенъ, Наторпъ, Штаммлеръ и др.“. Томъ I. Москва, 1908).

#### I.

Система Германа Когена «предстаетъ» проф. Новгородцеву «во всей скудости и беспомощности своего кабинетного измышленія», а его «русскій послѣдователь», по словамъ проф. Новгородцева, отличается слѣдующими качествами своего характера и особенностями въ отношеніи къ предмету своего изслѣдованія: онъ «стоитъ не на научной, а на схоластической точкѣ зреѣнія», онъ «небреженъ въ подробностяхъ», «неряшливъ въ обработкѣ цѣлаго», словомъ, «дилеттантъ», онъ «пристрестенъ къ Когену», онъ «изложилъ Когена... развѣ только московскаго», далъ «развѣ только Когена-Савальскаго», онъ «вѣритъ въ Когена, какъ мусульманинъ въ Магомета», онъ «совершенно не понимаетъ», «даже и не подозрѣваетъ», «не умѣетъ разбираться въ чужихъ мнѣніяхъ», онъ «стоитъ на пути суевѣрнаго догматизма» и т. п.

Таковы обвиненія. Но чѣмъ сурою приговоръ, тѣмъ тщательнѣе должны быть взвѣшены доказательства. Отрицая за противниками всякое значеніе въ наукѣ, тѣмъ самыми возносятъ себя на высоту, которая обязываетъ ко многому. Естественно спросить: имѣются ли здѣсь также и достаточныя основанія, или передъ нами выражаясь мягко, печальное недоразумѣніе? Чтобы разрешить этотъ вопросъ, обратимся къ разбору доказательствъ.

Но прежде нѣсколько словъ pro domo sua. Защита моя противъ проф. Новгородцева можетъ показаться въ нѣкоторой своей части споромъ не по существу. Но это не вина защиты, которая связана тѣмъ, въ чёмъ обвиняютъ, и не обязана доказывать больше противъ того, что предъявилъ обвинитель. Если поэтому вниманіе моего критика обращено не только на изложеніе доктрины научнаго идеализма, составляющей предметъ спора, но также (и притомъ въ весьма значительной мѣрѣ) и на характеръ критикуемаго автора, которому приписываются почему-то различные качества души и сердца, то и мнѣ приходится, къ сожалѣнію, говорить о томъ же. Я остановлюсь, впрочемъ, на характеристикахъ, имѣющихъ объективный интересъ, куда относятся упреки въ дилеттантствѣ и догматизмѣ, затрагивающіе научное достоинство моей работы въ наибольшей степени. Что критикъ мой усердно старается приписать мнѣ, кромѣ того, сектантство, фанатизмъ, мусульманство и т. п., то всѣ эти «возраженія» и ихъ тенденція, любопытныя, какъ полемической приемъ, подлежать обсужденію этическому и отчасти эстетическому. Этую сторону дѣла я обойду молчаніемъ.

## II.

На переднемъ планѣ своихъ возраженій проф. Новгородцевъ поставилъ «нѣкоторая изъ второстепенныхъ упущеній, г. Савальскаго», долженствующія доказать его «дилеттантство въ мелочахъ и подробностяхъ».

Логическая конструкція доказательствъ критика состоить здѣсь въ томъ, что въ нихъ мнѣ сначала приписывается невѣрная мысль, а потомъ она съ негодованіемъ опровергается<sup>1)</sup>. Что я въ данномъ случаѣ не преувеличиваю, легко показать.

Откуда, спрашиваетъ проф. Новгородцевъ, г. Савальскій взялъ,

1) „Называется эта ошибка ignoratio elenchi или mutatio elenchi... въ древности замѣтили, что чаще всего подобная ошибка встрѣчается при спорахъ, когда комунибудь надо когонибудь опровергнуть: взамѣнъ опровергаемаго сужденія своего противника очень часто опровергаютъ другое, а думаютъ, что побѣдили противника. Примѣромъ подобной ошибки служатъ всѣ разсужденія (они могутъ быть по существу вполнѣ правильными), которыя, что называется, не относятся къ дѣлу“. Проф. А. И. Введенскій: „Логика, какъ часть теоріи познанія“. Спб. 1909 стр. 156.

что системы философії базируютъ всякий разъ на *одномъ* источнике познанія; почему онъ утверждаетъ, что материализмъ опирается только на чувственный опытъ, когда со временемъ Демокрита въ немъ можно обнаружить умозрительные и метафизические элементы, почему идеализмъ считается опирающимся только на разумъ, если у цѣлаго ряда идеалистовъ можно отыскать ярко выраженные мистические элементы»... напримѣръ, у Шеллинга, какъ замѣчаетъ далѣе мой критикъ, «романтические и религіозные».

Критикъ мой пожелалъ не замѣтить, что я говорю не о философахъ, а о системахъ философії. Цитируя мои слова, онъ передаетъ мою мысль какъ утвержденіе о томъ, что «*системы философії базируютъ*» и т. д., а потомъ въ опроверженіе моей мысли ссылается не на системы философії, а на отдѣльныхъ философовъ, Демокрита и Шеллинга, что далеко не одно и то же, какъ это можно видѣть на примѣрѣ Шеллинга, создавшаго, по указанію Виндельбанда <sup>1)</sup>, до пяти философскихъ системъ <sup>2)</sup>.

Что въ познаніи вообще участвуетъ и чувственность, и разумъ и интуиція—этого не отрицалъ ни одинъ философъ. Но споръ шель и идетъ о томъ, что является послѣдней инстанціей въ решеніи вопроса объ объективномъ познаніи, и на чемъ, следовательно, можно и должно базировать зданіе *систематической* философії. Поэтому съ гносеологической точки зрѣнія, т.-е. въ отношеніи къ возможнымъ источникамъ познанія, философскія системы обнаруживаютъ тенденцію къ монизму, т.-е. утвержденію какого-либо одного изъ источниковъ познанія въ качествѣ критерія и основы объективнаго познанія.

Или проф. Новгородцевъ думаетъ, что принятая въ большин-

<sup>1)</sup> Windelband, Gescl. d. Phil. 1889, Bd. II, S. 234.

<sup>2)</sup> Я не говорю уже о томъ, что ссылка на Демокрита, какъ на материалиста, по меньшей мѣрѣ спорна. Цѣлый рядъ новѣйшихъ исследователей считаетъ Демокрита не материалистомъ, а научнымъ идеалистомъ. См. напр. Cohen, Plato's Ideenlehre und Mathematik, Marburg, 1879, S. 2; Natorp, Forschungen zur Geschichte des Erkenntnisproblem, 1884, S. 164—208; его же, Ethika des Demokritos. Text und Untersuchungen, 1893; Kühnemann, Die Grundlehren der Philosophie, S. 130 и слѣд.; Enrico de Portu, Galileis Begriff der Wissenschaft, 1904, S. 7; Otto Buck, Die Atomistik und Faradays Begriff der Materie, 1905, S. 23 и слѣд.; Kinkel, Geschichte der Philosophie, 1906, Bd. I. S. 213 и слѣд.; Vorländer. Geschichte der Philosophie, Bd. I. 2 Aufl. S. 55, Hartmann, Platos Logik des Seins, 1909, S. 59, 246.

ствѣ исторії философії класіфікація системъ въ отношеніи ихъ къ источникамъ познанія принципіально не вѣрна? Или нельзя назвать учение Локка сенсуализмомъ, а учение Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта раціонализмомъ, ибо всѣ они пользовались не однімъ источникомъ познанія, а нѣсколькими?

Но далѣе, философскія системы прянто класіфицировать еще какъ міровозрѣнія и жизнепониманія, напр., материализмомъ можно назвать и міровоззрѣніе и жизнепониманіе, точно также и подъ идеализмомъ можно разумѣть то и другое. Утверждая въ своей книгѣ, что системы философії базируются на одномъ изъ трехъ возможныхъ источниковъ познанія: чувственномъ опыте, разумѣ, интуиціи, и въ своихъ заключеніяхъ приводятъ къ міровоззрѣніямъ материализма, идеализма, мистицизма,— я вовсе не хочу сказать, что между источниками познанія и міровоззрѣніями существуетъ вотъ такое то отношение, а не другое, т.-е., что если кто базируется на чувственномъ опыте, то придетъ къ материализму, а если на разумѣ, то непремѣнно къ идеализму и т. д.; я просто говорю о системахъ въ отношеніи къ источникамъ познанія: бываютъ такія-то и такія-то; о системахъ, какъ міровоззрѣніяхъ: бываютъ такія-то и такія-то. Обѣ класіфікаціи движутся въ разныхъ плоскостяхъ, и аналогіи между ними всегда будуть носить, какъ очевидно, случайный характеръ.

Тотъ же порокъ въ доказательствахъ я вижу и въ дальнѣйшихъ возраженіяхъ моего критика, указывающихъ на мои якобы «странныя утвержденія въ области юриспруденціи».

Проф. Новгородцевъ пишетъ: «На стр. 216 г. Савальскій говоритъ обѣ открытий огромной важности, дѣлающемъ эпоху въ конструкціи понятій юриспруденцій. Это открытие заключается въ томъ, что юридическое отношение имѣетъ свои апріорные условія, именно субъектъ, объектъ, отношение и правило отношенія».

Долженъ замѣтить, что ни на стр. 216, ни на какой либо другой страницѣ на всемъ протяженіи моей книги я ничего подобнаго не говорю и не могъ говорить. На стр. 216 я говорю слѣдующее: «...какъ теорія научного опыта состояла въ открытии всѣхъ понятій a priori по ихъ числу, порядку и взаимоотношенію, такъ и теорія юридического опыта будетъ состоять въ открытии его a priori по числу, порядку и взаимоотношенію, при чёмъ три дедукціи критической методы должны найти здѣсь свое

приложение, причемъ и здѣсь решающее значение будетъ принадлежать не метафизической и психологической, а трансцендентальной». И далѣе: «субъектъ, объектъ, отношение и правило отношенія и суть логической условія, которая дѣлаютъ его возможнымъ».

Сличивъ между собою этотъ текстъ стр. 216 и возраженіе на него проф. Новгородцева, легко видѣть слѣдующее: во-первыхъ, возраженіе *искажаетъ* прежде всего буквальный смыслъ моего утвержденія. Ибо я, какъ видно изъ буквально приведенного мною текста, говорю объ *a priori* не юридического отношенія, а *юридическую опытъ*, совершенно опредѣленно подчеркивая, что говорю здѣсь объ *a priori юридическую опыта* по аналогіи съ *a priori научную опыта* (т.-е. опыта естествознанія). Что причинное отношеніе конституируется, какъ отношеніе между А (причиной) и В (дѣйствиемъ), это знали и до Канта, но Кантъ первый сказалъ, что причинность есть *a priori научного опыта* («условіе возможнаго опыта»). Точно такъ же, такова мысль въ моей аналогіи, обстоитъ дѣло и въ юриспруденціи. Что юридическое отношеніе конституируется какъ отношеніе между А (субъектомъ) и В (объектомъ)—это, разумѣется, всѣмъ извѣстно. Но я говорю не объ этомъ, я говорю, что юридическое отношеніе есть *a priori юридического опыта*. Не юридическое отношеніе имѣетъ *a priori*, а оно само есть *a priori юридического опыта*—вотъ буквальный смыслъ моего утвержденія.

Но проф. Новгородцевъ *искажаетъ* здѣсь мою мысль не только по ея буквальному смыслу, но и логически. Приписывая мнѣ утвержденіе объ *a priori юридического отношенія*, онъ называетъ эту мысль «банальной». Но, повторяю, я говорю не объ *a priori юридического отношенія*, а объ *a priori юридического опыта*, и затѣмъ, говорю объ *a priori* не въ *банальномъ*, а въ *Кантовскомъ*, въ *трансцендентальномъ* смыслѣ. Въ связи съ учениемъ объ *a priori юридического опыта* у меня стоитъ учение о метаюридическихъ понятіяхъ, т.-е. о понятіяхъ, запредѣльныхъ юридическому опыту. Эти понятія я раздѣляю далѣе на трансцендентныя, какъ законъ причинности и, следовательно, всѣ *каузальная теорія права*, и трансцендентальныя, какова идея естественного права. Эту архитектонику понятій съ раздѣлениемъ ихъ на трансцендентныя и трансцендентальныя я отношу къ сущности трансцендентального метода, и учение о правѣ, по-

строенное по этому методу, называю «критикой силы юридического суждения». Къ сожалѣнію, проф. Новгородцевъ не сдѣлалъ *ни одною* замѣчанія противъ моего пониманія трансцендентального метода, каковую тему *всего* своего изслѣдованія я ставлю уже во Вступленіи (стр. 10, 11, 12) и *ни одною* замѣчанія противъ моего истолкованія идеи естественного права, которой я посвящаю почти весь послѣдній отдѣлъ моей книги.

Вполнѣ естественно, что проф. Новгородцевъ допускаетъ и третью ошибку въ своемъ возраженіи, относя мое утвержденіе, что мысль объ а priori юридического опыта должно считать открытиемъ огромной важности для науки юриспруденціи, къ числу «второстепенныхъ упущеній». Если бы проф. Новгородцеву удалось доказать, что здѣсь дѣйствительно ошибка и упущеніе, то это была бы далеко не второстепенная ошибка, а ошибка такой важности, которая была бы прѣтогъ феодосъ всей моей книги. Однако, проф. Новгородцевъ не только не опровергъ здѣсь моихъ доказательствъ, но даже ихъ не упомянулъ.

Что же касается ученія объ а priori юридического опыта въ трансцендентальномъ смыслѣ, то здѣсь, не смотря на смѣлое заявленіе моего критика, что де «отъ этого мнимаго открытія юриспруденція даже не пошевельнется; я наоборотъ утверждаю, что юриспруденція уже «пошевельнулась» и, по крайней мѣрѣ, «шевелится». Въ подтвержденіе своихъ словъ я могъ бы указать на Штаммлера, который не такъ далекъ отъ моего мнѣнія. Ибо Штаммлеръ въ своей статьѣ: *Unbestimmtheit des Rechtssubjectes*<sup>1</sup>), стремясь дать дедукцію понятія субъекта и объекта права, говоритъ, что «оба эти понятія суть основныя понятія науки права (*Grundbegiffe der Wissenschaft des Rechtes*), т.-е. того метода юриспруденціи, который сводить къ единству всякое особое содержаніе права (S. 31).

Что «основныя понятія науки права» значатъ на языкѣ Штаммлера то же самое, что я называю а priori опыта въ юридическомъ смыслѣ, въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Выполняя же дедукцію этихъ основныхъ понятій въ духѣ научнаго идеализма, Штаммлеръ говоритъ: «наша юридическая литература до сихъ порѣ не даетъ рѣшенія этого вопроса. Сколько я

<sup>1)</sup> См. Zeitschrift für die Juridische Facultät in Giessen zum Universitätsjubileum. Giessen, 1907.

вижу, она даже и не ставила вопроса въ такой форме» (O. с. S. 21, курсивъ мой).

Что Штаммлеръ, отмѣчая здѣсь новизну своихъ построеній, правъ, легко видѣть на замѣчаніяхъ проф. Новгородцева, касающихся субъекта права и содержащихъ цѣлый рядъ недоразумѣній.

Прокитировавъ мои слова: «юриспруденція, какъ намъ извѣстно, различаетъ правоспособность и дѣеспособность юридического субъекта и эту послѣднюю считаетъ рѣшающимъ для понятія юридического субъекта, такъ какъ правоспособный, но не дѣеспособный есть *persona alieni juris*, а не *persona sui juris*, т.-е. въ юридическомъ смыслѣ не есть вполнѣ родившійся, вполнѣ образовавшійся человѣкъ-лицо», —протицировавъ эти слова, проф. Новгородцевъ замѣчаетъ: «я не допускаю мысли, чтобы г. Савальскій не зналъ, что рѣшающимъ моментомъ для признанія субъекта права является не дѣеспособность, а правоспособность».

Таково возраженіе. Нетрудно видѣть, въ чемъ лежитъ недоразумѣніе. Я говорю о *понятіи* юридического субъекта, а мой критикъ говоритъ о *признаніи* юридического субъекта. Различая же эти понятія, я употребляю юридические термины не «въ разговорномъ ихъ значеніи», какъ хочетъ приписать мнѣ мой критикъ, а именно въ строго-юридическомъ, точнѣ же говоря, въ критико-философско-юридическомъ смыслѣ. Какъ справедливо отмѣтилъ Штаммлеръ въ своей цитированной выше статьѣ, въ проблемѣ субъекта права необходимо различать три вопроса: *что* есть субъектъ права, *кою* данное положительное право считаетъ (признастъ) за субъекта права, и *можно ли* считать (признать) это содержаніе права за принципіально вѣрное или нѣтъ.

Какъ очевидно при малѣйшемъ напряженіи мысли, *понятіе* субъекта права есть логическая величина, есть, въ своемъ составѣ, совокупность признаковъ, совокупность отношеній, по Еллинеку, или, говоря образно, узелъ юридическихъ связей, который можетъ быть больше или меньше; это понятіе есть величина *перемѣнная (variabel)*<sup>1)</sup>; можно бы сказать величина отъ 0 до 1 (напр., рабъ и *pater familias*). Эту величину опредѣляютъ такъ называемыя *условія правоспособности* и *дѣеспособ-*

1) Hölder, Ueber natürliche und juristische Personen, 1906, S. 112; 115—117. Binder, Das Problem d. jur. Persönl. 1907, S. 40—41; 61.

ности, какъ рожденіе, возрастъ, подданство, сословіе, религія, здоровье, гражданская честь и проч. Что это понятіе субъекта права, т.-е. логическій составъ этого понятія, опредѣляется не только условіями правоспособности, но и дѣеспособности, въ этомъ едва ли можно сомнѣваться, ибо въ составъ логическаго понятія о субъектѣ права, каковое понятіе не есть ни вещь, ни человѣкъ, а совокупность отношеній (*relationes*), несомнѣнно входятъ моменты правоспособности и дѣеспособности.

Вѣдь въ томъ разсужденіи, которое беретъ у меня проф. Новгородцевъ, я вовсе не поднимаю вопроса объ отношеніи между правоспособностью и дѣеспособностью. Между прочимъ замѣчу, что то отношеніе между этими понятіями, которое склоненъ, повидимому, утверждать проф. Новгородцевъ а именно, что опредѣляющимъ является здѣсь понятіе правоспособности—далеко на всѣми раздѣляется въ литературѣ<sup>1)</sup>.

Но я вовсе не затрагиваю этого вопроса. Я говорю о логическомъ составѣ понятія субъекта права. Я говорю и подчеркиваю, что есть *personae sui juris* и *personae alieni juris*, полноправные и неполноправные, различие между ними въ дѣеспособности.

Что же касается утвержденія проф. Новгородцева, что рѣшающимъ моментомъ для признанія субъекта права является правоспособность, то это и вѣрно и невѣрно. Ибо можно спросить, о какомъ признаніи идетъ рѣчь. Если о признаніи со стороны положительного права, то вѣдь положительное право, какъ это показалъ проф. Петражицкій, знаетъ и такихъ субъектовъ права, какъ священные дубы и рощи, вѣдмы и лѣшіе и вообще подчеловѣческія и сверхчеловѣческія существа. Очевидно, что о правоспособности всѣхъ такихъ субъектовъ права можно говорить лишь въ очень условномъ, и именно въ техническомъ смыслѣ, въ смыслѣ т.-е. техническаго момента въ юридическомъ оборотѣ. Если же говорить о признаніи субъекта права не въ смыслѣ положительного права, а въ смыслѣ критико-фи-

<sup>1)</sup> Es ist eine uns so gelautige Vorstellung, dass beide grundverschiedene Begriffe sind, dass wir ohne Weiteres geneigt sind, eine Vermengung beider für einen groben Verstoss gegen die juristische Anfangsgründe zu betrachten. Und doch hat kein Geringerer als Brinz bereits gelehrt, dass die Rechtsfähigkeit „etwas von Handlungsfähigkeit sei“ (Brinz, Pand. II Aufl. S. 175). Binder, Das Problem d. jurist. Pers. 1907. S. 61—62; см. и сл.

лософскомъ и о правоспособности, какъ способности имѣть права въ смыслѣ качества, принадлежащаго съ научно-философской точки зрења только нравственно-разумной природѣ человѣка, то здѣсь получится опять новый порядокъ понятій (см. у меня стр. 242 и примѣчаніе <sup>1)</sup>).

Не могу также не выразить своего удивленія и замѣчанію проф. Новгородцева, будто мнѣ не извѣстна формула Гегеля, утверждающая разумность дѣйствительного. Проф. Новгородцевъ, бросивъ въ меня здѣсь укоризненное «стыдно не знать» этой формулы, и здѣсь совершенно неосновательно пожелалъ найти случай еще разъ засвидѣтельствовать «дилеттантство» своего противника, который сохраняетъ въ своей головѣ почему-то все время невѣрныя формулы. Проф. Новгородцевъ могъ бы на стр. 107 моей книги прочитать буквально слѣдующее: «Гегель въ своемъ изложеніи категоріи должностнаго, слишкомъ энергично подчеркнулъ моментъ его бытія и, провозгласивъ положеніе, «что дѣйствительно, то разумно», далъ поводъ, хотя и не совсѣмъ основательно, думать, что тѣмъ самымъ въ конечномъ итогѣ построеній Гегеля стирается необходимое различіе категорій существаго и должностнаго». И самая цитата, и ея истолкованіе показываютъ съ очевидностью, что мнѣ извѣстны и точныя слова Гегеля, и ихъ смыслъ. Я очень сожалѣю, что мой критикъ не увидалъ ни этого мѣста моей книги, ни другого на стр. 335, гдѣ я словами Когена говорю: «этотъ послѣдній (т.-е. Гегель) утверждаетъ, что «все дѣйствительное разумно», тогда какъ Кантъ сказалъ бы: «что разумно не есть дѣйствительно, но оно должно сдѣлаться дѣйствительнымъ». Вмѣсто того проф. Новгородцевъ указываетъ третье мѣсто (стр. 359), гдѣ я упоминаю мысль Гегеля не въ истолкованіи ея у писателей, стремившихся реабилитировать Гегеля, а беру эту мысль въ томъ другомъ пониманіи Гегеля, которое повело къ утвержденію и признанію разумности именно существующаго, а не дѣйствительнаго.

Но всѣ возраженія моего критика, долженствующія доказать мое дилеттантство, блѣднѣютъ передъ слѣдующимъ.

„На стр. 310,—говорить проф. Новгородцевъ,—г. Савальскій пишетъ: «въ решеніи этого вопроса (т.-е. вопроса о значеніи и цѣнности государства) Когенъ стоитъ всецѣло на точкѣ зрења новой и новѣйшей культуры, высказанной впервые Макіавелли и формулированной потомъ у Гого Гроція: «civitas est perfectus

coetus liberorum hominum». «Странно—говорить далѣе проф. Новгородцевъ—, что точка зрења новой и новѣйшей культуры характеризуется у г. Савальского формулой, имѣющей весьма древнее происхожденіе». «Если бы, говорить далѣе проф. Новгородцевъ, онъ спрavился хотя бы въ руководствѣ Чичерина по Исторіи политическихъ ученій, онъ узналъ бы, что опредѣленіе Гроція заимствовано у Цицерона и Аристотеля»... И далѣе: «Но всего болѣе странно, что у г. Савальского и Макіавелли, и Гуго Гроцій и Когенъ ставятся на одну доску. Непонятно... и т. д.

«Странно»... «еще болѣе странно»... «непонятно»... Мало того, съ увлечениемъ нагромождая свои возраженія, проф. Новгородцевъ передъ этимъ подготавляетъ читателя къ еще болѣе «непростительнымъ промахамъ г. Савальского», предупредительно замѣчая, что они «относятся къ области философіи права, составляющей специальный предметъ его занятій».

Въ свою очередь спѣшу предупредить читателя, что та же область составляетъ специальный предметъ занятій и проф. Новгородцева. Затѣмъ прошу читателя, интересующагося нашимъ споромъ, послѣдовать совѣту проф. Новгородцева и сдѣлать соотвѣтствующія справки. Раскроемъ Исторію политическихъ ученій Чичерина. На стр. 86 первого тома читаемъ опредѣленіе Цицерона: *Populus autem non omnis hominum coetus, quoque modo congregatus, sed coetus multitudinis, juris consensu et utilitatis*, а на стр. 14 второго тома находимъ опредѣленіе Гроція: *civitas est coetus perfectus liberorum hominum juris fruendi et communis utilitatis causa sociatus*. Что же касается Аристотеля, то у него находимъ опредѣленіе такое: *ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐδίνεται*<sup>1)</sup>.

Обращаю вниманіе, что *въ отличие отъ* формулы Аристотеля *въ* формулы Гроція сказано не просто союзъ (*coetus, κοινωνία*), а *совершенный союзъ* (*perfectus coetus*), а *въ отличие отъ* Цицерона сказано: не просто *coetus*, а *perfectus coetus* и не просто *hominum*, а *liberorum hominum*.

О томъ, что эти *правки* Гроція къ формуламъ Аристотеля и Цицерона знаменуютъ собою духъ новой культуры и привнесены отчасти и подъ влияниемъ Макіавелли, объ этомъ знаетъ

<sup>1)</sup> Aristotelis Op. p. ed. Ac. Bor. Berlin, 1831; т. II. Политика Г. с. 6. р. 1279, а 21.

каждый студентъ, слушавшій въ свое время курсъ политическихъ ученій у проф. кн. Е. Трубецкого, трактующаго данный вопросъ при изложении ученія Г. Гроція<sup>1)</sup>.

Такимъ образомъ, не говоря уже о томъ, что даже древнѣйшее происхожденіе той или другой формулы можетъ [при случаѣ] характеризовать тенденціи и гораздо позднѣйшей культуры (какъ, напр., тенденціи католической церкви характеризуются формулами, имѣющими весьма древнее происхожденіе, или тенденціи научнаго идеализма марбургской школы характеризуютъ формулы, которыхъ можно найти у досократиковъ и особенно у Платона), —не говоря уже объ этомъ, въ данномъ случаѣ мы имѣемъ и формулу позднѣйшаго происхожденія. Если поэтому я и ставлю на одну доску Макіавелли, Гуго Гроція и... Когена, то, разумѣется, не въ томъ, въ чёмъ они различаются, а въ томъ, что у нихъ есть общаго,—именно въ понятія государства, какъ «совершенного союза», состоящаго изъ «свободныхъ людей».

### III.

За исключениемъ «второстепенныхъ упущеній» критикуемаго автора, всѣ остальные свои возраженія проф. Новгородцевъ склоненъ считать, очевидно, возраженіями противъ основного и главнаго. Но съ этимъ едва ли можно согласиться. Дѣло въ томъ, что спору о догматизмѣ, каковой споръ могъ бы дѣйствительно имѣть глубоко философскій интересъ, проф. Новгородцевъ придалъ исключительно личный характеръ.

Какъ очевидно, въ отношеніи ко всякому писателю, выступающему въ философіи, можно говорить о догматизмѣ въ двоякомъ смыслѣ: или о догматизмѣ философской доктрины, имъ защищаемой, или о его личномъ догматизмѣ, т.-е. о его догматическомъ отношеніи къ извѣстной доктринѣ, выражающемся въ томъ, что онъ не стремится ее продолжить, восполнить и т. д. Къ сожалѣнію, проф. Новгородцевъ совсѣмъ не касается интереснаго и объективно важнаго вопроса о возможномъ догма-

<sup>1)</sup> Хотя и Аристотель считалъ государство совершеннымъ союзомъ, однако содержаніе этого понятія въ формулѣ Г. Гроція вѣсколько другое, ибо Г. Гроцій имѣлъ въ виду подчеркнуть въ ней также и свою оппозицію притязаніямъ церкви, стремившайся на ряду съ государствомъ покрыть жизнь человѣка „всеобщностью своихъ задачъ“.

тизмѣ въ философії научнаго идеализма, противникомъ которой онъ является, а говоритъ исключительно о моемъ личномъ доктринализмѣ. Но и этотъ вопросъ, самъ по себѣ законный, въ изложеніи проф. Новгородцева получилъ характеръ, весьма далекій отъ обсужденія *sine irae et studio*. И это тѣмъ болѣе прискорбно, что логическія основанія, на которыхъ покоятся эти упреки, далеко не безупречны и, подобно возраженіямъ, разобраннымъ нами въ предыдущей главѣ, способны иногда привести въ большое смущеніе. Что я и здѣсь не преувеличиваю, легко показать на примѣрахъ.

Прочитавъ мою мысль о томъ, что по понятіямъ марбургской школы процессъ интерпретаціи Канта закончился и данъ выходъ черезъ Канта и за Канта, проф. Новгородцевъ пишетъ: «Во всей разбираемой диссертациі едва ли найдется мѣсто болѣе характерное, — тутъ сказался весь ея доктринализмъ, вся ея сколастическая вѣра»... Почему же однако? «Дѣбывая свои рѣшенія и отстаивая ихъ отъ нападеній скептицизма, наука — аргументируетъ проф. Новгородцевъ — не можетъ считать своего достоянія законченнымъ и незыблѣмымъ, она предполагаетъ возможность критики, возможность новыхъ рѣшеній» (стр. 648).

Но, прежде всего, развѣ *наука и интерпретація* Канта одно и то же? Развѣ считать законченной интерпретацію Канта значитъ считать законченнымъ достояніе науки, значитъ отрицать возможность критики и новыхъ рѣшеній? Спѣшу увѣдомить проф. Новгородцева, что научный идеализмъ, къ которому я примыкаю, какъ разъ и утверждаетъ, что наука никогда не можетъ считать своего достоянія законченнымъ, и онъ не только утверждаетъ, но и обосновываетъ это сужденіе. Безконечность научнаго познанія есть основной тезисъ логики научнаго идеализма, точно такъ же какъ безконечность нравственной задачи есть начало и конецъ его этики.

Но далѣе, говоря о томъ, что «интерпретація Канта закончилась», я высказываю взглядъ школы, взглядъ извѣстнаго философскаго направлѣнія, при чёмъ говорю о законченности этой интерпретаціи, какъ очевидно, не въ абсолютномъ смыслѣ, а въ относительномъ. Мысль моя здѣсь слѣдующая: интерпретація Канта, стремившаяся дать Канта, какъ законченную систему философіи,—эта интерпретація дана у Когена. Не у Куно-Фишера, не

у Файгингера, не у Виндельбанда, не у Риккерта, не у Паульсена и, какъ я старался показать въ своей книгѣ, также не у проф. Новгородцева, а у Когена. Система (первая) Когена есть примѣръ и образецъ исторического изслѣдованія кантовской системы, какъ законченной системы. Обращаю вниманіе, говорю: примѣръ и образецъ... того, какъ нужно интерпретировать систему Канта не какъ отдельныя фразы и предложенія, а какъ систему. Слѣдовательно, въ абсолютномъ смыслѣ интерпретація Канта не только не окончена, а всего лишь правильно начата, каковую мысль я рѣшительно формулирую у себя на стр. 246, прим. 3.

Не менѣе любопытно и слѣдующее «доказательство». Мое утвержденіе, что въ религіозной проблемѣ я склоненъ слѣдовать ближе Наторпу, а не Когену, а въ рѣшеніи юридической проблемы и проблемы соціальной философіи ближе Когену, а не Штаммлеру, проф. Новгородцевъ не нашелъ объяснить лучше, какъ приведя въ параллель моимъ утвержденіямъ положенія сколастической мудрости, что де въ религії нужно держаться авторитета Августина, въ медицинѣ Галена и Гиппократа, въ изученіи природы Аристотеля (стр. 640).

Однако, такая аналогія только потому оказалась возможной, что логическую суть моихъ соображеній мой критикъ обошелъ молчаниемъ, а на именахъ остановился. Между тѣмъ, если я говорю, что въ проблемѣ соціальной философіи и въ проблемѣ права я склоненъ слѣдовать Когену, а не Штаммлеру, то не въ силу какихъ-либо догматовъ, установленныхъ на вселенскихъ или помѣстныхъ соборахъ, а въ силу основаній логическаго разума. Именно я указалъ точно логическія понятія («соціальнаго», «культуры», «науки о цѣляхъ», «richtiges Recht»), въ конструкціи которыхъ Штаммлеръ допустилъ извѣстныя ошибки (перечислены мною на стр. 392, прим.), какъ я объясняю потому, что чистота трансцендентального метода затемнена у Штаммлера психологическими тенденціями (стр. 246). И точно также, на основаніи логическихъ соображеній я примыкаю въ рѣшеніи религіозной проблемы къ Наторпу, а не къ Когену. Именно я указываю, что Когенъ, растворяя религію въ наукѣ, этикѣ и эстетикѣ, не находитъ, такимъ образомъ, для нея соответствующаго трансцендентального мѣста, тѣмъ болѣе, тогда какъ оно, повидимому, лежитъ въ томъ моментѣ сознанія, которое Шлейер-

махеръ назвалъ чувствомъ безконечнаго (стр. 30, прим.; 193, прим.).

Что общаго здѣсь съ утвержденіями схоластической мудрости? И какой догматизмъ нашелъ, далѣе, проф. Новгородцевъ въ томъ добросовѣстномъ исканіи истины, съ какимъ я старался внести, по своему крайнему разумѣнію, цѣлый рядъ и другихъ поправокъ и восполненій къ ученію Когена? Напримѣръ: въ проблемѣ самосознанія (328), въ терминѣ наукъ о духѣ (238, прим. 2), въ колебаніяхъ Когена относительно тезиса ориентированія этики именно въ юриспруденціи, а не въ исторіи (194, прим., 247, прим. 4), кроме того, въ проблемѣ критики силы юридического сужденія (262 и сл.), въ критикѣ категорій естественнаго права (330 и сл.) въ проблемѣ политики права (324, и сл.) и вообще въ критикѣ психологической теоріи права (265 и сл. до 333)?—Не замѣтилъ этихъ исканій мой критикъ, или для доказательства моего догматизма предпочелъ о нихъ умолчать?

Неменьшія недоумѣнія вызываютъ во мнѣ и дальнѣйшія доказательства моего догматизма.

«Я рѣшительно не знаю,—говорить проф. Новгородцевъ,—какъ согласовать.... что Когенъ къ другимъ выводамъ, чѣмъ Кантъ, не пришелъ и однако придалъ «принципіально новый смыслъ» и «другое направлѣніе критической философіи».... Но....но вѣдь въ цитатѣ, приведенной буквально передъ этимъ у проф. Новгородцева, у меня утверждается нечто другое, а именно, что Когенъ (дѣло идетъ, нужно замѣтить, о дедукціи морального закона у Канта) «подчеркнулъ другіе моменты этой дедукціи, чѣмъ это дѣлали философы и комментаторы Канта до сихъ поръ, и, такимъ образомъ, далъ другое направлѣніе для логическаго состава понятій критической философіи. Обращаю вниманіе: говорится не просто «для критической философіи», а говорится: «для логического состава понятій критической философіи», что, въ моемъ изложеніи, какъ я не одинъ разъ отмѣщаю въ своей книгѣ, означаетъ не одно и то же. Подъ логическимъ составомъ понятій критической философіи, т. е. понятій, существующихъ содержаться въ ней, я разумѣю решеніе проблемы «возвращенія къ Канту». Какъ я старался выяснить, я разумѣю здѣсь не только «назадъ къ Канту», но и «впередъ отъ Канта». Первое имѣеть своей задачей возстановить

затерявшееся понимание Канта въ его «собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ», а второе имѣеть задачей продолжить и восполнить учение Канта «въ духѣ автора трансцендентального метода». Можно нападать на первое, можно нападать на второе. Но нельзя смѣшивать ихъ. Необходимость такого различенія очевидна хотя бы изъ слѣдующихъ примѣровъ.

Въ «логическомъ составѣ понятій критической философіи» есть, напр., мысль объ этикѣ, какъ наукѣ,—мысль, ясно намѣченная у Канта (см. у меня стр. 114, прим. 1), а въ изложеніи того же самаго Канта, напр., у проф. Новгородцева, «Канта,—какъ думаетъ проф. Новгородцевъ,—въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ»—этой мысли нѣтъ, ибо проф. Новгородцевъ истолковалъ этическое учение Канта, какъ «область нашихъ лучшихъ чаяній и упованій» (у меня стр. 82 и слѣд.). Не ясно ли, что по отношенію къ такимъ пониманіямъ Канта, яко бы «въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ», Когенъ и далъ принципіально новый смыслъ и другое направленіе для «логического состава понятій критической философіи».

То же самое я долженъ сказать и по вопросу о трансцендентальной дедукціи понятій этики. Проф. Новгородцевъ на стр. 650 дѣлаетъ видъ, будто я упрекаю традиціонное истолкованіе Канта въ томъ, что оно де имѣеть въ виду Канта, а не «Канто-Когена». Традиціонное пониманіе Канта, хочетъ указать мой критикъ, имѣеть де въ виду Канта въ его «собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ», а Кантъ въ истолкованіи Когена съ его идеей ориентированія этики въ юриспруденціи есть мысль, неизвѣстная Канту въ его «собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ». На это я отвѣчаю. Послѣ той работы, которую произвелъ Когенъ въ своей *Kants Theorie der Erfahrung*, говорить о томъ, что традиціонное пониманіе Канта есть изображеніе Канта въ его «собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ», есть чистѣйшая наивность (см. далѣе гл. VI). Что же касается ориентированія этики въ юриспруденціи, то этой идеи въ традиціонномъ пониманіи Канта нѣтъ. Но есть ли она у Канта въ его «собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ»?

На этотъ вопросъ едва ли можно отвѣтить безъ оговорокъ. Я въ своей книжѣ старался показать, что отдѣльные моменты трансцендентальной дедукціи понятій этики даны уже у Канта и подчеркнуты у Когена. Они даны въ проблемѣ этики, какъ

науки, и въ освобождениі ея понятій отъ метафизики и мистици, психологии и натурализма. Объ этомъ я говорю непрерывно на протяженіи всей III главы своей книги, а суть заключеній резюмирую въ тезисѣ IV (см. ниже). Во второй же системѣ Когена эта трансцендентальная дедукція не впервые открыта, а только фиксирована точнѣе и, такъ сказать, вполнѣ технически разработана черезъ и посредствомъ идеи оріентированія этики въ юриспруденціи, почему я и утверждаю, несмотря на всѣ различія, принципіальную тожественность обѣихъ системъ Когена (142 стр.).

И далѣе, что касается формализма Кантовской этики, то и здѣсь я не согласенъ съ замѣчаніями проф. Новгородцева, именно, что де были основанія для упрековъ въ этомъ формализмѣ, что де самъ Когенъ не далекъ отъ этого упрека, между тѣмъ какъ я говорю, что обычный упрекъ Канту въ формализмѣ нравственного закона не имѣеть никакого смысла.

Прежде всего, нетрудно показать, что Когенъ говоритъ совсѣмъ не о томъ формализмѣ нравственного закона, о которомъ говорили и говорятъ комментаторы. И въ самомъ дѣлѣ, чего собственно искали комментаторы Канта въ его категорическомъ императивѣ? Искали въ немъ конкретного содержанія, какъ существующаго въ немъ быть и содержаться, такъ что и поэтому думали: либо нужно изъ категорического императива дедуцировать это содержаніе, либо, если этого сдѣлать нельзя, отбросить категорический императивъ, какъ старую и негодную ветошь, какъ «скудость и беспомощность неудачнаго кабинетнаго измышленія». Но Когенъ показалъ здѣсь ошибку комментаторовъ, указавъ, что какъ нельзя дедуцировать изъ закона причинности того или другого случая природы, того или другого специальнаго закона (напр. закона газовъ, паденія тѣлъ), такъ нельзя дедуцировать изъ категорического императива тѣхъ или другихъ максимъ опредѣленнаго содержанія. Почему же? Потому что и законъ причинности, и законъ свободы не суть законы того или другого случая, не суть специальные законы, а предпосылки и условія всѣхъ возможныхъ специальныхъ законовъ (*die Bedingungen der mГglichen Erfahrung, der Erfahrung 脿berhaupt*). Что это значитъ? Это значитъ: любое явленіе природы подводится подъ законъ причинности и черезъ него конституируется, какъ специальный законъ (напр., газовъ, паденія тѣлъ); любое явленіе

нравственного порядка подводится подъ законъ нравственного разума и въ немъ и черезъ него конституируется какъ специальный случай въ царствѣ свободы. По этому же самому и законъ природы, и законъ свободы, согласно Когену, суть *Ideen*, т.-е. *Grundlagen* и въ то же время *Grundlegungen*. Слѣдовательно, дѣло обстоитъ [вовсе не такъ, что нужно искать конкретнаго содержанія въ категорическомъ императивѣ, это все равно, что искать конкретнаго содержанія въ законѣ причинности, а нужно понять категорической императивъ какъ принципъ нравственности, какъ принципъ критики и оценки разнообразнаго въ этическомъ опыта (въ правовой, государственной, политической, частной и семейной жизни)]. Вотъ этого перехода отъ формы къ содержанію, вотъ этой связи между формой и содержаніемъ, т.-е. вотъ этого методическаго значенія категорического императива и не указалъ, утверждаетъ Когенъ, Кантъ.

Словомъ, Когенъ говоритъ о методическомъ значеніи категорического императива, котораго не указалъ Кантъ, а не о конкретномъ содержаніи въ формальномъ нравственномъ законѣ Канта, котораго искали комментаторы Канта. Упрекать же Канта въ формализмѣ, т.-е. въ томъ, что у него въ понятіи морального закона нѣтъ конкретнаго содержанія — я еще разъ повторяю это, — нѣтъ никакого смысла, ибо это значитъ не имѣть никакого понятія о томъ, что такое вообще трансцендентальный методъ. Ссылка же проф. Новгородцева на Гегеля, для котораго категорической императивъ Канта представлялъ известныя затрудненія въ смыслѣ своего якобы нежелательнаго формализма, ничего не доказываетъ и свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что и у Гегеля было невѣрное представление о трансцендентальномъ методѣ въ смыслѣ Канта. Между тѣмъ, этотъ самый методъ и взять Когеномъ для построенія научной этики. И какъ нельзѧ упрекать математику и физику въ формализмѣ, такъ по тѣмъ же основаніямъ нельзѧ упрекать въ формализмѣ и научную этику.

## IV.

За вычетомъ возраженій, разобранныхъ нами въ предыдущихъ главахъ, получается тотъ остатокъ, который съ нѣкоторыми оговорками можно назвать возраженіями противъ главнаго и основного содержанія моей книги.

Говорю съ нѣкоторыми оговорками, потому что и здѣсь критикъ мой часто уклоняется съ прямого пути, полагая важность не столько въ томъ, чтобы выяснить существо спорнаго предмета, сколько въ томъ, чтобы доказать «дилеттантство» противника. Эта именно тенденція и повела, какъ я думаю, къ слѣдующему: осторожно скользя по поверхности проблемъ, мой критикъ часто отдаѣтся сужденіями слишкомъ общаго характера, отрицаешь безъ доказательствъ тамъ, где эти доказательства очевидно необходимы, касается при этомъ ряда вопросъ, которые хотя и затронуты въ моей книгѣ, но не защищаются мною въ качествѣ тезисовъ, и, наоборотъ, обходитъ полнымъ молчаниемъ цѣлый рядъ положеній, которыя я защищаю какъ тезисы.

Въ ближайшихъ двухъ главахъ я постараюсь это показать.

Передъ нами прежде всего цѣлый рядъ замѣчаній въ родѣ слѣдующихъ: что у меня недостаточно выяснено отношеніе Когена къ Фихте, что у меня недостаточно выяснены предѣлы расхожденія и совпаденія двухъ направленій въ философіи: Виндельбанда-Риккерта и Когена, что у меня недостаточно обращено вниманіе на аналогіи между Когеномъ и Гегелемъ, что я не только не рѣшилъ спора между идеализмомъ, позитивизмомъ и мистицизмомъ, но даже его и не поставилъ, что я недостаточно коснулся вліяній на Когена со стороны другихъ философскихъ теченій и другихъ писателей.

Я удивляюсь этимъ замѣчаніямъ не потому, чтобы я считалъ ихъ вѣрными или невѣрными,—не обѣ этомъ рѣчь, — а потому, что проф. Новгородцевъ придаетъ такимъ замѣчаніямъ *общаго характера* критическое значеніе, существующее выяснить тотъ или другой вопросъ или опровергнуть извѣстное заключеніе. Вѣдь въ такихъ замѣчаніяхъ общаго характера нельзѧ даже усмотрѣть предмета спора. Вотъ, если бы проф. Новгородцевъ указалъ, какие же заслуживающіе вниманія факты въ вопросѣ о вліяніи на Когена другихъ писателей и философскихъ теченій, кромѣ уже указанныхъ мною<sup>1)</sup>, ему извѣстны, а мною не затрону-

<sup>1)</sup> Кромѣ, разумѣется, Канта, я указалъ здѣсь на Фр. А. Ланге, привнеся здѣсь поправку къ изложенію этого вопроса у проф. Новгородцева (см. у меня стр. 25, прим. 1); указалъ затѣмъ въ разныхъ мѣстахъ элементы изъ философіи Фихте и Гегеля (см. ниже прим.), указалъ на обратное вліяніе на Когена нѣкоторыхъ его учениковъ, напр. Штадлера (стр. 24, пр.), ука-

ты, или какихъ именно понятій я не коснулся, рѣшая споръ между школами Риккерта-Виндельбанда, съ одной стороны, и Когена—съ другой, или въ какихъ понятіяхъ, уже затронутыхъ мною<sup>1)</sup>, я допустилъ, быть можетъ, неправильность въ рѣшеніи спора; или какія же именно аналогіи, напрашивающіяся сами собою, какъ говоритъ мой критикъ, между Когеномъ, съ одной стороны, и Гегелемъ—съ другой, онъ имѣеть въ виду, кромѣ уже указанныхъ мною<sup>2)</sup>, и почему неуказанные мною были бы важны для хода и развитія моихъ разсужденій; далѣе, о какой «не-

---

заль, далѣе, что, вдумываясь въ тексты Когена, можно видѣть, что онъ считается и съ современными учеными и теченіями философіи, полемизируя съ ними, но не называя по большей части именъ (стр. 10).

1) Излагая первую систему Когена и анализируя термины Кантовской философіи: критический методъ, опытъ, трансцендентальный, а priori, чистый, формальный, общеобязательный и необходимый, постулять, норма, вещь въ себѣ, нуменъ, приматъ практическаго разума, свобода, личность, императивъ, долгъ, обоснованіе этики, дѣйствіе, настроеніе, норма, цѣнности,teleologический критицизмъ, интеллектуальная совѣсть,—анализируя всѣ эти понятія, я всегда цитирую въ параллель построеніямъ Когена и построенія Виндельбанда и Риккерта, или ихъ послѣдователей, между прочимъ, также и построенія проф. Новгородцева. Излагая же вторую систему Когена, я касаюсь, опять же въ параллель построеніямъ Когена, понятій исторического и иди-видуального въ изложеніи Риккерта, понятія общества въ изложеніи Зиммеля, Штаммлера и Кистяковскаго, юридической проблемы въ изложеніи, между прочимъ, опять же и проф. Новгородцева. Словомъ, всѣ важнѣйшія понятія въ логикѣ, этикѣ и юриспруденціи я старался, по возможности, полностью перечислить, опредѣлить, въ чемъ контроверса между Когеномъ и другими писателями, трактующими ту же проблему, и затѣмъ, по своему крайнему разумѣнію, такъ или иначе решить контроверзу.

2) Касаясь мѣстами отношенія между Когеномъ и Гегелемъ, я попутно указалъ, что діалектический методъ Гегеля отрицается Когеномъ (107, примѣч. 3), что «Абсолютный Духъ» Гегеля считается Когеномъ сданнымъ въ «архивъ человѣческаго разума» (*ibidem*), что тожество мышленія и бытія, утверждаемое Гегелемъ, какъ сущность всего мірового процесса, имѣеть у Когена гораздо болѣе узкое значеніе и относится лишь къ области чистаго познанія (41), что, далѣе, обожествленіе государства у Гегеля и апоѳеоза государства у Когена хотя и аналогичны, но различны (315, 318, прим.), и что, наконецъ, основную ошибку Гегеля Когенъ видѣтъ въ односторонности его философіи въ цѣломъ, стремившейся понять міръ только логически (41, 353).

Что же касается философіи права, то здѣсь я сравниваю построенія Когена не съ построеніями Гегеля, а съ построеніями психологической теоріи права Петражицкаго, такъ какъ мнѣ казалось, что такимъ образомъ легче всего выяснить учение о правовой реальности и правовой закономѣрности въ научномъ идеализмѣ.

выясненности вопроса объ отношениях Когена и Фихте» говоритъ мой критикъ, и что хотѣлъ бы онъ прибавить къ тому, что уже сказано у меня <sup>1)</sup>; и, наконецъ, какихъ понятій я не коснулся, рѣшая споръ между позитивизмомъ, метафизикой (и мистицизмомъ) и критицизмомъ <sup>2)</sup>, — если бы проф. Новгородцевъ назвалъ точно тѣ отдельныя понятія, анализомъ которыхъ въ перечисленныхъ возраженіяхъ онъ у меня не доволенъ, и, съ другой стороны, предложилъ самъ поправки и измѣненія, точно указавъ ихъ, — тогда бы я видѣлъ, въ чёмъ полагается предметъ

1) Что касается Фихте, то я указалъ отношеніе Когена къ Фихте въ слѣдующихъ пунктахъ. Когенъ отрицательно относится къ «Wissenschaftslehre» Фихте, такъ какъ оно, по мысли Когена, есть учение о наукѣ, въ которомъ неѣтъ науки (стр. 27, пр. 1). Но Когенъ съ большими признаніемъ относится къ моральному учению Фихте и къ его построеніямъ въ области соціальной философіи. Въ изложеніи моральной философіи онъ пользуется терминологіей Фихте (300), привнося однако двѣ поправки существенной важности, именно въ учение о приматѣ практическаго разума, которое Когенъ, въ отличіе отъ Фихте, понимаетъ въ методологическомъ, а не въ метафизическому смыслѣ (131), и въ учение о самосознаніи, где Когенъ подчеркиваетъ, что самосознаніе конституируется въ обществѣ нравственно разумныхъ существъ, такъ что не-Я, противостоящее у Фихте Я, должно быть понято не какъ вещь-объектъ, а какъ другой субъектъ (304, 41, 353). Что же касается соціальной философіи, то въ ея основной мысли, въ признаніи и утвержденіи нравственного смысла соціализма, Когенъ всепрѣло примыкаетъ къ Фихте (231). Основную же ошибку Фихте, односторонность его философскаго характера, Когенъ, повидимому, видитъ въ его стремлѣніи понять міръ односторонне этически (41, 353). Этой же односторонностью міропониманія у Фихте объясняются, по моему мнѣнію, ошибки неофихтеанцевъ въ ихъ изложеніи логической проблемы, которую они затемняютъ и исказываютъ привнесеніемъ въ нее этическихъ понятій нормы и должна (22, 75).

2) Что касается мистицизма, то я затронулъ лишь нѣкоторыя изъ понятій этого направлѣнія такъ какъ мистицизмъ почти не оказалъ вліянія на разработку понятій въ юриспруденціи (189, пр.); что же касается позитивизма, который оказывалъ и до сихъ поръ оказываетъ вліяніе на философію права, то я далъ разборъ и, по крайней мѣрѣ, стремился къ этому, всѣхъ главныхъ понятій этой философіи: понятія солидарности въ соліология О. Контя (145), его классификаціи наукъ (150), основныхъ понятій въ Логикѣ Милля (271—275), а разбирая доктрину Петражицкаго, коснулся проблемы этики и права (278 и сл.), а попутно также доктрины Бергбома (203, 207—208) и Еллинека. Что же касается метафизики и критицизма безъ метафизики, то объ этомъ я говорю всякой разъ, какъ только ставится проблема вещи въ себѣ (56—78), примата практическаго разума (131 и сл.), научной этики (82—130), естественного права (202—216).

споря, и могу ли я благодарить критика за цѣнное указаніе или считаю возможнымъ и должно отклонить возраженіе.

Вѣдь всякая критика имѣетъ значеніе и полезна постольку, поскольку она указываетъ, чѣмъ бы должно быть то, что признается какъ несовершенное. Въ противномъ случаѣ возраженія, какъ очевидно, теряютъ всякий смыслъ и значеніе. Ибо они становятся не возраженіями критики, имѣющей цѣлью правильное сужденіе о предметѣ спора, а всего лишь сужденіями вкуса, свидѣтельствующими о тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя при чтеніи получилъ читатель. Такія сужденія имѣютъ личный, субъективный, домашній интересъ. Критическое значеніе ихъ ничтожно, ибо такія возраженія можно выставить противъ *всякой* книги. Всегда можетъ показаться, что у автора недостаточно, неполно, неудачно. Но критика, философская, научная критика спрашиваетъ не объ этомъ, а о томъ, *что* именно недостаточно и *чѣмъ* исправляется, *что* неполно и *чѣмъ* восполняется т. д.

Къ сожалѣнію, такимъ же сужденіемъ личнаго вкуса приходится считать и слѣдующее возраженіе проф. Новгородцева, а именно, что если бы я «произвелъ настоящій анализъ IX главы «Этики чистой воли», то убѣдился бы, что «здѣсь именно этика чистой воли терпитъ свое крушениe». Къ сожалѣнію, повторяю, проф. Новгородцевъ не указалъ точно, въ какомъ именно понятіи происходитъ это крушениe, такъ что на такое возраженіе *вообще* мнѣ приходится отвѣтить и репликой вообще: анализировалъ и не вижу крушения. Въ общей оцѣнкѣ этой главы я скорѣе примкнулъ бы къ мнѣнію Tönnies'a, который говоритъ о ней слѣдующее: эта «теология» передаетъ намъ духъ Когеновской этики какъ въ экстрактѣ. Ея дедукціи имѣютъ въ себѣ что-то покоряющее (etwas Ueberwältigendes), хотя и не убѣждающее до конца (wenn auch nicht schlechthin Ueberzeugendes). Въ дѣйствительности это и есть самое ядро Кантовскаго ученія, перелитое заново и бросающееся ярко въ глаза. Можно сказать, что его основныя методическія мысли болѣе решительно продуманы здѣсь до конца<sup>1)</sup>). Раздѣляя мнѣніе Tönnies'a, о методическомъ значеніи этой IX главы «Этики чистой воли», я такимъ образомъ думаю, что она въ методическомъ смыслѣ не при-

<sup>1)</sup> Tönnies, Ethik und Socialismus, S. 919, Archiv für. S. W. und S. P. Bd. XXIX, 1909.

бавляетъ *ничего нового* къ тому, что говорится въ предшествующихъ и послѣдующихъ главахъ. мнѣніе проф. Новгородцева о крушении Этики чистой воли именно въ IX главѣ представляется мнѣ поэтому загадочнымъ.

Я не могу также согласиться вполнѣ и съ тѣми замѣчаніями моего критика, которыхъ касаются проблемы юридического лица и значенія этого понятія въ ряду другихъ понятій Этики чистой воли. Я вполнѣ согласенъ съ замѣчаніемъ проф. Новгородцева, что понятіе юридического лица играетъ центральную и важную роль въ Этике чистой воли, однако, я все же думаю, что проф. Новгородцевъ стремится придать этой идеѣ нѣсколько чрезмѣрное значеніе. Спѣшу оговориться, чтобы быть правильно понятымъ: я хочу сказать не то, что центръ тяжести въ разсужденіяхъ Когена лежитъ *вовсе не* въ понятіи юридического лица, я хочу сказать, что онъ лежитъ столько же въ понятіи юридического лица, сколько и въ понятіи субъекта права. Ибо *логический составъ* этихъ понятій одинъ и тотъ же, ибо и здѣсь и тамъ этотъ логической составъ, по мысли Когена, есть *чистая воля, воля чистаго дѣйствія*. Государство, какъ опредѣляется Когенъ, есть «субъектъ» и «юридическое отношение его членовъ», и «юридическое лицо», при чемъ во всѣхъ своихъ дедукціяхъ Когенъ неукоснительно подчеркиваетъ и развиваетъ лишь ту свою главную мысль, что *реальность и закономѣрность* правового явленія есть *реальность и закономѣрность* воли *чистаго дѣйствія*. Слѣдовательно, разъясненіе методического хода разсужденій Когена нисколько не пострадаетъ отъ того, взять ли отправной точкой понятіе субъекта или понятіе юридического лица. Вотъ почему я остановился въ своихъ разсужденіяхъ не на понятіи юридического лица, а на понятіи субъекта права, а вовсе не потому, будто я не понялъ центральной роли этого понятія въ Этике чистой воли, какъ хочетъ думать мой критикъ. Скорѣе я склоненъ предполагать, принимая во вниманіе замѣчанія проф. Новгородцева касательно аргумента юридического опыта и понятій правоспособности и дѣеспособности (см. выше глава II), а также и ближайшія слѣдующія, что не мнѣ, а къ сожалѣнію, моему критику осталась неясной роль и значеніе субъекта права и юридического лица. Остановился же я не на юридическомъ лишь, а на субъектѣ права потому, что имѣль передъ собою оригинальнѣйшее ученіе о субъектахъ права проф. Петражиц-

каго и глубокомысленныя замѣчанія по данному вопросу у Канта (и то и другое у меня на стр. 292 и прим.), а также еще и потому, что проблема юридического лица по отношению къ проблемѣ субъекта права является подчиненной, т.-е., другими словами, рѣшеніе ея лежитъ въ рѣшеніи проблемы субъекта права<sup>1)</sup>. Такимъ образомъ то обстоятельство, что я остановился подробно на понятіи субъекта права, а не юридического лица, не есть искаженіе ученія Когена, какъ хочеть думать мой критикъ, а всего лишь недостатокъ полноты въ изображеніи предмета. Дополнительный параграфъ на тему о юридическихъ лицахъ ни въ чёмъ не измѣнилъ бы принципіально моего изложенія, а всего лишь восполнилъ бы его.

Перехожу къ тѣмъ замѣчаніямъ проф. Новгородцева, которыя касаются самаго главнаго и самаго центрального понятія Этики чистой воли, идеи ориентированія этики въ юриспруденціи. Изъ всѣхъ возраженій моего критика эта группа его замѣчаній представляется мнѣ почти единственной, гдѣ сдѣлано нападеніе прямо и непосредственно на защищаемый мною тезисъ, гдѣ, кромѣ обычнаго описанія необычныхъ странностей моего характера, есть также стремленіе сказать нѣчто и по существу, гдѣ кромѣ того, содержатся и цѣнныя замѣчанія, съ которыми я не могу не согласиться.

Касаясь этого тезиса, мой критикъ сосредоточиваетъ свое вниманіе на тѣхъ различныхъ изложеніяхъ, въ которыхъ я передаю и разъясняю эту мысль Когена, старается отмѣтить здѣсь всѣ яко бы противорѣчія въ моемъ изложеніи, утверждаетъ, что я будто бы истолковалъ эту мысль Когена упрощенно банально, даже беретъ здѣсь Когена подъ свою защиту противъ меня, указывая, что мысль объ ориентированіи этики въ юриспруденціи хотя и «неудачна», но вполнѣ оригинальна, ибо она приводить «къ совершенно особенному построенію этической системы», что будто бы у меня «какъ разъ и не выяснено»; больше того, по мнѣнію моего критика, я даже исказилъ здѣсь подлинную мысль Когена, между прочимъ, въ своемъ истолкованіи того отношенія,

<sup>1)</sup> Въ этомъ же направленіи, кстати сказать, движутся разсужденія напр. у Binder'a „Das Problem der juristischen Persönlichkeit“, 1907; Hölder, „Ueber natürliche und juristische Personen“, 1906 и Штаммлера въ цитированной выше статьѣ, см. гл. II.

въ какое онъ ставить нравственного индивида съ одной стороны и государство—съ другой.

Прежде всего съ удовольствиемъ отмѣчаю, что съ однимъ изъ указанныхъ замѣчаній проф. Новгородцева я вполнѣ соглашаюсь, именно, что мысль объ ориентированіи этики въ юриспруденціи совершенно оригинальна, и что она приводитъ къ совершенно особенному построенію этической системы. Что же касается всѣхъ другихъ, то тутъ у меня возникаютъ недоумѣнія, ибо противникъ мой прерываетъ свое изложеніе всякой разъ тамъ, гдѣ оно начинается у него по существу.

Такъ прежде всего, неясно, почему же мысль объ ориентированіи этики въ юриспруденціи нужно считать неудачной. Остается пожалѣть, что проф. Новгородцевъ высказалъ свое сужденіе въ слишкомъ общей формѣ, тогда какъ важность его требовала бы аргументаціи. Вѣдь мысль объ ориентированіи этики въ юриспруденціи есть одно изъ звеньевъ трансцендентального метода, проходящаго черезъ всю систему философіи научнаго идеализма. Въ своемъ основномъ зернѣ эта мысль есть не только мысль этики, но и мысль логики. Опровергнуть философски идею ориентированія этики въ юриспруденціи можно не иначе, какъ опровергнувъ также и идею ориентированія логики въ математицѣ, чего опять-таки нельзя сдѣлать иначе, какъ коснувшись вопроса объ отношеніи между математикой и естествознаніемъ съ одной стороны, и трансцендентальной логикой съ другой.

Такимъ образомъ, назвать неудачной идею ориентированія этики въ юриспруденція—значить назвать неудачнымъ трансцендентальный методъ въ его цѣломъ, какъ методъ научной философіи. Но назвать неудачнымъ не значитъ опровергнуть, ибо методъ философіи нельзя опровергнуть посредствомъ сужденій общаго характера, и не касаясь анализа его главныхъ понятій. Извѣстно вѣдь, что, напримѣръ, діалектическій методъ Гегеля былъ устраненъ въ исторіи мысли не сужденіями личнаго вкуса, а тщательнымъ анализомъ понятій.

Что же касается, далѣе, тѣхъ противорѣчій, которыхъ хочетъ видѣть мой критикъ въ моемъ изложеніи идеи ориентированія этики въ юриспруденціи, то всѣ эти противорѣчія кажущіяся. Если бы проф. Новгородцевъ исходилъ изъ анализа не отдельныхъ фразъ и предложенийъ моей книги, а изъ анализа ея основныхъ тенденцій и главныхъ мыслей, то онъ бы безъ труда уви-

дѣлъ, что основная мысль моя въ этомъ пунктѣ разсужденій совершенно опредѣленно формулируется на стр. 216 моей книги, гдѣ я говорю, что оріентированіе этики въ юриспруденціи касается основныхъ понятій этой послѣдней, именно субъекта, объекта отношенія и нормы, и что оно, далѣе, имѣетъ своею задачей выяснить логическій и этическій составъ этихъ понятій (напр. стр. 299 и сл.). Оріентированіе этики въ юриспруденціи имѣеть, такимъ образомъ, логическій интересъ и практическій: логическій интересъ удовлетворяется въ идеѣ научной этики, освобожденной отъ метафизики и мистики, психологизма и натурализма, а практическій удовлетворяется въ положеніи *dass die Sittlichkeit auf Erden Wirklichkeit werde* (*Eth. d. r. W. S. 371—372; 393*, у меня стр. 19 и слѣд.).

Что въ понятіе оріентированія этики и юриспруденціи входитъ далѣе моментъ сравненія ихъ основныхъ понятій между со-бою съ указаніемъ сходства и различія,—это едва ли подлежитъ и малѣйшему сомнѣнію. Но, разумѣется, все дѣло въ томъ, какъ это сдѣлать, какія понятія взять, какъ провести и установить это сходство и различіе. Проф. Новгородцевъ называетъ эту мысль банальной, указывая, что въ такомъ случаѣ всѣ (?) мы согласны съ Когеномъ. Однако, какъ я указалъ выше (гл. II), подъ это «всѣ мы» не подойдетъ, по крайней мѣрѣ, Штаммлеръ, подойдутъ же лишь тѣ, кто не въ состояніи усмотрѣть различіи между учениемъ объ а priori юридического опыта въ трансцендентальномъ смыслѣ и утвержденіемъ объ а priori юридического отношенія (не въ трансцендентальномъ), а въ упрощенно-банальномъ смыслѣ, между понятіемъ субъекта права и признаніемъ субъекта права (см. выше гл. II).

Изъ предыдущаго понятно также, почему проф. Новгородцевъ хочетъ думать, будто я не показалъ, что оріентированіе этики въ юриспруденціи приводить къ совершенно особому построению этической системы. А между тѣмъ, я только обѣ этомъ и говорю. Я все время указываю и подчеркиваю, что дѣло у Когена идетъ о построеніи научной этики, этики, какъ особой научной дисциплины, по тѣмъ же самымъ правиламъ трансцендентальнаго метода, согласно которому построется и научная логика; отсюда и моя полемика съ проф. Новгородцевымъ, который совершенно неожиданно понялъ этику Канта, какъ «область нашихъ лучшихъ чаяній и упованій», отсюда и мои замѣчанія про-

тивъ этики настроения, отсюда и мои стремления указать, какъ и почему изъ этики Когена устраниены элементы метафизики и натурализма.

Я не согласенъ, наконецъ, и съ тѣмъ замѣчаніемъ моего критика, въ которомъ онъ отмѣчаетъ, будто я исказилъ подлинную мысль Когена въ своемъ истолкованіи отношенія между нравственнымъ индивидомъ съ одной стороны и государствомъ—съ другой. А именно, въ то время какъ Когенъ, отмѣчаетъ мой критикъ, придаетъ руководящую роль для самосознанія государству, я перелагаю се въ самосознаніе нравственного индивида.

Однако то, что утверждаю я, говоря о творческой роли индивида въ созиданіи нравственности, и то, что приводитъ мой критикъ, какъ утвержденіе Когена о руководящей роли государства для самосознанія нравственного индивида, не стоитъ между собою ни въ коллизіи, ни въ противорѣчіи. Ибо первая мысль говорить о творческой роли индивида въ созиданіи нравственности, а вторая—о томъ общемъ направленіи, въ какомъ должно двигаться это творчество. Что первый моментъ несомнѣнно имѣетъ мѣсто въ понятіяхъ Этики чистой воли,—это едва ли подлежитъ сомнѣнію. Вѣдь основное понятіе идеализма Когена, понятіе *idei*, является у него не только какъ *Grundlage*, но и какъ *Grundlegung*, т.-е. какъ нѣчто творческое, *созидающее* (*Erzeugniss und Erzeugung*). Это касается не только мышленія, которому, какъ говоритъ Когенъ, «ничто не дано извнѣ», оно само созидаетъ свое содержаніе», но и воли, ибо дѣйствіе чистой воли, какъ признаніе и утвержденіе въ другомъ лица и самоцѣли (*Handlung ist Behandlung*), есть творческій актъ воли: *Grundlage und Grundlegung, Erzeugniss und Erzeugung*. Поэтому и самосознаніе по Когену есть нѣчто созидающееся въ общемъ нравственныхъ лицъ, а не нѣчто данное и готовое, такъ что можно бы было сказать: здѣсь конецъ, исполнились времена, ни шагу далѣе. Здѣсь, мнѣ кажется, нѣтъ разницы между Когеномъ и Фихте, который подчеркиваетъ творческій характеръ нравственного дѣйствія, и Когенъ взялъ у Фихте не только этотъ терминъ, какъ слово, но вмѣстѣ сохранилъ и его смыслъ.

Подчеркивая же руководящую роль государства, Когенъ хочетъ указать лишь то общее направленіе, въ какомъ должно идти это моральное творчество индивида, именно оно должно двигаться въ направленіи созиданія совершенного государства че-

резъ реформы и вообще черезъ справедливое законодательство. Моральное творчество должно идти и стремиться не къ устраненію правового порядка, и не къ замѣнѣ его какимъ-то другимъ, вѣ правовыми,—«все это мистика и метафизика, не помогающая истинному смыслу самости»,—а къ улучшенію правового порядка, къ его «идеализации», т.-е. къ реализаціи въ немъ нравственной идеи. Въ этомъ и полагается вся суть идеи естественного права, которая согласно совершенно определенному заявлению Когена, есть нравственная идея, являющаяся критеріемъ для критики и оцѣнки положительного права, основой, какъ я старался показать, продолжая здѣсь мысль Когена, критики и политики права.

Что же касается, наконецъ, замѣчаній моего критика о тѣхъ мѣстахъ Этики чистой воли, въ которыхъ говорится о союзѣ государства, какъ конечной цѣли политического строительства, и той связи, въ какую съ этими идеями ставится здѣсь у Когена идея Бога, то то чрезмѣрное значеніе, которое хочетъ придать этимъ мѣстамъ мой критикъ, видя здѣсь даже крушеніе всей Этики чистой воли,—остается для меня, за отсутствиемъ доказательствъ этого крушенія, непонятнымъ.

## V.

Чтобы подвести итоги возраженіямъ проф. Новгородцева, посмотримъ, какихъ тезисовъ и въ какой мѣрѣ касаются эти возраженія. Я утверждалъ въ своихъ тезисахъ слѣдующее: <sup>1)</sup>).

1. Никакая теорія права не можетъ быть построена иначе, какъ черезъ ориентированіе своихъ основныхъ понятій въ логикѣ и этикѣ, потому что понятіе реальности и закономѣрности правовыхъ явлений есть проблема логики, а также свободы и интереса, съ которыми такъ или иначе оперируютъ всѣ теоріи права, есть проблема и логики, и этики. Нельзя по этому не признать большой цѣнности для всѣхъ теоремъ философіи

1) Привожу эти тезисы какъ для того, чтобы наглядно показать, въ какой мѣрѣ касаются ихъ возраженія проф. Новгородцева, такъ и для того, чтобы помочь читателю, интересующемуся нашимъ споромъ, разобраться въ моихъ утвержденіяхъ. И для той, и для другой цѣли привожу эти тезисы въ болѣе пространной редакціи, чѣмъ какую я далъ имъ при защитѣ своей диссертациіи, состоявшейся 14 мая прошлаго года. Я тогда выпустилъ помѣщенные здѣсь объясненія къ тезису IV° и V°.

права новѣйшихъ построеній въ ученіяхъ представителей такъ называемаго «научнаго идеализма», которые ставятъ себѣ задачу построить научную логику, научную этику и, такимъ образомъ, дать основы для построенія дѣйствительно научной теоріи права.

II. Путь къ построенію названныхъ дисциплинъ,—по ученію научнаго идеализма,—открывается въ новомъ пониманіи критической философіи Канта, очищенной отъ традиціонныхъ искаженій и преобразованной и продолженной въ духѣ автора трансцендентального метода.

*Объясненіе къ тезису.* А) Искажаютъ ученіе Канта: а) когда при опредѣленіи критического метода, указавъ на его систематический, въ отличіе отъ генетического, характеръ, забываютъ различить виды систематического метода: классификаціонный,teleologический, трансцендентальный, распадающейся на аналитический (въ „Пролегоменахъ“) и синтетический (въ „Критикѣ чистаго разума“)<sup>1)</sup>, б) когда сущность критического метода полагаютъ не въ трансцендентальной, а въ метафизической или въ психологической дедукціяхъ; в) когда думаютъ, будто а priori можетъ означать у Канта врожденность; г) когда, полагая, будто „чистый“ у Канта означаетъ „пустой“, „формальный“ означаетъ безодержательный, „общеобязательный и необходимый“ означаетъ „постуляты“,—характеризуютъ ученіе Канта, какъ формализмъ безъ содержанія или какъ постулятный методъ, допускающій любое содержаніе; д) когда, наконецъ, въ силу указанныхъ недоразумѣній, моральное ученіе Канта, въ которомъ забываютъ еще различить этику чистую и прикладную, характеризуютъ въ признакахъ формализма, отвлеченного морализма, априоризма и проч.

В) Продолжаютъ и преобразовываютъ ученіе Канта, когда принимаютъ его критический методъ какъ правило трансцендентальной дедукціи понятій, т.-е. какъ совокупность и систему априорныхъ принциповъ прогрессирующаго созиданія (*Ergzeugung, Ursprung*) опыта, распадающацся на 1) созиданіе предмета научнаго опыта въ тѣсномъ смыслѣ (въ математическомъ и описательномъ естествознаніи, 2) на созиданіе предмета нравственнаго опыта (въ различныхъ формахъ правового общенія, 3) на созиданіе предмета эстетическаго опыта (въ произведеніяхъ искусства).

1) Во избѣжаніе недоразумѣній считаю нужнымъ замѣтить, что аналитический методъ Пролегоменъ и синтетический методъ Критики чистаго разума суть не столько виды трансцендентального метода, сколько два способа различнаго изложенія той системы принциповъ, которые реконструированы изъ науки путемъ трансцендентального метода, такъ что эти способы изложенія имѣютъ скорѣе педагогическое, чѣмъ принципіально-философское значеніе. См. у Канта. Предисловіе къ Пролегоменамъ. Akademie Ausgabe, Bd. IV S. 236, въ изданіи Форлендера, S. 11.

III. Если научная логика возможна, то она должна быть не ученiemъ о познаниi вообще и не ученiemъ объ идеальномъ познаниi, а ученiemъ о познаниi въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, т.-е. объ априорныхъ условiяхъ математического и описательного естествознанiя<sup>1)</sup>. Задача логики есть проблема (не субъекта, а) объекта познанiя, и логика излагаетъ всѣ тѣ стадии мышленiя (сужденiя), которыя созидаются предметъ научнаго познанiя. Привнесенiе психологическихъ и этическихъ элементовъ сознанiя («норма», «должное», «субъектъ») въ обсужденiе логической проблемы должно считать ошибкой («телеологического критицизма»), за устраненiемъ которой логика становится «логикой чистаго познанiя», т.-е. научнаго мышленiя.

IV. Если научная этика возможна, то только какъ теорiя культурныхъ цѣнностей, разсматривающая культуру какъ цѣлое механизма средствъ и цѣлей, въ которомъ достоинство человѣческой личности разсматривается какъ цѣль въ себѣ, а всѣ прочие элементы культуры, какъ средство для достижения этой конечной цѣли.

*Объясненiе къ тезису.* Въ терминахъ Кантовской философiи такая дисциплина возможна: 1) если въ проблемѣ этики различить часть теоретическую, принципъ которой „дѣйствуй свободно“ (Handle frei), отъ этики прикладной, принципъ которой „желай свободно“ (wolle frei); при чемъ понятiе долга и категорического императива,—вопреки принятому обыкновенiю,—отнести не въ область принциповъ, обосновывающихъ этику-теорiю, а въ область прикладной этики, имѣющей въ виду психологического индивида; 2) если, далѣе, свободное дѣйствiе, характеризуемое у Канта въ терминахъ: должное, чистая воля, личность, автономiя, святость, освободить однiаково какъ отъ метафизическихъ примысловъ, такъ равно и отъ психологизма (натурализма); 3) если истолковать, такимъ образомъ, основные понятiя этики не какъ „вещи и сущности“, а какъ идею съ регулятивнымъ значенiемъ, т.-е. какъ особый этико-телеологический методъ познанiя (въ смыслѣ оцѣнки) явлений.

V. Примѣромъ научной этики, разработанной въ духѣ трансцендентального метода Канта, является Этика чистой воли Когена. Она ориентируется въ логикѣ чистаго познанiя, съ одной стороны, и въ юриспруденцiи, съ другой; рассматриваетъ этику

<sup>1)</sup> Въ первоначальной редакцiи этого тезиса послѣ словъ, „и не ученiemъ объ идеальномъ познанiи, а...“ стояло: какъ указалъ уже Миль. Кн. Е. Трубецкой обратилъ на диспутъ мое вниманiе на неудачную редакцiю этой мысли, лающуу поводъ думать, будто Миль учили въ своей Логикѣ объ априорныхъ условiяхъ математического и описательного естествознанiя. Поэтому я опускаю здѣсь эту вставку о Милль.

какъ логику общественныхъ наукъ, а юриспруденцію какъ ихъ математику.

*Объяснение къ тезису.* А) Научная этика оріентируется, вполне естественно, въ научной логикѣ, т.-е. ея основные понятия: „субъектъ“, „самосознаніе“, „дѣйствіе“ излагаются въ логическихъ категоріяхъ: реальности, непрерывности, универсальности (Allheit) NB! Когенъ оріентируетъ понятія этики не только въ логикѣ, но и въ основныхъ категоріяхъ юриспруденціи, разумѣя подъ послѣдними: субъектъ права, объектъ права, юридическое отношеніе и норму права. Это оріентированіе имѣетъ свою тенденцію у Когена не отрицаніе или деградацію этики, а освобожденіе и очищеніе понятій научной этики отъ примысловъ метафизики, мистики, натурализма и анархизма. В) Научная этика есть логика общественныхъ наукъ, потому что: 1) она въ своемъ понятіи личности, какъ соціального явленія, содержитъ теорію общества (въ отличіе отъ механической, органической, психологической—этико-идеалистическую), которая является базой для соціальной философіи, какъ философіи соціального идеализма въ противоположность философіи соціального материализма; 2) въ своемъ понятіи исторіи, какъ исторіи культурныхъ цѣнностей, является базой для теоріи исторического познанія, устранивъ при этомъ ошибку Зиммеля, полагающаго будто исторія (методологически) есть часть и продолженіе естествознанія, ошибку Риккера, полагающаго, что исторія есть наука объ индивидуальномъ, которое уже какъ таковое, будто бы этически цѣнно, и, наконецъ, ошибку въ томъ ученіи о методахъ, которое полагаетъ, будто „генетический“ и „систематический“ методы въ цѣломъ познанія мыслятся по типу параллелизма, а не восполненія.

VII. Этика чистой воли Когена представляетъ собою выдающееся явленіе въ исторіи юридическихъ теорій, такъ какъ она содержитъ въ своихъ понятіяхъ «критику силы юридического сужденія», т.-е. юридическую теорію, базирующую въ научной логикѣ и научной этикѣ. Она порываетъ съ традиціонной постановкой вопросовъ въ области этой науки и намѣщаетъ въ развитіи ея понятій третій періодъ (критическій послѣ теологического и метафизического). Она преобразуетъ заново всѣ категоріи школы естественного права, влагая въ нихъ новое содержаніе. Именно: 1) естественное состояніе прежней школы естественнаго права, бывшее психологической дедукціей права и государства изъ психическихъ свойствъ человѣческой природы, замѣняется трансцендентальной дедукціей права и государства изъ общихъ условій познанія; 2) идея естественного права понимается какъ нравственная идея (не Sein, а Sollen), и въ этомъ качествѣ своемъ какъ принципъ критики, оцѣнки и политики права; 3) вопросъ определенія права ставится какъ во-

прось «о мѣстѣ нахожденія правовыхъ явленій», ихъ реальности, ихъ закономѣрности.

VII. Основное содержаніе философіи права, ориентированной въ научной логикѣ и научной этикѣ, утверждаетъ слѣдующія положенія: 1) Юридический опытъ имѣеть свои а priori, которыхъ четыре: субъектъ, объектъ, отношеніе и норма. 2) Мѣсто нахожденія правовыхъ явленій должно опредѣлять какъ мѣсто ихъ не въ индивидуальному, а въ трансцендентальномъ сознаніи, т.-е. какъ мѣсто юриспруденціи въ классификаціи наукъ. 3) Реальность правового явленія, хотя и есть реальность психическаго акта, однако для юриста, какъ такового, этотъ психическій актъ имѣеть значеніе не въ качествѣ естественнаго процесса природы, а въ качествѣ «дѣйствія чистой воли». 4) Закономѣрность правового явленія, какъ такового, не есть каузальная, аteleологическая. (Другими словами, правовое отношеніе есть отношеніе не каузальной, а teleологической связности.) 5) Субъектомъ права можетъ быть только человѣкъ, отнюдь не сверхчеловѣческія и подчеловѣческія существа. 6) Различіе права и нравственности покоится не въ томъ, будто нравственность состоитъ только изъ императивныхъ нормъ, а право изъ императивно-атtributivныхъ, а въ различіи юридического субъекта, созидаемаго въ правовомъ общеніи, отъ противостоящаго ему этическаго субъекта, какъ идеи-задачи, лишь отчасти реализуемой въ правѣ. 7) Политика права не есть только каузальная наука, а teleologическая въ учениі о цѣляхъ и каузальная въ учениі о средствахъ для достижениія цѣлей. 8) Изъ всѣхъ видовъ общенія, историческихъ и утопическихъ, научный идеализмъ признаетъ болѣе цѣннымъ правовое общеніе въ государствѣ, полагая, что оно является наилучшимъ средствомъ для достижениія болѣе и болѣе совершенныхъ формъ, но всегда правового, общенія.

Что же опровергъ мой критикъ логически и по существу въ этихъ тезисахъ?

О первой половинѣ первого тезиса полное молчаніе, между тѣмъ какъ онъ лежитъ въ основѣ всего архитектонического плана моей книги, являясь конечной цѣлью и лейтмотивомъ всѣхъ моихъ разсужденій. О второй половинѣ того же тезиса нахожу два противорѣчивыхъ замѣчанія, именно: въ началѣ статьи проф. Новгородцева сказано, что «ихъ опыты (т.-е. опыты

философовъ марбургской школы) по этикѣ и философіи права занимаютъ выдающееся и первостепенное мѣсто въ современной философской литературѣ», а въ концѣ сказано: «вдвойнѣ обидно и горько, когда въ области философіи права ищутъ руководства въ мертвящей схоластикѣ Германа Когена».

Что касается второго тезиса, то и въ немъ важнѣйшія и главныя части обойдены молчаніемъ. Такъ о трансцендентальномъ методѣ, какъ *differentia specifica* критического метода Канта, собственно и не упомянуто, если не считать мимоходомъ и вскользь брошенного замѣчанія на эту тему, а именно *въ приданочномъ предложеніи* на страницѣ 650. Вмѣсто того, чтобы подвергнуть это центральное и главное понятіе всего научнаго идеализма анализа и критикѣ и дать философскій разборъ этого понятія, остановившись на его логической конструкціи, существо которой резюмировано у меня въ тезисѣ II и объясненіи къ нему, проф. Новгородцевъ произноситъ здѣсь, во-первыхъ, цѣлый рядъ такихъ замѣчаній, которыхъ, какъ я указалъ выше, суть лишь сужденія вкуса (гл. IV) и еще цѣлый рядъ другихъ замѣчаній, которыхъ переносятъ споръ *εἰς ἄλλα γένος* (гл. III).

Что касается третьаго и четвертаго тезиса, то ихъ мой критикъ обошелъ полнымъ молчаніемъ. Между тѣмъ проблема научной этики и ея возможность или невозможность должна бы вызвать замѣчанія со стороны проф. Новгородцева, такъ какъ здѣсь именно я стою въ прямомъ и сильноѣйшемъ антагонизмѣ съ его пониманіемъ Кантовской этики, какъ «области нашихъ лучшихъ чаяній и упованій».

Но еще слабѣе разобрана вторая половина моихъ тезисовъ.

Такъ, что касается тезиса V, то прямому нападенію со стороны моего критика подверглась въ нѣмъ дѣйствительно важная по своему значенію идея ориентированія этики въ юриспруденціи. Однако, то обстоятельство, что стоящія у меня съ этой идеей въ непосредственной логической связи замѣчанія о субъектѣ права и обѣ *a priori* юридического опыта, мой критикъ въ первой части своей статьи отнесъ къ числу «второстепенныхъ упущеній», а потомъ къ концу статьи выдвинулъ идею юридического лица, какъ центральную для построеній этики Когена, и, далѣе, то обстоятельство, что мое утвержденіе обѣ *a priori* юридического опыта онъ понялъ не въ трансцендентальномъ, а въ банальномъ смыслѣ (см. гл. II), все это лишаетъ критиче-

скія замѣчанія проф. Новгородцева всякой силы и значенія. Что же касается того порядка моихъ разсужденій, сущность которыхъ я резюмирую въ объясненіи къ данному тезису подъ литерой В, то эти разсужденія мои обойдены проф. Новгородцевымъ полнымъ молчаніемъ. А между тѣмъ и здѣсь если не проблема соціальной философіи и исторіи, то, по крайней мѣрѣ, мои замѣчанія о координаціи методовъ систематическаго и генетическаго разсмотрѣнія должны бы вызвать возраженія моего критика, такъ какъ и здѣсь я стою въ прямой противоположности съ его истолкованіемъ этихъ методовъ въ смыслѣ параллелизма, что, какъ я замѣчаю въ своей книгѣ, стоитъ въ прямомъ противорѣчіи съ учениемъ Канта о приматѣ практическаго разума.

Далѣе, весь тезисъ VI обойденъ въ сущности молчаніемъ, если не считать весьма спорнаго замѣчанія моего критика по поводу ученія объ естественномъ состояніи у Спинозы и замѣчаній по поводу того же ученія у Локка, Монтескье и Руссо, замѣчаній сдѣланныхъ совсѣмъ не въ линіи главнаго и основнаго теченія моей мысли.

И, наконецъ, весь тезисъ VII обойденъ полнымъ молчаніемъ.

Такимъ образомъ, изъ нагляднаго сопоставленія моихъ тезисовъ съ одной стороны и возраженій къ нимъ проф. Новгородцева съ другой, слѣдуютъ съ очевидностью два вывода: во-первыхъ, цѣлаго ряда основныхъ и принципіальныхъ утвержденій моихъ проф. Новгородцевъ не только не опровергъ, а ихъ во-все даже и не коснулся; во-вторыхъ, философской критики тѣхъ моихъ утвержденій, которыхъ онъ коснулся, въ существѣ дѣла не произвелъ, но едва лишь ее началъ.

## VI.

Но, быть можетъ, проф. Новгородцевъ, если и не устранилъ моихъ тезисовъ, то по крайней мѣрѣ въ спорѣ относительно пониманія Канта и проблемы возвращенія къ Канту онъ въ подкрѣпленіе своихъ замѣчаній ссылался на свою докторскую диссертацию, гдѣ вопросъ этотъ подвергается у него болѣе полному обсужденію,—и здѣсь именно лежитъ основаніе его отрицательного отношенія какъ къ моей книгѣ, такъ и ко всей вообще доктринѣ научнаго идеализма марбургской школы?

Действительно, въ большомъ примѣчаніи, приложенномъ въ концѣ III главы, проф. Новгородцевъ ссылается на свою книгу: «Кантъ и Гегель въ ихъ ученіяхъ о правѣ и государствѣ» и защищаетъ въ этомъ примѣчаніи свое пониманіе Канта. Однако, эта защита меня болѣе чѣмъ удивляетъ.

Во-первыхъ, какъ ясно для всякаго, кто хоть сколько-нибудь занимался изученіемъ Канта, проф. Новгородцевъ едва ли правъ, думая, что онъ защищаетъ свои позиціи ссылкой на то, что онъ де имѣлъ въ виду то истолкованіе Канта, которое «всѣ (?) мы называемъ истолкованіемъ Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ». Кто же это «всѣ мы»? Пусть проф. Новгородцевъ назоветъ два-три имени, которыхъ согласятся между собою во всемъ относительно того, что такое Кантъ «въ его подлинныхъ и собственныхъ ученіяхъ».

Во-вторыхъ, вѣдь я какъ разъ и оспариваю, что изложеніе критической философіи Канта у проф. Новгородцева есть изложеніе Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ. Ибо я въ своей книгѣ утверждалъ, что оно страдаетъ недостатками съ двухъ сторонъ, какъ со стороны своего отношенія къ Канту «въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ», такъ и со стороны своего отношенія къ проблемѣ возвращенія къ Канту. «Построенія автора — пишу я въ примѣчаніи на стр. 83 — движутся вѣдь идей марбургской школы философіи, такъ что въ цѣломъ рядѣ положеній критицизма авторъ стоитъ на точкѣ зреянія прямо противоположныхъ утвержденій, а именно, что «нравственное начало не подлежитъ критикѣ и обоснованію, а только панегирику и апоѳеозѣ, что генетическій и систематическій методы движутся по типу параллелизма, а не восполненія, что вещь въ себѣ есть *ens realis* и причина ноумена, а не вспомогательное только построеніе критической философіи, что приматъ практическаго разума есть приматъ одной сущности (воли) передъ другой (познаніемъ), а не приматъ логического *prius*'а въ образованіи понятій, что, далѣе, въ моральномъ ученіи Канта категорическій императивъ составляетъ основополагающее понятіе, а не есть, наоборотъ, моментъ психологической дедукціи морального закона и, слѣдовательно, проблема прикладной этики; что, далѣе, моральный законъ Канта есть крайній индивидуализмъ и формализмъ, а не есть, наоборотъ, вся полнота содержанія и прямое отрицаніе крайняго индивидуализма и проч.»

Вместо этого: «и проч.» я могъ бы прибавить еще: «критический методъ Канта понимается у проф. Новгородцева какъ систематической въ противоположность генетическому, при чмъ совсѣмъ не указаны возможные виды систематического метода и вовсе нѣтъ анализа трансцендентального метода; далѣе, понятіе «теоретического разума» остается, вообще говоря, неопределеннымъ, ибо въ немъ не различены такие важные отдылы знанія, какъ математическое и описательное естествознаніе, т.-е. каузальное и телеологическое образованіе понятій».

Но теперь я спрошу, можно ли *текстами изъ Канта* доказать, что весь рядъ утвержденій проф. Новгородцева есть изложеніе Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ, а весь рядъ утвержденій Когена уже не есть изложеніе Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ? Можно ли доказать положеніе, что «трансцендентальная дедукція понятій» не есть глубочайшая сущность критического метода, та самая трансцендентальная дедукція, о которой проф. Новгородцевъ, излагая Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ, даже не упоминаетъ, а Когенъ, наоборотъ, это именно понятіе выдвигаетъ на передній планъ въ системѣ Канта, показывая цитатами изъ Канта, какъ Кантъ не устаетъ повторять и повторять о трансцендентальной дедукціи понятій (см. у меня стр. 51 и слѣд.); или можно ли доказать положеніе, что у Канта нѣтъ понятій телевологіи, о каковомъ моментѣ системы Канта проф. Новгородцевъ, излагая Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ, даже не упоминаетъ, а Когенъ, наоборотъ, цитируя критику силы сужденія, выдвигаетъ эти понятія на переднюю линію системы (см. у меня стр. 62—64; 87); или можно ли доказать, что этика, согласно учению Канта, есть, какъ утверждаетъ проф. Новгородцевъ, излагая Канта въ его собственныхъ и подлинныхъ ученіяхъ, «область нашихъ лучшихъ чаяній и упованій», можно ли доказать это положеніе послѣ того, какъ Когенъ цитатами изъ Канта показалъ, что она, по представлениямъ Канта, есть особая наука (см. у меня стр. 114, прим.) и т. д. и т. д.

Такимъ образомъ, на основаніи не именъ и пристрастій, а на основаніи анализа философскихъ понятій я утверждалъ, что изложеніе Кантовской философіи у проф. Новгородцева не есть рѣшеніе проблемы возвращенія къ Канту.

Но теперь я вижу, что того же самаго мнѣнія сталъ дер-

жаться и проф. Новгородцевъ. Ибо, хотя изложение критической философії Канта и занимаетъ въ его докторской диссертациі почти всю первую половину его книги (стр. 73—158), однако онъ считаетъ, что это изложение значительно уступаетъ въ своей основательности изложению ея у Куно Фишера и Виндельбанда, ибо я, согласно его собственному утверждению, критикуя здѣсь построенія проф. Новгородцева (а не Виндельбанда и Куно Фишера) «очень облегчилъ свою задачу». Мало того, проф. Новгородцевъ прямо говоритъ, что изложение Канта въ его книгѣ есть всего лишь «краткій очеркъ», имѣющій въ его трудѣ «лишь вводное значеніе».

Или я долженъ понимать иначе заявленіе проф. Новгородцева, помещенное въ примѣчаніи, приложенномъ въ концѣ третьей главы, а именно: «Г. Савальскій очень облегчилъ свою задачу, взявъ для разбора мой краткій очеркъ, имѣющій въ моемъ трудѣ лишь вводное значеніе, вмѣсто того, чтобы обратиться къ Куно Фишеру и Виндельбанду»?

Если же я правильно понялъ смыслъ этихъ словъ проф. Новгородцева, то можно считать нашъ споръ о Кантѣ оконченнымъ и странный тонъ его «критической» статьи вполнѣ разъясненнымъ. Вѣдь этотъ «краткій очеркъ», имѣющій по мнѣнію проф. Новгородцева лишь «вводное значеніе» въ его диссертациі, занимаетъ собою почти всю первую половину его книги (стр. 78—158) и содержитъ въ себѣ не болѣе и не менѣе, какъ изложеніе центральныхъ и главныхъ проблемъ Кантовской этики, проблему свободы и необходимости, примата практическаго разума, нумена, ученіе о параллелизмѣ методовъ. И если все это устранить изъ книги, то что же останется въ ней—*sit. verba!*—не «вводнаго»? Я поэтому никакъ не думалъ, что облегчаю себѣ проблему, взявъ предметомъ критики трудъ проф. Новгородцева, ибо «всѣ мы» были убѣждены, что проф. Новгородцевъ не только взялъ, по крайней мѣрѣ, все то лучшее, что есть у Куно Фишера и Виндельбанда, но еще и углубилъ и продолжилъ проблему этики Канта.

Но, говоря теперь самъ, что я «очень облегчилъ себѣ задачу», критикуя изложение Кантовской этики у него, а не у Куно Фишера и Виндельбанда; онъ такимъ образомъ какъ бы вполнѣ соглашается съ моей критикой. Вѣдь своимъ тезисомъ, что изложение критической философії Канта у проф. Новгородцева не есть рѣшеніе проблемы возвращенія къ Канту, я хотѣлъ сказать

по существу то же самое, что и проф. Новгородцевъ, говоря, что это всего «лишь краткій очеркъ», имѣюшій «вводное значеніе»

## VII.

Подводя итоги возраженіямъ проф. Новгородцева, я долженъ сказать слѣдующее. Я, разумѣется, далекъ отъ мысли считать свою книгу совершенной и безъ недостатковъ. Такой книги еще никто не написалъ. Вл. Соловьевъ думалъ даже, что если такая книга вообще возможна, ея авторомъ будетъ антихристъ. Всякая книга нуждается въ исправленіяхъ, особенно же книга, трактующая принципіальные вопросы философіи. Я очень благодаренъ проф. Новгородцеву за совѣтъ исправить свою книгу.

Къ сожалѣнію, его критика по существу дѣла не помогаетъ мнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ можно бы воспользоваться изъ того, что предложено проф. Новгородцевымъ? Дѣло, разумѣется, не въ мелкихъ исправленіяхъ, а въ основномъ и главномъ; остается ли основное соотношеніе частей въ цѣломъ или нѣтъ? Спрашиваю себя, чего же собственно хотѣлъ бы мой критикъ, что измѣнить, что исправить? Получаю отвѣтъ и совѣтъ: нужно «отрѣшиться отъ ферулы Когена», и тогда все спасено.

Но здѣсь я не могу отрѣшаться отъ смущенія и сомнѣній. Такъ, прежде всего, почему же такая одіозная форма совѣта: «отрѣшиться отъ ферулы Когена». Какъ будто дѣло идетъ о какомъ то неблагонамѣренномъ основателѣ неблагонадежнаго кружка! Между тѣмъ, дѣло идетъ не о кружкѣ молодыхъ людей, занимающихся между прочимъ и философіей, дѣло идетъ о философской школѣ, объединяющей въ себѣ лицъ самыхъ различныхъ положеній и даже національностей, явленіи не мѣстномъ, а достойномъ исторіи философіи и уже записанномъ на ея страницы. Дѣло въ существѣ своемъ вовсе не въ Когенѣ, а въ трансцендентальномъ методѣ, какъ методѣ систематической философіи. Но трансцендентальный методъ есть методъ Канта. Слѣдовательно, мнѣ нужно отрѣшиться отъ ферулы и Канта? Больше того, сколько я понимаю, идеализмъ Когена есть всего лишь новая варіація того идеализма, корни которого даны еще въ Платонѣ, элементы которого проходятъ въ исторіи мысли между прочимъ и черезъ Декарта, и черезъ Лейбница, достигаютъ своего высочайшаго выраженія въ Кантѣ и послѣ-Кантовской философіи. Слѣдовательно, я долженъ отрѣшиться отъ ферулы идеализма... и научной философіи?

Проф. Новгородцевъ думаетъ наоборотъ. Онъ думаетъ, что научный идеализмъ марбургской школы всего лишь печальное недоразумѣніе въ исторіи мысли, скудость кабинетнаго измышенія. Прекрасно, такое мнѣніе возможно, какъ и все на свѣтѣ. Однако, вѣдь ясно, что для философскаго опроверженія философской доктрины, не согласующейся съ нашими философскими убѣжденіями, недостаточно однихъ сердечныхъ скрушеній о томъ, что де «вдвойнѣ обидно и горько», когда ищутъ философскаго руководства у нашихъ противниковъ.

Руководства въ философіи Когена ищутъ между прочимъ и такія далеко не безызвѣстныя въ филосовской литературѣ лица, какъ Наторпъ, Штаммлеръ, Кассиреръ. Мало того, есть и признанія со стороны лицъ, стоящихъ по своимъ воззрѣніямъ совершенно самостоятельно по отношенію къ школѣ. Не считая указанія Фалькенберга, въ юбилейной рѣчи о Кантѣ отмѣтившаго книгу Когена «Kants Theorie der Erfahrung» какъ крупное явленіе въ философіи<sup>1)</sup>), можно указать на появившееся въ послѣднее время отзывы объ Этикѣ чистой воли проф. теолога Hermann'a и соціолога Tönnies'a, отзывы, далеко не считающие Этику чистой воли продуктомъ скудоумія и неудачнаго каби-

1) Фалькенбергъ указываетъ выдающуюся проницательность (eminnerter Scharsfiness) Когена и говоритъ о значеніи ея слѣдующее: «Der Wert dieser Leistung steht ausser Frage, und ohne Zweifel ist hier ein Ideal zur Ausfhrung gelangt, das bei dem Aufbau der Kantischen Erkenntnisstheorie, freilich nur halb bewusst, mit im Spiele war». Dr. Rich. Falkenberg: „Kant und das Jahrhundert“. 2 Auflage, S. 15.

2) W. Hermann, извѣстный въ Германіи теологъ, называетъ этику Когена не продуктомъ „скудости и беспомощности кабинетнаго измышенія“, а „наукой“, съ которой приходится считаться *прежде всего*, Seine Ethik des reinen Willens (2 Aufl. 1907) im Verein mit seiner Logik des reinen Denkens (NB! Очевидная опечатка, ибо логика Когена называется «Logik der reinen Erkenntniss») kann uns Theologen die Wissenschaft representieren, mit der wir uns vor allem auseinanderzusetzen haben. Religion in Cohens und Natorps Ethik, S. 61. Zeitschrift für Theologie und Kirche, Tübingen, 1909, Januar. Признавая недостатки въ построеніяхъ Когена, не соглашаясь, требуя исправленій, Tönnies говоритъ о Когенѣ не какъ о скудоумномъ философѣ, а называетъ его мыслителемъ (Denker), въ его этикѣ видѣть «сильную мысль» (... man wird nicht leugnen können, dass ein starkes Gedankengebilde vorliegt...); мало того, указываетъ, что даже слабыя стороны построеній Когена тѣмъ яснѣе обнаруживаются выдающееся значение этой новой системы этики (... dürfte doch ausgesprochen sein, wie sehr die Erinnerung an die schwächeren Seiten der Cohenschen Gedankenbildung nur dazu dienen soll, die hervor-

нетнаго измышленія<sup>2)</sup>) Можно, далѣе, указать также на цѣлый рядъ явленій въ философской литературѣ, родственныхъ по тенденціямъ построеніямъ въ научномъ идеализмѣ Когена и его школы. Въ области Логики такое положеніе занимаетъ, напримѣръ, Шуппе «Erkenntnisstheoretische Logik», Гуссерль «Logische Untersuchungen», А. И. Введенскій: «Логика, какъ часть теоріи познанія». Спб. 1909. Въ области этики Липпсъ: «Ethik». Сюда же нужно отнести и недавно появившуюся статью Риккера: „Zwei Wege der Erkenntnisstheorie“, въ которой опредѣленно и недвусмысленно признается законность и правомѣрность постановки вопроса и методовъ изслѣдованія въ трансцендентальной или чистой логикѣ<sup>1)</sup>.

Или проф. Новгородцевъ склоненъ думать, что и здѣсь мы имѣемъ передъ сложностью современныхъ проблемъ всего лишь скучность кабинетныхъ измышленій? Однако, чтобы подобный «юморъ», по счастливому выражению Риккера<sup>2)</sup>, былъ нечто большее, чѣмъ «persönliche Unhöflichkeit», для этого требуются въ первой линіи и главнымъ образомъ логическая доказательства. Къ сожалѣнію, вместо того проф. Новгородцевъ избралъ другой путь критики, не требующій ни цитать изъ Канта, ни цитать изъ Логики Когена, ни даже вѣрныхъ и точныхъ цитать изъ критикуемой книги г. Савальскаго (см. гл. II и III), не говоря уже о выраженіяхъ, достоинства которыхъ способны вызвать иногда величайшее смущеніе. Въ ученой рецензіи проф. Нов-

ragende Bedeutung dieses neuesten System der Ethik in helles Licht zu stellen...) Ethik und Socialismus. S. 909, 93d. Archiv für S.—W. und S.—P. herausgegeben von Sombart und Weber, November 1909, Band 29, Heft III.

1) Защищая чистоту трансцендентального метода противъ психологизма той группы неокантіанцевъ, которую я называлъ въ своей книжѣ направлениемъ Виндельбанда-Риккера, я не могу не привѣтствовать съ живѣйшей радостью этой статьи Риккера, въ которой до извѣстной степени вижу фактическое оправданіе своей критики, такъ какъ Риккеръ совершенно опредѣленно называетъ психологизмомъ тотъ путь въ теоріи познанія, которымъ онъ двигался до сихъ поръ, и признаетъ законность и даже отчасти намѣчаетъ второй „чисто-логическій“. Какъ разрѣшится въ концѣ концовъ этотъ кризисъ, переживаемый интереснымъ писателемъ, и удастся ли ему въ обѣщаемой имъ систематической логикѣ дѣйствительно удержать оба пути, какъ равно-законные въ теоріи познанія, покажетъ будущее. H. Rickert, Zwei Wege der Erkenntnisstheorie, Halle, 1909. Первоначально помѣщена въ Kantstudien Bd. XIV, Hf. 2.

2) Op. cit. S. 7 примѣч.

городцева дѣло идетъ почему-то не столько обѣ отрицаемой имъ философіи научнаго идеализма и ея методѣ, сколько о лицахъ, участвующихъ въ спорѣ. Въ результатѣ получилась не философская критика понятій, а характеристика дѣйствующихъ лицъ. И какая характеристика!

Русскій послѣдователь Германа Когена рисуется все время исключительно черными красками. Какъ будто проф. Новгородцевъ выступаетъ съ критикой не философскихъ понятій, а въ роли поэта ложноклассической драмы, рисующей злодѣевъ по правиламъ *L'art poétique*: ужъ если злодѣй, то злодѣй до корня волосъ, ни одной черты человѣческой слабости, совершенный и полный злодѣй: не только сектантъ, но и фанатикъ; не только догматикъ, но суевѣрный догматикъ; не только ошибается порой, но обладаетъ свойствомъ ошибаться — сплошь дилеттантъ.

Что же касается ученія Германа Когена, то это ученіе проф. Новгородцевъ, если и опровергаль, то все время... отрицаніями безъ доказательствъ (см. выше гл. III со второй половины). Между тѣмъ въ заключеніе, лирически сославшись на «страшную сложность современныхъ проблемъ» (какъ будто кто отрицаетъ эту сложность!), но осторожно умолчавъ о томъ, *въ чёмъ*, по его мнѣнію, состоятъ эти проблемы и ихъ сложность и *почему* нужно думать, что передъ нами дѣйствительно проблемы, а не плодъ нашего воображенія (что собственно и требуется доказать), забывъ при этомъ даже о томъ, что философія въ первой линіи стоитъ передъ ложностью не современныхъ, а вѣчныхъ проблемъ, проф. Новгородцевъ вдругъ убѣдился, что его философскій противникъ повиненъ «во всей скучности (!) и беспомощности (!) кабинетнаго (!) измышенія (!)...» т.-е., проще говоря, въ скудоумії?

Что такая критика не въ состояніи ничего доказать и не можетъ ничего опровергнуть, обѣ этомъ едва ли нужно говорить. Не знаю, кого эта критика могла бы убѣдить и въ томъ, что въ интересахъ философіи вообще необходимо отрѣшиваться отъ философіи Когена. Значеніе и смыслъ этой критики опредѣляются слѣдующими словами Канта, которыми я и закончу свой отвѣтъ проф. Новгородцеву:

«Только очень немногие, говорить Кантъ, прежде чѣмъ взять на себя смѣлость произнести свое сужденіе о томъ или другомъ произведеніи, бросаютъ смѣлый взглядъ на трудъ въ его цѣломъ

и разсматриваютъ первѣе всего то соотношеніе основныхъ частей, въ какое они могли бы стать, если бы восполнить извѣстные недостатки и исправить погрѣшности. Критика этого рода читателей и есть самая полезная для успѣховъ человѣческаго познанія. Что же касается остальныхъ, которые не въ состояніи обозрѣть единства большого цѣлага, которые ворчливо привязываются къ тѣмъ или другимъ мелочамъ, не заботясь о томъ, касается ли ихъ упрекъ, хотя бы и заслуженный, также и цѣнности цѣлага, и не могутъ ли поправки отдѣльныхъ частей спасти основного плана, неудовлетворительного лишь въ мелочахъ, то всѣ эти читатели, только и стремящіеся къ тому, чтобы разбить вдребезги всякое едва начатое научное построеніе, хотя и способны вселить тревогу и страхъ, благодаря тому, что ихъ много, однако сужденіе ихъ, что касается рѣшенія вопроса о томъ, что воистину цѣнно, имѣетъ въ глазахъ разумныхъ людей мало значенія»<sup>1)</sup>.

В. Савальскій.

---

<sup>1)</sup> Kants sammliche Werke. Akademie Ausgabe Bd. II, S. 67 (Der einzige moggliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes).

## Г. Савальский о самомъ себѣ и о другихъ.

Si tacuisses, philosophus mansisses.

Прошло болѣе года съ тѣхъ поръ, какъ на страницахъ этого журнала я помѣстилъ свой разборъ столько же претенціозной, сколько и неудачной книги г. Савальскаго о философіи Когена. За это время отношеніе къ названной книгѣ достаточно опредѣлилось. Я не могу, конечно, ссыльаться здѣсь на отзывы не напечатанные, но для меня интересно отмѣтить, что книга г. Савальскаго встрѣтила рѣшительное осужденіе и со стороны тѣхъ, кто, казалось бы, долженъ былъ взять его подъ свою защиту. Я имѣю въ виду мнѣніе, высказанное въ новомъ философскомъ журналь «Логосъ», поднимающемъ то же знамя научнаго идеализма, подъ которое тщится стать и г. Савальскій. Согласие съ моимъ отзывомъ выражено въ «Логосѣ» однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ журнала г. Б. Яковенко. Указывая, что въ русской литературѣ нѣть еще достаточно серьезной оценки философіи Когена, г. Б. Яковенко поясняетъ: «Объемистая работа Савальскаго о Когенѣ (Основы философіи права въ научномъ идеализмѣ. 1.1908) проникнута какимъ-то наивнымъ духомъ поклоненія и въ этомъ отношеніи вполнѣ заслуженно вызвала о себѣ такой отзывъ, какой ей данъ проф. Новгородцевымъ.» («Логосъ» № 1, стр. 200 и 240).

Мнѣ нѣть необходимости приводить еще и другія данныя для подтвержденія того, что я не былъ одиночимъ въ своемъ отношеніи къ диссертациі г. Савальскаго. Что его первая работа была и его первой неудачей въ научной области, это во всякомъ случаѣ не только мое личное мнѣніе.

При такихъ условіяхъ г. Савальскому слѣдовало бы, кажется, болѣе сознательно отнестись къ сдѣланнымъ ему указаніямъ и

постараться загладить крайне неблагопріятное впечатлѣніе отъ первой своей книги другими работами, болѣе цѣнными. Онъ могъ бы, конечно, ослабить или опровергнуть какія-либо изъ отдѣльныхъ моихъ возраженій, но прежде всего ему слѣдовало бы обратить свою критику на свое собственное произведеніе и на тѣ его особенности, которая вызвали осужденіе. Г. Савальскій поступилъ какъ разъ наоборотъ: критическій отзывъ о своей книгѣ онъ объявилъ ничтожнымъ и не заслуживающимъ вниманія, а книгу свою вполнѣ удовлетворительной. «Я, разумѣется, далекъ отъ мысли считать свою книгу совершеннай и безъ недостатковъ. Такой книги еще никто не написалъ. Вл. Соловьевъ думалъ даже, что если такая книга вообще возможна, ея авторомъ будетъ антихристъ». (Стр. 377). Эта ссылка въ устахъ г. Савальскаго прямо великолѣпна; ее надо усердно рекомендовать авторамъ плохихъ диссертаций. Мы не требовали, конечно, отъ г. Савальскаго, чтобы онъ написалъ такую книгу, «какой еще никто не написалъ», и еще менѣе того ожидали, что именно онъ уподобится антихристу. Но это превосходное сопоставленіе понадобилось ему для того, чтобы занять позицію совершенно неуязвимую. Въ самомъ дѣлѣ, что скажешь г. Савальскому, когда онъ заявляетъ, что лучше его могъ написать только антихристъ.

Справедливость заставляетъ меня признать, что г. Савальскій не ограничился однимъ голословнымъ заявлениемъ, что его книга нуждается въ исправлениіи лишь въ той мѣрѣ, какъ и всякая другая книга. Онъ подробно объясняетъ—къ этому и ведеть вся его статья—что все у него въ порядкѣ и на мѣстѣ, а мои критическія замѣчанія являются просто плодомъ какой-то непонятной и злонамѣренной ворчливости. Благосклонно снисходя къ моей молодости и неопытности, онъ поучаетъ меня, что я собственно началъ не съ того конца: вотъ, если бы я разобралъ то-то и то-то, обратилъ вниманіе на то и то, и вмѣсто того чтобы осторожно скользить по поверхности, отважно спустился въ глубину, ему, г. Савальскому, давно уже доступную, тогда я убѣдился бы, насколько я былъ неправъ, а его книга прекрасна. Для того, чтобы окончательно обратить меня на путь должнаго, г. Савальскій указываетъ мнѣ и на этику, и на эстетику, противъ которыхъ, оказывается, я очень погрѣшилъ, характеризуя его книгу.

Я, конечно, мгновенно раскаиваюсь и рѣшаюсь слѣдовать по пути, указанному моимъ неожиданнымъ руководителемъ. Для этой цѣли обращаюсь къ статьѣ г. Савальскаго и стараюсь проникнуться преподанными мнѣ разъясненіями. Но тутъ мое рвение сразу охлаждается нѣкоторыми досадными препятствіями. Статья моего любезнаго ментора, подобно его книгѣ, имѣетъ видъ очень впечатлительный: опять многочисленныя примѣчанія, ссылки, упоминанія цѣлаго ряда авторовъ; на каждое мое слово у г. Савальскаго готово десять и даже двадцать словъ, и притомъ весьма солидныхъ и ученыхъ. Но подъ этимъ тяжеловѣснымъ покровомъ научнообразныхъ разглагольствованій я сразу замѣчаю тѣ же особенности, которыя такъ невыгодно отличали диссертaciю г. Савальскаго.

Такъ, уже самое первое возраженіе нашего автора свидѣтельствуетъ о томъ, сколь мало взвѣшиваетъ онъ свои слова. «Критикъ мой,—такъ пишетъ г. Савальскій—пожелалъ не замѣтить, что я говорю не о философахъ; а о системахъ философіи. Цитируя мои слова, онъ передаетъ мою мысль, какъ утвержденіе о томъ, что «системы философіи базируются» и т. д., а потомъ въ опроверженіе моей мысли ссылается не на системы философіи, а на отдельныхъ философовъ Демокрита и Шеллинга, что далеко не одно и то же, какъ это можно видѣть на примѣрѣ Шеллинга, создавшаго, по указанію Виндельбанда, до пяти философскихъ системъ». Читатель, который возьметъ на себя трудъ заглянуть и въ диссертaciю г. Савальскаго, и въ мою рецензiю, увидитъ, что оба мы говоримъ объ одномъ и томъ же: сначала о системахъ философіи, создаваемыхъ отдельными философами, а потомъ и объ отдельныхъ философахъ. Вѣдь это самъ г. Савальскій въ подтвержденіе своей мысли сослался на отдельныхъ философовъ (3 и 4 стр. его диссертaciи). Я шелъ по его слѣдамъ, и что мое возраженіе какъ разъ попало въ цѣль, видно изъ того, что теперь при перечисленіи типическихъ рационалистовъ онъ выкинулъ какъ разъ тѣхъ философовъ, относительно которыхъ я замѣтилъ, что они сюда не подходятъ. Все это, конечно, не имѣетъ существеннаго значенія, но важно то, что при этомъ обнаруживается сущность полемическихъ пріемовъ г. Савальскаго. Ничего не опровергнувъ въ моемъ возраженіи, онъ вслѣдъ за тѣмъ высказываетъ цѣлый рядъ сужденій, которыя всѣ, можетъ быть, очень справедливы, но имѣютъ

ту общую особенность, что нисколько не подтверждаютъ положенія, на которое я нападаю и которое выражено у г. Савальскаго такъ: «творческая игра генія философіи въ непрестанной борбѣ понятій между собою созидаеть системы, базируя ихъ всякий разъ на одномъ изъ трехъ источниковъ познанія». Зачѣмъ же было эти сужденія приводить? То же повторяется на всемъ протяженіи статьи г. Савальскаго: добрая половина ея совершенно безразлична для предмета нашего спора. Конечно, такъ можно спорить безъ конца; но интересно ли это для кого бы то ни было, кромѣ автора этихъ филозофическихъ упражненій?

Другой родъ полемическихъ пріемовъ г. Савальскаго еще болѣе останавливаетъ меня въ моемъ стремлениі слѣдовать за нимъ по пути его размышленій надъ различными темами изъ области философіи. Я говорю о странномъ фокусѣ, который продѣлывается на глазахъ у читателя въ томъ мѣстѣ, гдѣ для меня приготовленъ самый опасный ударъ. Дѣло идетъ здѣсь о томъ моемъ возраженіи, которое представляется г. Савальскому особенно неосновательнымъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ онъ пишетъ: «всѣ возраженія моего критика, существующія доказать мое дилеттансство, блѣднѣютъ передъ слѣдующими...» Далѣе разбирается мое замѣчаніе, что г. Савальскій характеризовалъ точку зрѣнія новой и новѣйшей культуры формулой, имѣющей весьма древнее происхожденіе, но по его словамъ «высказанной впервые у Макіавелли и формулированной потомъ у Гуго Гроція». По моему совѣту, г. Савальскій обратился къ руководству Чичерина и убѣдился, что формула, о которой онъ говорилъ, вовсе не высказана впервые у Макіавелли, а дѣйствительно заимствована у Аристотеля и Цицерона. Но для того, чтобы спасти хотя что-нибудь, въ качествѣ элементовъ новаго времени, онъ откладываетъ въ сторону Чичерина и представляеть дѣло такъ, какъ будто бы въ формулу Гроція вошли дѣйствительно новые понятія, которыхъ не было у древнихъ мыслителей: «въ отличіе отъ формулы Аристотеля въ формулѣ Гроція сказано не просто союзъ (*соетус*, *κοινωνία*), а совершенный союзъ (*perfectus соетус*), а въ отличіе отъ Цицерона сказано: не просто *соетус*, а *perfectus соетус* и не просто *hominum*, а *liberorum hominum*». Такъ утверждаетъ г. Савальскій. Но что если читатель въ самомъ дѣлѣ наведетъ справку въ руководствѣ Чичерина? Вѣдь онъ найдетъ тамъ именно то, о чёмъ г. Саваль-

скій столь тенденціозно умолчалъ: «къ опредѣленію Цицерона Гроцій прибавилъ заимствованный у Аристотеля эпитетъ: *совершенный*» (Ч. 2, стр. 14). А обратившись къ самому Аристотелю, читатель увидитъ, что въ тѣхъ мѣстахъ, которыя имѣетъ въ виду Чичеринъ, государство и опредѣляется именно, какъ союзъ совершенный, и притомъ въ томъ же самомъ смыслѣ, какъ у Гроція<sup>1)</sup>. Что же нового найдемъ мы у Гроція, если вспомнить, что и понятіе о союзѣ свободныхъ людей было уже у Аристотеля? Такимъ образомъ справки и ссылки г. Савальского, сдѣланныя имъ неполно и неточно, привели только къ большому для него конфузу. Этотъ конфузъ еще усугубляется тѣмъ обстоятельствомъ, что, вдругъ спохватившись, г. Савальскій оговаривается въ примѣчаніи, что собственно и Аристотель считалъ государство совершеннымъ союзомъ, да только въ нѣсколько иномъ смыслѣ, чѣмъ Гроцій. Не подождать ли намъ еще и важнѣйшихъ опечатокъ, при помощи которыхъ г. Савальскій исправлялъ иногда въ своей диссертациіи смыслъ текста?

Но довольно. Читатель пойметъ, почему я не хочу слѣдовать далѣе за г. Савальскимъ. Изобличать его въ противорѣчіяхъ, недоразумѣніяхъ и ошибкахъ легко, но бесполезно, ибо на мѣсто прежнихъ у него тотчасъ же выростаютъ новые. Я уже продѣлалъ однажды эту работу надъ его диссертацией, и не имѣю теперь ни времени, ни охоты повторять то же самое надъ его статьей. Но такъ какъ г. Савальскій и до сихъ поръ пребываетъ въ недоумѣніи относительно задачи моей рецензіи, а вмѣстѣ съ

<sup>1)</sup> Я могу указать здѣсь г. Савальскому эти мѣста. Ихъ не одно, а нѣсколько, но всѣ они близки по смыслу. Сюда относятся въ особенности: Polit. I, 2. 1252, b, 28; III, 5. 1281, b, 1; IV, 4. 1326, b, 8. (изд. Зуземиля). Я выбираю эти мѣста не произвольно, а на основаніи указаній Гроновія, за которымъ, какъ я имѣю основаніе предполагать, слѣдовалъ въ своемъ утвержденіи Чичеринъ (Гроновій указалъ два послѣднихъ мѣста изъ III и IV кн. или III и VII по изд. Гейнзія, которымъ онъ пользовался; мѣсто изъ I кн., которое я здѣсь привожу, совершенно аналогично этимъ двумъ мѣстамъ). Если бы г. Савальскій прочелъ комментарій Гроновія и сравнилъ съ этимъ переводъ и паррафразу Гейнзія къ „Политикѣ“ Аристотеля, онъ увидѣлъ бы, насколько сходно толкуются опредѣленія Гроція и Аристотеля. Но г. Савальскій не прочиталъ даже какъ слѣдуетъ и Чичерина и взялъ то мѣсто изъ Аристотеля, которое вовсе не является главнымъ и единственнымъ среди Аристотелевскихъ опредѣленій государства. Вотъ это и есть тотъ совершенно недопустимый дилетантизмъ, который такъ пагубно отразился на книгѣ нашего автора и сплѣш проходитъ и чрезъ настоящую его статью.

тѣмъ пытается и читателя ввести въ заблужденіе по этому предмету, то я считаю необходимымъ закончить настоящую замѣтку краткимъ послѣсловіемъ къ моему ранѣе напечатанному отзыву.

Въ своей отвѣтной статьѣ г. Савальскій приводитъ рядъ тезисовъ, которыхъ я не разбиралъ, но по его мнѣнію долженъ бы быть разобрать. Онъ указываетъ далѣе на то, что я не даль настоящаго опроверженія Когена, такъ какъ «опровергалъ его отрицаніями безъ доказательствъ». Наконецъ, онъ удивляется, что въ своей рецензіи я не подвергнулъ анализу философію научнаго идеализма, хотя и долженъ былъ это сдѣлать. Всѣ эти претензіи являются въ высшей степени неосновательными<sup>1)</sup>. Моя критическая статья имѣла своимъ предметомъ не систему Когена и не философію научнаго идеализма, а только и исключительно книгу г. Савальскаго. При этомъ я опредѣлилъ свою задачу слѣдующимъ образомъ: «я предъявлю къ диссертациѣ г. Савальскаго минимальныя требованія; я разсмотрю, насколько въ его работѣ выполнены общеобязательныя правила научнаго анализа при изложеніи и истолкованіи Когена. Вѣдь это и былъ въ сущности основной и главный предметъ изслѣдованія г. Савальскаго. Посмотримъ что онъ сдѣлалъ въ этомъ отношеніи». Вотъ о чёмъ я писалъ, а вовсе не о Когенѣ и не о научномъ идеализмѣ, и вотъ почему я не опровергалъ ни того, ни другого, ни съ доказательствами, ни безъ доказательствъ. Конечно, и книга г. Савальскаго могла бы послужить поводомъ къ критикѣ философскаго направлениія марбургской школы и основъ научнаго идеализма, но для этого прежде всего было необходимо, чтобы она была точнымъ выраженіемъ тѣхъ началъ, на защиту которыхъ она выступаетъ. Обращаясь къ произведенію нашего автора, мы находимъ, что это основное требованіе въ немъ не выполнено. Книга изобилуетъ ошибками, противорѣчіями, недосмотрами, и какъ разъ въ той части своей, гдѣ она подходитъ къ главному своему предмету — изложенію основъ философіи права, — она даетъ лишь искаженный и неправильный образъ

<sup>1)</sup> Къ числу такихъ же претензій я отношу и утвержденіе г. Савальскаго, будто бы „нашъ споръ о Кантѣ можно считать оконченнымъ“. На самомъ дѣлѣ, съ моей стороны этотъ споръ даже и не начинался, и не только потому что замѣчанія г. Савальскаго о моей книжѣ я считаю для себя не интересными, но прежде всего потому что я признаю ихъ основанными на совершенно ложномъ представлениі о самыхъ главныхъ пунктахъ моего изложенія философіи Канта.

системы Когена. Въ своей рецензії я показалъ, что ни одинъ изъ самыхъ основныхъ пунктовъ «Этики чистой воли» не выясненъ у г. Савальского: почти сплошь они даже непонятны имъ. Его отвѣтная статья только болѣе меня въ этомъ убѣждаетъ. Хотя онъ и согласился, напримѣръ, съ моимъ указаніемъ, что понятіе юридического лица дѣйствительно играетъ центральную и важную роль въ «Этикѣ чистой воли», однако и теперь онъ думаетъ, что принципіальной погрѣшности въ томъ, что онъ не выяснилъ этого ранѣе не было никакой. Кто внимательно прочтетъ указанныя въ моей рецензії мѣста изъ «Этики чистой воли», тотъ увидитъ, до какой степени и сейчасъ г. Савальскій находится въ неясности относительно главныхъ основъ ученія Когена. То же повторяется и по всѣмъ другимъ пунктамъ, въ которыхъ, какъ указано было мною, г. Савальскій даетъ неправильное изображеніе «Этики чистой воли»: и по этимъ пунктамъ онъ обнаруживаетъ въ своей статьѣ болѣе полемического задора, чѣмъ философскаго стремленія къ истинѣ. Вмѣсто того, чтобы разбирать по существу и шагъ за шагомъ мои возраженія, онъ высказываетъ рядъ сужденій, большая часть которыхъ стоитъ лишь въ очень слабой связи съ соответствующими мѣстами его диссертации, подвергшимися моему нападенію. Читатель легко убѣдится въ этомъ, просмотрѣвъ § IV моей рецензії, гдѣ я говорю объ «Этикѣ чистой воли», и сравнивъ съ этимъ объясненія г. Савальского. Поколебать мои выводы эти объясненія никоимъ образомъ не могутъ.

Но если выводы эти были правильны, критику, очевидно, ничего не оставалось, какъ засвидѣтельствовать неудачу разбираемой книги и на этомъ остановиться. Подвергать обсужденію, на основаніи этой книги, направленіе Марбургской школы было бы въ высшей степени несправедливо. Г. Савальскій удивляется, что въ моей рецензії дѣло идетъ «почему-то» не столько о философіи научнаго идеализма, «сколько о лицахъ, участвующихъ въ спорѣ». Если принять во вниманіе, что я имѣлъ въ виду не многихъ лицъ, а только одно и совершенно опредѣленное лицо,—«руssкаго послѣдователя Германа Когена»—недоумѣніе г. Савальского разъясняется очень просто. Я характеризовалъ, однако, это лицо, не какъ члена семьи, товарища или гражданина, а только какъ автора совершенно опредѣленной книги, и если характеристика моя не понравилась этому автору, въ этомъ

виновны не правила ложно-классической драмы, какъ онъ это предполагаетъ, а исключительно правила того ложно-философскаго искусства, по которымъ онъ писалъ свою книгу.

Г. Савальскій удивляется и моему заключительному совѣту, который, кстати сказать, онъ передаетъ очень источно. Я рекомендовалъ ему «болѣе серьезно заняться своимъ предметомъ и отрѣшиться отъ ферулы Когена». Къ сожалѣнію, на первую часть моего указанія онъ не обратилъ должнаго вниманія (чѣмъ въ значительной степени и объясняется содержаніе его отвѣтной статьи), а вторую понялъ такъ, будто бы я совѣтую ему отказаться «отъ идеализма и научной философіи». Отрѣшиться отъ чьей бы то ни было «ферули» — да будетъ вѣдомо это г. Савальскому — значитъ прежде всего освободиться отъ того «наивнаго духа поклоненія», который не однимъ мною отмѣченъ, какъ характерная черта его «научной философіи». И пусть г. Савальскій не прячется за тѣхъ настоящихъ представителей научнаго идеализма, о которыхъ я въ своей рецензіи сказалъ, что ихъ опыты по этикѣ и философіи права принадлежитъ «выдающееся и первостепенное мѣсто въ современной философской литературѣ». Онъ все же останется лишь ихъ неудачнымъ русскимъ послѣдователемъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ я очень прошу г. Савальскаго не приписывать мнѣ такихъ вещей, которыя являются чистымъ плодомъ его своеобразнаго полемического искусства. Когда онъ упрекаетъ меня въ томъ, что я обвиняю Когена «въ скудоумії» (sic!), вся нелѣпость такого обвиненія ложится прежде всего на сго изобрѣтателя. Когда онъ утверждаетъ, что я говорю о Когенѣ, какъ будто бы дѣло шло «о какомъ-то неблагонамѣренномъ основателѣ неблагонадежнаго кружка», ясно и тутъ, что юморъ г. Савальскаго не особенно счастливаго рода: онъ, очевидно, забылъ, что уловленіе лицъ неблагонадежныхъ есть функція власти полицейской и къ философскимъ занятіямъ отношенія не имѣетъ.

Что же касается заключительныхъ сужденій и цитатъ г. Савальскаго, то я не стану напоминать ему ни этики, ни эстетики, хотя и имѣлъ бы на то болѣе основаній, чѣмъ онъ: я просто обращаю его вниманіе на мудрое латинское присловье, которое все время было у меня въ головѣ, когда я читалъ его отвѣтную статью: *«si tacuisses, philosophus mansisses»*.

П. Новгородцевъ.

# Материалы для журнальной статистики.

Въ 1910 г. экземпляры журнала „ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ и ПСИХОЛОГИИ“ распредѣлялись по мѣсту подпиши елѣдующимъ образомъ:

№	ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ.	экз.	№	ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ.	экз.
1	Кievская . . . . .	50	49	Астраханская . . . . .	6
2	Херсонская . . . . .	46	50	Витебская . . . . .	6
3	Харьковская . . . . .	27	51	Костромская . . . . .	6
4	Волынская . . . . .	25	52	Люблинская . . . . .	6
5	Области Воїска Донск.	24	53	Минская . . . . .	6
6	Казанская . . . . .	23	54	Ставропольская . . . . .	6
7	Кубанская . . . . .	23	55	Бакинская . . . . .	5
8	Лифляндская . . . . .	23	56	Гродненская . . . . .	5
9	Варшавская . . . . .	22	57	Енисейская . . . . .	5
10	Нижегородская . . . . .	21	58	Курляндская . . . . .	5
11	Саратовская . . . . .	20	59	Ковенская . . . . .	5
12	Полтавская . . . . .	19	60	Тобольская . . . . .	5
13	Таврическая . . . . .	17	61	Эриванская . . . . .	5
14	С.-Петербургская . . . . .	16	62	Кутаисская . . . . .	4
15	Тифлисская . . . . .	16	63	Могилевская . . . . .	4
16	Тамбовская . . . . .	16	64	Олонецкая . . . . .	4
17	Томская . . . . .	16	65	Черноморская . . . . .	4
18	Екатеринославская . . . . .	15	66	Архангельская . . . . .	3
19	Пермская . . . . .	15	67	Забайкальская . . . . .	3
20	Виленская . . . . .	14	68	Петроковская . . . . .	3
21	Вятская . . . . .	14	69	Сувалкская . . . . .	3
22	Воронежская . . . . .	14	70	Елизаветпольская . . . . .	2
23	Пензенская . . . . .	14	71	Закаспийская . . . . .	2
24	Ярославская . . . . .	14	72	Карская обл. . . . .	2
25	Московская . . . . .	13	73	Кѣлецкая . . . . .	2
26	Тульская . . . . .	13	74	Самаркандская обл. . . . .	2
27	Орловская . . . . .	12	75	Сѣдлецкая . . . . .	2
28	Приморская . . . . .	12	76	Якутская . . . . .	2
29	Вологодская . . . . .	11	77	Батумская . . . . .	1
30	Оренбургская . . . . .	11	78	Дагестанская . . . . .	1
31	Смоленская . . . . .	11	79	Калишская . . . . .	1
32	Тверская . . . . .	11	80	Ломжинская . . . . .	1
33	Амурская . . . . .	10	81	Радомская . . . . .	1
34	Бессарабская . . . . .	10	82	Семирѣченская . . . . .	1
35	Владимирская . . . . .	10	83	Семипалатинская . . . . .	1
36	Новгородская . . . . .	9	84	Тургайская обл. . . . .	1
37	Подольская . . . . .	9	85	Уральская обл. . . . .	1
38	Симбирская . . . . .	9	86	Ферганская . . . . .	1
39	Самарская . . . . .	9	87	Эстляндская . . . . .	1
40	Иркутская . . . . .	8		Итого по губерніямъ	857
41	Курская . . . . .	8		Москва . . . . .	222
42	Калужская . . . . .	8	II	С.-Петербургъ . . . . .	160
43	Рязанская . . . . .	8	III	За границу . . . . .	38
44	Уфимская . . . . .	8	IV	Итого .	1277
45	Черниговская . . . . .	8		(Безпл. и обмѣнныхъ).	133
46	Псковская . . . . .	7			
47	Сырь-Дарынськая . . . . .	7			
48	Терская . . . . .	7			

# ФИЛОСОФСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ, == — — — — —      обозрѣнія и проч.,

издаваемыя подъ редакціей проф. Г. Челпанова.

## СОДЕРЖАНИЕ.

- Т. I. Вып. 2-й. Щербина, А. М. Ученіе Канта о вещи въ себѣ.  
 Вайнштейнъ, А. Э. Ученіе о реальности по Шубертъ-Зольдерну.  
 Челпановъ, Г. И. Авенааріусъ и его школа.
- Т. I. Вып. 3-й. Щербина, А. М. Ученіе Канта о вещи въ себѣ (окончаніе).  
 Зѣньковскій, В. В. Современное состояніе психо-физической проблемы.  
 Шпеттъ, Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта (Введеніе).  
 Челпановъ, Г. И. Апріоризмъ и эмпиризмъ (отвѣтъ проф. Гиллярову).
- Т. I. Вып. 4-й. Шпеттъ, Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта.  
 Челпановъ, Г. И. Рецензія на соч. И. С. Продана „О памяти“.  
 Отчетъ о дѣятельности Псих. Семинари за 1902—1906 г.
- Т. II. Вып. 5-й. Блонскій. Ученіе Беркли о реальности.

**Цѣна за каждый выпускъ 1 р.**

Складъ изданія въ редакціи журнала „Вопросы Философии и Психологии“ и въ книжномъ магазинѣ Н. Л. Карбасникова, Москва, Моховая, противъ Университета.

# РУССКАЯ МЫСЛЬ.

3-го декабря вышла въ Москвѣ декабрьская книжка.

**Оглавление:** 1) Два стихотворения.—Николая Морозова. 2) Последние страницы изъ дневника женщины.—Валерія Брюсова. 3) Въ маленькомъ городкѣ. Романъ Гастона Кронье. Съ франц.—Перев. З. Н. Журавской. Оконч. 4) Два стихотворения.—Федора Сологуба. 5) Андрей Щербина. Романъ.—П. А. Сергеенка. Оконч. 6) Въ лѣсу. Рассказъ.—В. Тардова (Т. Ардова). 7) Аракчеевъ.—А. А. Кизеветтера. 8) Странный городъ у странного моря. Изъ быкинскихъ впечатлѣній.—Сѣверинина. 9) По „обновленной Турции“.—В. Я. Богучарского. 10) Профессиональное рабочее движение и национальные противорѣчія. Письмо изъ Австрии.—А. Глѣбова. 11) П. Д. Боборыкинъ. (1860—1910).—Д. В. Философова. 12) Изъ новыхъ течений въ области химіи. В. Остwaldъ и возрожденіе атомизма.—М. Н. Попова. 13) Мысли Льва Толстого. I. Слова Толстого.—З. Н. Гиппіусъ. II. Изъ бесѣдъ въ „Ясной Полянѣ“.—И. Ф. Наживина. III. Толстой о Пушкинѣ.—Д. В. Философова. 14) На похоронахъ Толстого. Впечатлѣнія и наблюденія.—Валерія Брюсова. 15) Жизнь и смерть Льва Толстого. I. Смыслъ жизни Толстого. II. Смыслъ смерти Толстого.—Петра Струве. 16) Судьба Льва Толстого.—Максимилиана Волошина. 17) Память Льва Толстого.—С. Л. Франка. 18) На смерть Толстого.—С. Н. Булгакова. 19) Въ Россіи и за границей. Обзоры и замѣтки. 1. Политическая жизнь Россіи. А. С. Изгоева.—2. Самоуправление въ Россіи. В. С. Голубева.—3. Португальская республика. Л. И. Гальберштадта.—4. Потсдамское свиданіе. П. Б. Струве.—5. Германія на Ближнемъ и Среднемъ Востокѣ. Л. И. Гальберштадта.—6. Разочарованія и предчувствія. Антона Крайняго.—7. Синтетическая замѣтка о французской литературѣ 1910 года. Рене Гиля.—8. Религіозная жизнь на Западѣ. С. Н. Булгакова.—9. Изученіе русского сектантства. Д. В. Философова.—10. Германія въ дѣлѣ воздухоплаванія. М. Л. Франка.—11. Библиогр. отд.

## Открыта подписка на 1911 годъ.

### УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Годъ.	9 мѣс.	6 мѣс.	3 мѣс.
-------	--------	--------	--------

Съ дост. и перес.: 15 р.	11 р. 25 к.	7 р. 50 к.	3 р. 75 р.
--------------------------	-------------	------------	------------

За границу . . . 17 р.	12 р. 75 к.	8 р. 50 к.	4 р. 25 к.
------------------------	-------------	------------	------------

Цѣна отдельного номера въ продажѣ 1 руб. 50 коп.

Принимается подписка и производится розничная продажа №№ журнала въ Москвѣ: въ конторѣ журнала — Воздвиженка, Ваганьевский пер., д. № 3; въ кн. магаз. „Звено“, „Образование“, М. О. Вольфа, Н. П. Карбасникова и въ конторѣ И. Печковской; въ Петербургѣ — въ книжн. магаз. И. П. Карбасникова, М. О. Вольфа и кн. складѣ „Право“; въ Вильнѣ и Варшавѣ — въ кн. маг. Н. П. Карбасникова; въ Кіевѣ — въ кн. маг. Н. Я. Оглоблина; въ Одессѣ — въ кн. маг. „Трудъ“ и „Одесскія Новости“; въ Саратовѣ — въ кн. маг. „Нового Времени“.

### ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА „РУССКАЯ МЫСЛЬ“:

Кизеветтеръ, А. А. Мѣстное самоуправление въ Россіи. Ц. 50 коп.

Корниловъ, А. А. Общественное движение при Александрѣ II. Ц. 1 р. 25 к.

Вильямъ Джемсъ. Многообразіе религіознаго опыта. Ц. 2 руб. 50 коп.

Изгоевъ, А. С. Русское общество и революція. Ц. 1 руб.

Открыта подписка на 1911 годъ на журналы:

# 1) „Юная Россія“ „ДѢТСКОЕ ЧТЕНИЕ“

ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.  
СОРОКЪ ТРЕТИЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ допущенъ къ выпискѣ, по предварительной подпискѣ, въ ученическія библиотеки среднихъ учебныхъ заведеній, въ городскія, по Положенію 1872 г., училища и въ бесплатныя народныя читальни и библиотеки.

Въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки, 5 р. съ пересылкой, за границу 7 р.

Въ 1911 г. журналъ „Юная Россія“ („Дѣтское чтеніе“) дастъ всѣмъ подпишчикамъ: 12 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИЖЕКЪ,

въ составѣ которыхъ входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки; б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно-научные статьи; д) снимки съ портретовъ замѣчательныхъ людей, съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и проч.

**БЕСПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ:** I. Жизнь и поэзія Джорджа Байрона. Литературно-біографический очеркъ съ приложеніями избранныхъ стихотвореній. Сост. Н. Я. Абрамовичъ. II. Маркъ Твенъ. Юмористические разсказы. III. Оскаръ Уайльдъ. Духъ Кентервилля. Сказка въ пересказѣ Е. Н. Тихомировой. IV. Джекъ Лондонъ. Домъ Майди. Рассказъ изъ жизни полонезийскихъ островитянъ. V. Чарльзъ Робертъ. Орлиный нахѣбникъ. Расск. VI. Е. Опочининъ. Рассказы изъ русской жизни.

# 2) „Педагогический Листокъ“,

журналъ для воспитателей и народныхъ учителей.

СОРОКЪ ТРЕТИЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

1 р. 75 к. безъ пересылки, 2 р. съ пересылкой, за границу 3 р.

Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.

**ПОДПИСНАЯ ЦѢНА** на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, безъ пересылки 5 р.

**АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ:** Москва, Б. Молчановка, д. № 24. Подписька принимается и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Книгопродацамъ уступка 50%.

Плата за объявленія въ журналахъ „Юная Россія“ и „Педагогический Листокъ“: За стр. 40 р., за  $\frac{1}{2}$  стр. 20 р., за  $\frac{1}{4}$  страницы 10 р., за  $\frac{1}{8}$  стр. 5 р.

Издательница Е. Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

Прожурналъ „Юная Россія“ и „Педагогический Листокъ“ организованъ книжный складъ издапії Д. И. Тихомирова: 1) Библиотека для семьи и школы. 2) Учительская библиотека. 3) Учебники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается бесплатно по первому требованію.

Вопросы философіи, кн. 105.

## О Т К Р Й Т А П О Д П И С К А

на

**„Богословскій Вѣстникъ“**

1911-й годъ.

(Двадцатый годъ издания.)

Въ 1911 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника“ на прежнихъ основаніяхъ по ниже слѣдующей программѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводахъ (Св. Кирилл. Александр.).

II. Оригинальные изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событий изъ церковной жизни Россіи, православного Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, обѣ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемѣнахъ во вѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской и церковно-исторической литературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься протоколы Совѣта Академіи за 1910 годъ и автобіографическая записка Высокопреосвященнаго Саввы, архіепископа Тверского, за 1895—1896 годы.

Въ качествѣ приложенийъ къ журналу „Богословскій Вѣстникъ“ подписчикамъ его въ 1911 году будутъ предложены

## ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

**Твореній Преп. Ефрема Сирина.**

Подписанная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно съ приложениемъ книги преп. Исаака Сирина

**Восемь рублей съ пересылкой.**

*Прим.* Безъ пересылки **семь рублей**, за границу—**дѣсять**.

Допускается подписка на журналъ безъ приложения (цѣна 7 руб.). Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 юля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложения разсрочка: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 юля 3 руб.

За перемѣну адреса 20 коп.

*Прим.* Подписчики „Богословскаго Вѣстника“ со всѣхъ изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергиевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника“.

Редакторъ орд. проф. Заозерскій.

# Вѣра и Разумъ

въ 1911 году.

Журналъ выходитъ отдельными книжками **два раза** въ мѣсяцъ, по двѣя и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т.-е. годичное изданіе журнала состоять изъ 24 выпускъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 12 р. съ пересылкою.

*Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.*

**Подписка принимается:** въ Харьковѣ: въ редакціи журнала „Вѣра и Разумъ“ при Харьковской духовной семинаріи, въ харьковскихъ отдѣленіяхъ „Нового Времени“, во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣdomостей“; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровская линія; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостиная дѣ., № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ „Нового Времени“.

Открыта подписка

на религіозно-философско-научный журналъ

# ,ВѢСТИКЪ ТЕОСОФІИ“.

1911 г. (4-й годъ изданія). 1911 г.

## ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) статьи какъ оригиналныя, такъ и переводныя, по Теософіи, по сравнительному изученію религій, оккультизму, изслѣдованію психическихъ силъ, скрытыхъ въ природѣ и въ человѣкѣ, по психологіи и другимъ отраслямъ знаній;

2) свѣдѣнія о теософическомъ движеніи въ Россіи и за границей и о другихъ родственныхъ духовныхъ и общественныхъ движеніяхъ;

3) біографії выдающихся представителей теософического міросозерцанія и общественныхъ дѣятелей;

4) художественно-литературный отдѣль, какъ отраженіе въ искусствахъ теософического міросозерцанія;

5) отзывы о книгахъ, поступающихъ въ редакцію журнала, по вопросамъ теософіи, психологіи и др.;

6) справочный отдѣль, вопросы и отвѣты на вопросы подписчиковъ.

Журналъ выходитъ 7-го числа каждого мѣсяца, книжками въ форматѣ in 8<sup>0</sup> не менѣе пяти печатныхъ листовъ каждая, подъ редакціей А. А. Каменской, при участії Анны Безантъ, доктора Рудольфа Штейнера, Alba, П. И. Батюшкова, И. К. Боянуса, А. Ф. Вельцъ, В. Д. Гардиера, А. С. Гравлевской, С. И. Даць, И. К. Гернетъ, М. А. Каменской, К. Кудрявцева, Е. М. Кузмина, Н. Лихачевой, И. Манджари, Е. Нисаревъ (Е. П.), М. Станюковичъ, Д. Страндена, О. Д. Форшъ, Б. Ф., А. В. Унковской, И. Д. Успенского и др. Въ теченіе двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (июнь и юль) журналъ не выходитъ.

8\*

## Открыта подписка на 1911 годъ

(VII-ой ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ

# „СЕМЬЯ и ШКОЛА“.

Журналъ предназначенъ для дѣтей средняго возраста (10—12 лѣтъ), которымъ еще мало доступны существующіе у настѣ журнали болѣе старшаго возраста. При этомъ „Семья и Школа“ ставить своей задачей одинаково примѣняться какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и къ пониманію учениковъ начальной народной школы.

„Семья и Школа“ состоитъ изъ 12-ти ежемѣсячныхъ книжекъ журнала и 6 отдельныхъ книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“.

Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими преміями, ни такъ называемыми безплатными приложеніями, редакція „Семьи и Школы“ обращаетъ исключительное вниманіе на внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный подборъ матеріала, доступнаго и занимательнаго для дѣтей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношеніи, а также и на его изящную вѣшность. Для послѣдней цѣли текстъ журнала тщательно иллюстрируется художественно-исполненными рисунками, и, кроме того, въ каждой книжкѣ помѣщаются отдельныя картинки.

Имѣя въ виду распространеніе журнала въ школахъ, каждая книжка „Семьи и Школы“ составляется такимъ образомъ, чтобы ее легко было, при желаніи, раздѣлить на части, и большія произведенія, печатавшіяся въ нѣсколькихъ номерахъ, можно было бы въ концѣ года переплести въ одну книгу.

Въ „Семьи и Школѣ“ принимаютъ участіе: Е. А. Бакунина, И. А. Бѣлоусовъ, Е. Волкова, Г. П. Володина, Н. А. Гольцева, С. Г. Григорьевъ, С. Д. Дрожжинъ, П. Засодимскій, П. П. Инфантьевъ, В. О. Капелькинъ, А. А. Кизеветтеръ, С. А. Князьковъ, Н. К. Колыповъ, М. А. Круковскій, Т. Н. Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, И. И. Митропольскій, И. П. Наживинъ, Н. Новичъ, Юр. Новоселовъ, К. Д. Носиловъ, Сергій Орловскій, О. П. Рунова, С. И. Рербергъ, Р. Рубинова, В. Г. Рудневъ, П. Н. Сакулинъ, А. Серадимовичъ, В. Д. Соколовъ, П. П. Сушкинъ, Н. Д. Телешевъ, М. В. Тиличесева, В. Н. Харузина и др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за 12 книжекъ „Семьи и Школы“ и за 6 книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы“: съ доставкой и пересыпкой 3 руб. 50 коп. въ годъ. Безъ доставки въ Москву 3 руб. За границу 6 руб. Подписка на полгода 1 р. 75 к. (принимается исключительно въ редакціи). Подписка безъ доставки принимается въ Москву: въ редакціи, въ конторѣ Н. Печковской и въ книжномъ магазинѣ Н. Карбасникова. Въ редакціи имѣются комплекты журнала за прежніе годы: 1905-ый, 1906-ой, 1907-ой—по 3 руб., 1908-ой—по 5 руб. Журналъ за 1909-ый г. разошелся весь. Пробный номеръ журнала высылается изъ редакціи за три семикопеечные марки.

Гр. учителямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ, пробный номеръ высылается бесплатно.

Ивангородскіе подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцію журнала „Семья и Школа“: Москва, Гончарная ул., д. № 17.

Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ.

## Открыта подписка на 1911 годъ

ХХII г.  
издания,

на журналъ

ХХII г.  
издания.

# „ВѢСТИКЪ ВОСПИТАНІЯ“.

Журналъ ставить своею **задачею** выясненіе вопросовъ образованія и воспитанія на основахъ научной педагогики, въ духѣ общественности, демократизма и свободнаго развитія личности. Съ этою цѣлью журналъ слѣдитъ за развитіемъ педагогическихъ идей, за современнымъ состояніемъ образованія и воспитанія въ Россіи и за границей и даетъ систематические отзывы о вновь выходящихъ книгахъ по педагогикѣ, естествознанію, общественнымъ наукамъ, о дѣтскихъ журналахъ, общедоступныхъ и дѣтскихъ книгахъ и друг. Кромѣ того, въ журналѣ помѣщаются научно-популярныя статьи по различнымъ отраслямъ знанія и искусства, литературно-педагогическіе очерки, рассказы, воспоминанія и проч.

Въ журналѣ принимали участіе: д-ръ философіи В. Анри (Victor Henri), Ю. И. Ахенальдъ, А. Д. Алферовъ, проф. В. М. Арнольдъ, д-ръ Д. А. Бекарюковъ, акад. В. М. Бехтеревъ, Ю. А. Бунинъ, акад. И. А. Бунинъ, проф. А. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, Ю. А. Веселовскій, проф. Р. Ю. Вишперъ, прив.-доц. А. В. Горбуновъ, прив.-доц. С. Г. Григорьевъ, прив.-доц. А. Е. Грузинскій, А. Г. Дауге, Е. А. Звягинцевъ, акад. И. Н. Златовратскій, А. А. Ивановскій, проф. В. Н. Ивановскій, прив.-доц. Н. А. Иванцовъ, д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ, проф. И. А. Каблуковъ, проф. М. М. Ковалевскій, П. С. Коганъ, д-ръ В. В. Корсаковъ, проф. Н. М. Кулагинъ, прив.-доц. М. Ю. Лахтинъ, Е. И. Лозинскій, А. И. Лотоцкій, С. П. Мельгуновъ, проф. И. И. Мечниковъ, Н. Мироновичъ, Н. Ф. Михайловъ, Н. М. Никольскій, акад. Д. Н. Овсяніко-Куликовскій, проф. И. Г. Оршанская, проф. А. П. Павловъ, проф. А. А. Радцигъ, Г. Роковъ, С. Ф. Русова, прив.-доц. П. И. Сакулинъ, прив.-доц. Е. Д. Синицкій, Л. Д. Синицкій, С. Г. Смирновъ, Н. В. Сперанскій, прив.-доц. Б. И. Сыромятниковъ, Г. А. Фальборкъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ, Л. В. Хавкина-Гамбургеръ, В. П. Хоцровъ, В. И. Чарнолускій, Н. В. Чеховъ, кн. д. Н. Шаховской, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, д-ръ Вл. И. Яковенко, В. Е. Якушкинъ, Е. И. Янжуль, акад. И. И. Янжуль и многіе другіе.

Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ теченіе лѣтніхъ мѣсяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжкѣ журнала болѣе 20 печатныхъ листовъ.

**Подписная цѣна:** въ годъ безъ доставки 5 руб., съ доставкой и пересыпкой 6 р., въ полгода 3 р.; съ пересыпкой за границу 7 р. 50 к.; для недостаточныхъ людей цѣна въ годъ съ доставкой и безъ дост.—5 р.

**Подписка принимается:** въ конторѣ редакціи (Москва, Арбатъ, Старо-Конюшенный пер., домъ № 32), во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ и во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ.

Гг. иногородникъ просятъ обращаться прямо въ редакцію.

Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.

## ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ

(2-І ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

на ежемѣсячный иллюстрированный церковно-общественный журналъ

**„СТАРОБРЯДЧЕСКАЯ МЫСЛЬ“.**

Сотрудниками журнала состоятъ: епископъ Иннокентій, епископъ Михаилъ, Я. А. Богатенко, Л. В. Быстровъ, С. И. Быстровъ, Е. В. Воззвиженская, И. В. Галкинъ, Андрей Гордый (псевдонимъ), протоіерей о. Л. Денисовъ, И. В. Жилкинъ, Н. Д. Зенинъ, свящ. о. И. Исаичевъ, Л. Ф. Калашниковъ, профессоръ А. А. Кизеветтеръ, профессоръ С. А. Котляревскій, И. С. Логиновъ, начетчикъ И. А. Лукинъ, С. П. Мельгуновъ, И. Московскій (псевдонимъ), А. А. Пашковъ, свящ. о. В. Плотниковъ, г. Поморецъ (псевдонимъ), Е. Т. Постниковъ, А. С. Пругавинъ, И. Ф. Пучковъ, профессоръ М. Рейнеръ, И. Н. Сахаровъ, П. В. Цвѣтковъ, Л. Т. Шанскій (псевдонимъ), К. Н. Швецовъ, П. М. Шестаковъ, П. Н. Шмаковъ, начетчикъ И. В. Шураповъ и другіе.

Журналъ выходитъ ежемѣсячными книжками не менѣе 6-ти печатныхъ листовъ (96 страницъ) по слѣдующей программѣ: проповѣди и статьи богословско-философскаго и церковно-общественнаго характера, бытовые рассказы, историческая изслѣдоватія, очерки, документы и письма, статьи по народному образованію, обзоръ событий въ старообрядчествѣ (всѣхъ согласій) и виѣ его, обозрѣніе периодической печати, отзывы о новыхъ книгахъ, отвѣты на вопросы подписчиковъ, церковное пѣніе и объявленія.

Годовые подписчики получать въ видѣ бесплатнаго приложенія нигдѣ еще не печатавшійся капитальный трудъ покойнаго начетчика В. Т. Зеленкова „ВЫПИСКИ ИЗЪ СВЯТООТЕЧЕСКИХЪ И ИСТОРИЧЕСКИХЪ КНИГЪ“ чч. II и III,—книгу въ высшей степени пѣнную, важную и крайне необходимую каждому духовному лицу, а также начетчикамъ и всѣмъ интересующимся исторіей, ученiemъ и установлениями церкви—старообрядцамъ (безъ различія согласій) и не старообрядцамъ (ч. I-я этого труда, изданная въ 3000 экземплярахъ, разошлась безъ остатка).

**Подписная цѣна** на журналъ съ приложеніемъ, съ доставкой и пересылкой: на 1 г. 4 рубля, на  $\frac{1}{2}$  года 2 р. 50 к., на 1-мѣсяцъ 50 к. Подписчикъ, доставившій 10 подписокъ на журналъ, 11-й экземпляръ получаетъ бесплатно. Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ 2 руб., къ 1-му апрѣля 1 руб. и къ 1-му июля 1 руб. Плата за объявленія: за цѣлую страницу 25 р., полстраницы 15 руб.,  $\frac{1}{4}$  страницы 8 руб.,  $\frac{1}{8}$  страницы 5 рублей. Вкладныя объявленія: 1000 вкладокъ до 1 лота—15 руб., до 2 лот.—20 руб., до 3 лот.—25 руб. и т. д. За перемѣну адреса 20 коп.

Подписка на журналъ принимается: въ Москвѣ: 1) Пятницкая, д. 83, кв. 13, редакція журнала „Старообрядческая Мысль“; 2) Лубянско-Ильинская торгов. помѣщ., № 12, у Н. М. Вострякова; 3) Никольская ул., антикварн. книжный магазинъ П. Шибанова; 4) Б.-Каменщики, х. Уварова у А. В. Зайцева; 5) Моховая, 14, кв. 1-я, у Ю. Г. Топорковой. Въ С.-Петербургѣ: Апраксинъ дворъ, корпушъ Лихеячъ у П. С. Макарова. Въ Кіевѣ: Подолъ, Волжская, 17, книгоиздательство „Золотое пѣніе“. Въ Саратовѣ: 1) В. Сергиевская ул., л. Горина, у С. И. Быстрова; 2) Кузнецкая № 48 у М. И. Немурова. Въ Н.-Новгородѣ: Звѣздинка, № 11; у старообрядческаго діакона о. Артеміона Широкова. Въ Вольскѣ, Сар. губ.: Моховая ул., у старообрядческаго свящ. о. Иоанна Гриценко. Въ Хвалынскѣ, Сар. губ.: у старообрядческаго свящ. о. Иоанна Исаичева. Въ с. Балаковѣ, Самар. губ., у старообрядческаго свящ. о. Михаила Зотова. Въ Одессѣ: на Преображенской ул., № 75, учителя И. С. Логинова. Въ Запорожье-Каменскомъ, Екатерин. губ., у П. Н. Пастухова. Въ Измаїлѣ, Бесс. губ.: Екат. ул., бл. Никольской старообр. церкви у С. И. Петрова. Въ Кроне, Хер. губ.: у Е. А. Торліна. Въ п. Вилково, Бесс. губ.: у старообр. свящ. о. А. Г. Воробьевъ. Въ г. Новогеоргіевскѣ, Хер. губ.: у завѣдыв. Золотаревскими учили. Г. В. Галкина. Въ г. Богословскѣ, Моск. губ.: у В. Е. Макарова. Въ Екатеринбургѣ: Златоустовская, № 42, у А. Ф. Гусева. Въ Никополѣ, Екатериногорск. губ.: уг. Крымскъ и Почтовой ул., у М. Т. Кушнерева. Въ г. Уральскѣ: у Ф. К. Гѣшетова. Въ Оренбургѣ: Дворянскій пер., № 22, у Т. С. Лазарева. Въ г. Шадринскѣ: у М. Ф. Зарубина. Ялуторовскъ, Том. губ., с. Емуртлинское: у Я. Ф. Ряжинова. Въ г. Арамильѣ, Куб. обл.: ст. Прочноокопская, у Е. С. Богаевскаго. Въ Ессентукахъ, Терской обл., у учит. Е. Н. Шмакова.

Редакторъ-издатель В. Е. Макаровъ.

# Книгоиздательство „ПУТЬ“,

Знаменка, 11,

при ближайшемъ участіи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,  
Г. А. Рачинскаго, кн. Е. Н. Трубецкого и В. Ф. Эрна.

## Отдѣль I.

Оригинальныя произведенія.

Печатаются:

**С. Н. Булгаковъ.** „Два града“. Изслѣдованія о природѣ общественныхъ идеаловъ. Въ 2-хъ томахъ.

Полное собраніе сочиненій **И. В. Кирѣевскаго**. Въ 2-хъ том. съ пор. Подъ редакціей М. О. Гаршензона.

**Л. М. Лопатинъ.** Статьи и речи.

**В. Ф. Эрнъ.** Опыты философскіе, критическіе и полемическіе.

**Н. А. Бердяевъ.** Философія свободы.

Готовятся къ печати:

**Кн. Е. Н. Трубецкой.** В. С. Соловьевъ и его дѣло.

**С. Н. Булгаковъ.** Философія хождѣства.

## Отдѣль II.

ПЕРЕВОДЫ.

Печатается.

**Владимір Соловьевъ.**

**РОССІЯ и ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.**

РУССКАЯ ИДЕЯ,

Переводъ съ французскаго Г. А. Рачинскаго.

Готовятся къ печати.

**Венделандъ.** — Эллинистическо-римская культура въ ея отношеніи къ еврейству и христіанству.

**Зейпель.** — Хозяйственно-этическ. взгляды отцовъ церкви.

**Августинъ.** — Исповѣдь.

**Леруа.** — Догматы и критика.

**Дюшенъ.** — Исторія христіанской церкви.

## Отдѣль III.

**„РУССКІЕ МЫСЛИТЕЛИ“.**

Въ этотъ отдѣль войдетъ единій по замыслу рядъ монографій, посвященныхъ всестороннему историческому изученію какъ личности и жизни, такъ и міровоззрѣнія всѣхъ крупныхъ представителей русской мысли. Каждая монографія (въ 12—15 печатныхъ листовъ) будетъ снабжена портретомъ и библиографическими указаніями.

**Г. С. Сковорода.** — В. Ф. Эрнъ, **Ф. И. Тютчевъ.** — В. И. Ивановъ, **Н. В. Гоголь.** — В. В. Зеньковскій, **А. С. Хомяковъ.** — Н. А. Бердяевъ, **А. А. Коэловъ.** — С. А. Аскольдовъ, **О. Серап. Машкинъ.** — П. А. Флоренскій.

Въ дальнѣйшемъ предполагаются монографіи о Бухаревѣ, Соловьевѣ, кн. С. Трубецкомъ, Н. Федоровѣ, Н. Кирѣевскомъ, М. Сперанскомъ, Новиковѣ, К. Леонтьевѣ, Б. Чичеринѣ.

Издательница **М. К. Морозова.**

**30** годъ изданія ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА **1911** Г. **30** годъ изданія

# „РЕБУСЪ“ Старѣйшій въ Россіи популярно-научный ЖУРНАЛЪ

по вопросамъ спиритуализма, психизма, медіумизма и мистики.

Обзоръ и изслѣдованіе малоизвѣстныхъ теорій и фактовъ: телепатію, ясновидѣніе, чтенія мыслей, раздвоеніе личности, одержанія, сочинамбулизма, животнаго магнетизма, медіумизма, гипнотизма, явленій спиритуализма и другихъ оккультныхъ явленій и фактовъ.)

## Спорные вопросы науки и жизни.

За прошлые года въ журналь, въ числѣ прочихъ статей, были напечатаны: проф. X. Майерса.—„О послѣсмертномъ существованіи“ и „Приживленные призраки“; проф. А. Бутлерова.—„Статьи по медіумизму“; А. Аксакова.—„Анимизмъ и спиритизмъ“; проф. Н. Вайнера.—„Фотографія невидимой руки“; А. Дассье.—„Позитивизмъ въ области спиритуализма“; проф. Ш. Рише.—„Слѣдуетъ ли изучать спиритизмъ?“; д-ра Ж. Максвелла.—„Феномены психизма“; проф. Ч. Ломброзо.—„Непокойные дома“; А. Шоненгаузера.—„О духо-видѣніи“; д-ра Лю-Преля.—„Душа, какъ организующее начало“ и „Магія, какъ естествознаніе“; М. Сабуровой.—„Смерть—только метаморфоза“; проф. Шарко.—„О сомнамбулизмѣ и гипнотизмѣ“; д-ра Охоровича.—„Лекціи о животномъ магнетизмѣ“; Руксель.—„Спиритизмъ и оккультизмъ“; А. Уоллеса.—„Духовный дарвинизмъ“; проф. В. Крукса.—„Объ относительности человѣческихъ знаній“; П. Чистякова.—„Исторія волшебства и суевѣрій“; „Кантъ, какъ спиритуалистъ“; „Радій и ясновидѣніе“; „Чтеніе мыслей“; „Магія—quadrivium“; „Тайны общества и франкъ-масонство“; д-ра Примса.—„Множественность человѣческой личности“; Ст. Мозеса.—„Ученіе духовъ соціальное, религіозное и этическое“; А. Колтина.—„Догматы христіанской церкви съ точки зрѣнія спиритизма“; Губалже.—„Метемпсихозъ (перевоплощеніе)“; проф. В. Джессса.—„Отчетъ о проявленіи духа д-ра Р. Ходжсона“ и др.; затѣмъ сообщенія о работахъ русскаго спиритуалистического общества, лондонскаго общества психическихъ изслѣдований и др.

Выходитъ не менѣе 2-хъ разъ въ мѣсяцъ выпусками отъ одного до 3-хъ печатныхъ листовъ. Статьи по мѣрѣ надобности сопровождаются пояснительными чёртежами, рисунками и портретами.

Помѣщаются отзывы о новыхъ и старыхъ книгахъ; совѣты, развязенія и отвѣты редакціи на запросы и письма подписчиковъ. Въ литературномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться повѣсти, рассказы, и новеллы, соотвѣтствующіе направленію журнала.

**Подписная цѣна:** въ Россіи: на годъ 5 руб., на  $\frac{1}{2}$  года 3 руб.  
За границу на годъ 6 р., на  $\frac{1}{2}$  года 3 р. 50 к.

Одѣнъльный номеръ въ продажѣ 25 к. (можно высылать почтовыми марками).

**Подписка принимается:** въ Москвѣ: въ редакціи журнала — Арбатъ, домъ Толстого, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ въ Россіи.

Ред.-Изд. П. А. Чистяковъ.

## ГОДЪ ВТОРОЙ.

Открыта подписка на 1911 годъ на журналъ

**ПСИХОТЕРАПІЯ.**

**Обозрѣніе вопросовъ психического лѣченія и прикладной  
психологии,**

журналъ, издаваемый при участіи М. М. Асатіани, А. Н. Бернштейна, Ю. В. Каннабиха, И. Е. Осипова, подъ редакціей Н. А. Вырубова.

Журналъ выходитъ шестью книгами въ годъ, не менѣе трехъ листовъ каждая. Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой четыре рубля, за газину—пять рублей. Цѣна отдельной книжки 90 коп. Подписка принимается въ конторѣ редакціи „ПСИХОТЕРАПІИ“: Москва, Тверская, 68. Телеф. 108-41.

Статьи въ заказныхъ бандероляхъ просятъ направлять по адресу редакціи. Авторы поимѣшаемыхъ въ журналѣ оригинальныхъ статей получаютъ бесплатно 25 оттисковъ. О каждой книгѣ, присланной въ редакцію, будетъ заявлено въ ближайшей книжкѣ журнала.

Открыта подписка на 1911 годъ  
на еженедѣльную общественно-педагогическую газету

**ШКОЛА и ЖИЗНЬ**  
съ ежемѣсячными приложеніями.

Въ газетѣ принятъ участіе въ числѣ прочихъ, слѣдующія лица: проф. М. М. Алексѣенко, Х. Д. Алчевская, акад. В. М. Бехтеревъ, проф. И. И. Боргманъ, проф. В. А. Вагнеръ, В. П. Вахтеровъ, акад. В. И. Вернадскій, В. А. Гердъ, проф. Н. А. Гредескуль, проф. Д. Д. Гриммъ, Я. Я. Гуревичъ, Е. А. Звягинцевъ, проф. П. Ф. Каптеревъ, проф. М. Я. Капустинъ, проф. И. И. Карбевъ, проф. М. М. Ковалевскій, акад. А. Ф. Кони, проф. Н. Н. Ланге, проф. И. В. Лучицкій, проф. А. А. Мануйловъ, П. И. Милюковъ, проф. А. П. Нечаевъ, акад. Д. Н. Овсяніко-Кудиковскій, Ф. Ф. Ольденбургъ, А. Н. Острогорскій, А. Б. Петрищевъ, И. И. Петрункевичъ, А. С. Пругавинъ, Ф. И. Родичевъ, Н. А. Рубакинъ, М. А. Стаковичъ, Д. И. Тихомировъ, графъ И. И. Толстой, проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. Чарнолускій, проф. Г. И. Челпановъ, Н. В. Чеховъ, акад. И. И. Янжуль и многіе другіе,—подъ общей редакціей Г. А. Фальборка.

Изъ иностраннѣй ученыхъ, между прочимиъ, обѣщаля свое участіе въ газетѣ слѣдующія лица: проф. Рене Вормсъ, Шарль Жидъ, известный французскій педагогъ Бюссонъ, де-Гревъ и др.

Редакція газеты имѣетъ корреспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперіи и специальныхъ корреспондентовъ въ Гос. Совѣтѣ и Гос. Думѣ.

**Подписная цѣна:**

На годъ. На 6 м. На 3 м.

Съ доставкой въ Петербургѣ и пересылкой  
въ города Имперіи . . . . . 6 руб. 3 руб. 2 руб.

Для учащихъ въ начальныхъ городскихъ училищахъ допускается разсрочка  
по 1 р. за каждые 2 мѣсяца.

Подписка и объявленіе принимаются въ Главной Конторѣ, Спб., Кабинет-  
ская, д. Губернскаго Земства, № 18.

Редакторъ Г. А. Фальборкъ.

Издатели: { Н. В. Мѣшковъ.  
                          Г. А. Фальборкъ.

# ВѢСТИНИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

Выходитъ 24 раза въ годъ отдельными выпусками, не менѣе 24 стр. каждый,  
подъ редакціей приват-доцента В. Ф. Кагана.

**Программа журнала:** оригинальныя и переводныя статьи изъ области физики и элементарной математики. Статьи, посвященныя вопросамъ преподаванія математики и физики. Опыты и приборы. Научная хроника. Разныя извѣстія. Математическія мелочи. Темы для сотрудниковъ. Задачи для решенія. Решенія предложенныхъ задачъ съ фамиліями решившихъ. Упражненія для учениковъ. Задачи на премію. Библиографический отдѣлъ: обзоръ специальныхъ журналовъ; замѣтки и рецензіи о новыхъ книгахъ.

Статьи составляются настолько популярно, насколько это возможно безъ ущерба для научной стороны дѣла.

**Условія подписки:** Подписная цѣна съ пересылкой: за годъ **6** руб., за полгода—**3** руб. Учителя и учительницы низшихъ училишъ и всѣ учащіеся, выписывающіе журналъ непосредственно изъ конторы редакціи, платятъ за годъ **4** руб., за полугодіе **2** руб. Допускается рассрочка подписной платы по соглашенію съ конторой редакціи. Книгопродавцамъ **5%** уступки.

Журналъ за прошлые годы по 2 р. 50 к., а учащимся и книгопродавцамъ по 2 р. за семестръ. Отдельные номера текущаго семестра по 30 к., прошлыхъ семестровъ по 25 коп.

Адресъ для корреспонд.: Одесса. Въ редакцію „Вѣстника Опытной Физики“.

## ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ НА

# „Вопросы Права“

журналъ научной юриспруденціи, издаваемый при ближайшемъ участіи:

А. С. Алексеева, А. Э. Вормса, П. В. Гидулянова, Б. А. Кистяковскаго,  
И. А. Кистяковскаго, С. А. Котляревскаго, П. И. Новгородцева, Г. С.  
Фельдштейна и А. Л. Форштетера.

До сихъ поръ выражали согласіе на сотрудничество слѣдующія лица:

А. Л. Байковъ, В. Н. Бенешевичъ, М. П. Бобинъ, П. М. Богаевскій, А. А. Боровой, М. Н. Гернетъ, А. В. Горбуновъ, В. М. Гордонъ, В. Э. Грабарь, Г. В. Демченко, Н. В. Давыдовъ, Е. Н. Ефимовъ, А. И. Елистратовъ, В. Б. Ельяшевичъ, А. А. Жижленко, А. А. Жилинъ, А. В. Завадскій, М. Д. Загряцкій, И. А. Ильинъ, В. Л. Исаченко, Гр. Л. А. Комаровскій, Ф. Ф. Ко-кошевъ, В. А. Краснокутскій, П. И. Люблинскій, Ф. И. Леонтовичъ, Н. А. Максимейко, В. С. Малченко, С. П. Мокринскій, В. М. Нечаевъ, Н. И. Палленко, М. Я. Цергаментъ, А. А. Піонтковскій, С. В. Познышевъ, І. А. Покровскій, Н. Н. Полянскій, Н. Н. Розинъ, С. Е. Сабининъ, Е. Е. Спекторскій, Б. И. Сыромятниковъ, Л. Я. Тауберъ, Ф. В. Тарацовскій, Е. Н. Томниковскій, И. Н. Трепицынъ, князь Е. Н. Трубецкой, В. А. Удинцевъ, А. Н. Фатѣевъ, А. Н. Филипповъ, Б. Н. Фрезе, В. М. Хвостовъ, И. И. Чистяковъ, Л. В. Шалландъ, Г. Ф. Шершеневичъ, С. А. Шумаковъ, А. С. Ященко и др.

Журналъ **Вопросы права** выходитъ четыре раза въ годъ книгами около десяти листовъ: въ февралѣ, маѣ, октябрѣ и декабрѣ.

**Подписная цѣна** въ годъ **6** рублей съ пересылкою и доставкою.

Цѣна отдельной книги **2** руб.

Адресъ редакціи: Москва, Калошинъ пер., д. № 10.

Редакторъ-издатель Г. С. Фельдштейнъ.

## ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

**УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ**

**ИМПЕРАТОРСКАГО Казанского Университета**  
на 1911 годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ заключаются:

- I. Отдѣль Наукъ.
- II. Отдѣль критики и библіографіи.
- III. Университетская лѣтопись.

IV. Приложения: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей, памятники историческіе и литературныя, съ научными комментаріями, и памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученые Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе 13 листовъ, не считая извлечений изъ протоколовъ и особыхъ приложений.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями съ пересылкою 7 р. Подпись принимается въ Правленіи Университета.

Редакторъ А. Піонтковскій.

Годъ изданія сорокъ шестой.

**„Астраханскій Листокъ“**

будетъ выходить въ 1910 году подъ прежней редакціей и при томъ же составѣ постоянныхъ сотрудниковъ.

Объявленія изъ губерній: Нижегор., Казанск., Симбирск., Самарск. и Сарат. и изъ Закаспійск. края и Кавказа, а также объявленія казенныя, балкірск. конторъ, жел. дорогъ и газетныхъ принимаются непосредственно конторою редакціи (Мало-Демид., соб. д.), вѣрже прочія исключительно центральною конторою Л. и Э. Метцль и К° (Москва, Мясницк., д. Сытова). Плата за объявленія со строки петита: передъ текстомъ 20 коп., послѣ текста 10 коп.

Подписная цѣна съ пересылкою:

1 годъ—7 руб. 50 коп.,  $\frac{1}{2}$  года—3 руб. 75 коп., 3 мѣс.—2 руб. — коп.,  
1 мѣс.—1 руб.

Редакторъ-издатель В. И. Склабинскій.

# ВѢСНИКЪ ЕВРОПЫ,

издаваемый **М. М. Ковалевскимъ**, подъ редакціей **К. К. Арсеньева**, при ближайшемъ участіи: И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузьмина - Караваева, Д. Н. Овсянико - Куликовскаго, А. С. Посникова, М. А. Славинскаго, Л. З. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.

Въ 1911 г. журналъ такъ же, какъ и въ 1909 и 1910 гг., кромѣ прежнихъ отдѣловъ будетъ заключать обозрѣніе провинціальной жизни, обзоры новыхъ явлений въ мірѣ науки, литературы, искусства и постоянныя корреспонденціи изъ главныхъ центровъ Запада. Въ журналь будуть помѣщаться снимки съ портретовъ общественныхъ дѣятелей и художественные репродукціи по отдѣлу искусствъ.

## ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ.	На $\frac{1}{2}$ года.	На $\frac{1}{4}$ года.
Безъ доставки въ СПб. и Москвѣ .	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.
Съ доставкой въ СПб. и Москвѣ .	16 "	8 "	4 "
Съ пересылкой . . . . .	17 "	8 " 50 "	4 " 25 "
За границу . . . . .	19 "	9 " 50 "	4 " 75 "

**Подписка принимается:** 1) въ конторахъ журнала: въ Спб., Моховая, 37 (телеф. 74 — 51), въ Москвѣ, Б. Никитская, 5 (телеф. 57 — 86), въ Одессѣ, Софиевская, 23, 2) во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и 3) во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи.

## ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г.

(XIX-й годъ изданія.)

на ежемѣсячный литературный и научный журналъ

# Русское Искусство,

издаваемый подъ редакціей Вл. Г. КОРОЛЕНКО

и при ближайшемъ участіи: Н. Ф. Анненскаго, А. Г. Горнфельда, Дюноео, С. Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ - Писарева, П. В. Мокіевскаго, В. А. Мицотина, Ф. Д. Крюкова, А. В. Пѣшехонова, А. Б. Петрищева, Н. С. Русанова (Н. Е. Кудрина), А. Е. Рѣдько и П. Ф. Якубовича (Л. Мельшина).

**Подписная цѣна** съ дост. и перес. годъ — 9 р.; 6 мѣс.— 4 р. 50 к.; 4 мѣс.— 3 р.; 1 мѣс.— 75 к. Безъ доставки: годъ— 8 р.; 6 мѣс.— 4 р. За границу: годъ— 12 р.; 6 мѣс.— 6 р.; 1 мѣс.— 1 р.

**Подписка принимается:** Въ С.-Петербургѣ — въ конторѣ журнала, Баскова ул., 9. Въ Москвѣ — въ отдѣленіи конторы, Никитскій бульваръ, д. 19. Въ Одессѣ — въ книжномъ магазинѣ „Одесскія Новости“, Дерибасовская, 20, въ магазинѣ „Трудъ“, Дерибасовская ул., д. № 25. Подписка отъ книжныхъ магазиновъ принимается только на цѣлый годъ и дѣлается уступка 40 к. съ экземпляра.

Въ 1911 году будетъ продолжаться (35-й годъ) изданіе  
ЖУРНАЛА

## „ИЗВѢСТИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ“.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцы книжками отъ 10 до 15 печ. листовъ и раздѣляется на два отдѣла, по 12 номеровъ въ каждомъ: **общій отдѣлъ**, посвященный разработкѣ вопросовъ городской жизни въ Россіи и за границей, и отдѣлъ **официально-справочный**. Цѣна журнала съ пересылкой во всѣ города Россіи:

	Отдѣлъ общий	Отдѣлъ оф.-справ.	Оба отдѣла.
За 12 мѣсяцевъ	4 руб. 40 коп.	4 руб. 40 коп.	8 руб. — к.
” 6 ”	2 ” 20 ”	2 ” 20 ”	4 ” — ”
” 3 ”	1 ” 20 ”	1 ” 20 ”	2 ” — ”
” 1 ”	— ” 40 ”	— ” 40 ”	80 ”

Московскимъ Городскимъ Управлениемъ издается ежемѣсячный журналъ „Боевицъ“, посвященный вопросамъ боенскаго дѣла.

Цѣна журнала 3 р. за годъ и 2 р. за 6 мѣсяцевъ, съ пересылкой и доставкой.

### ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Москва, Городская Управа, Воскресенск. площадь, зданіе Думы. Телеф. 262—91.

Открыта подписка на 1911 годъ  
на ЖУРНАЛЪ

## ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.

(5-й годъ изданія).

### ОРГАНЪ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЬСТВА.

Выходитъ 20 разъ въ годъ книжками отъ 2—4 листовъ.

Журналъ ставить своей основной задачей: 1) Содѣйствовать обновленію нашей школы на началахъ, диктуемыхъ современной научной педагогикой и запросами русской жизни; 2) содѣйствовать объединенію работниковъ по народному образованію для достиженія наибольшей успѣшности въ ихъ работѣ. Съ этой целью журналъ слѣдитъ за развитіемъ новыхъ педагогическихъ идей какъ у насъ въ Россіи, такъ и на Западѣ, и даетъ всякаго рода справки и указанія практическаго характера по вопросамъ школьнаго и внѣшкольного образования.

Подписная цѣна на журналъ 2 р. 50 к. въ годъ, на полгода—1 р. 50 к.,  
на 3 мѣсяца—75 к.

### Цѣна отдѣльной книжки 15 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Поляпка, Успенский переулокъ, домъ 8, кв. 2.

Кромѣ того, подписка по той же цѣнѣ принимается во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Российской имперіи.

Редакторы-издатели: Н. В. Тулуповъ и П. М. Шестаковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910—11 годъ  
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

# „СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ“.

(годъ издания второй).

Издание А. Н. Коншина. Подъ редакціей И. Горбунова-Посадова.

Журналъ „Свободное Воспитаніе“ имѣть своею цѣлью разработку вопросовъ о свободномъ воспитаніи и образованіи, т.-е. такомъ воспитаніи и образованіи, которое основано на самодѣятельности, на удовлетвореніи свободныхъ запросовъ дѣтей и юношества и на производительномъ труде, какъ необходимой основѣ жизни.

Въ связи съ основной задачей журнала стоять слѣдующія задачи: 1) разработка вопроса о реформѣ личной, семейной и общественной жизни въ смыслѣ измѣненія самыkhъ условій воспитанія и 2) содѣйствіе защитѣ дѣтей отъ жестокости и эксплоатации.

## ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Статьи, очерки и корреспонденціи по вопросамъ умственнаго, нравственнаго и физического воспитанія, образования и самообразования. 2) Статьи, очерки и рассказы изъ семейной, школьнай и общественной жизни съ точки зрения интересовъ воспитанія и образования. 3) Статьи о материнствѣ и воспитаніи ребенка въ первые годы жизни. 4) Статьи и очерки по вопросамъ защиты дѣтей отъ жестокости и эксплоатации. 5) Статьи о свободно-образовательныхъ начинаніяхъ для трудового населения. 6) Статьи и очерки по ручному труду (земледѣльческому, ремесленному и т. д.). 7) Очерки и статьи по природовѣданію, устройству экскурсій и т. д. 8) Очерки по вопросамъ гигиены дѣтства и юношества. 9) „Изъ книги и жизни“. Обзоръ журналовъ, книгъ и газетъ по вопросамъ воспитанія и образования. 10) Переписка между родителями, воспитателями, учителями и вообще всѣми интересующимися вопросами реформы воспитанія и образования. 11) Вопросы и отвѣты редакціи и читателей. 12) Библиографія.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Е. М. Бемъ, И. А. Беневскій, д-ръ Г. М. Беркенгеймъ, Л. А. Бессель, П. И. Бирюковъ, Ш. Н. Бирюкова, Е. И. Булгакова, д-ръ А. С. Буткевичъ, проф. Ю. И. Вагнеръ, В. М. Величкина, К. Н. Вентцель, С. А. Венцтель, М. В. Веселовская, Ю. А. Веселовскій, А. М. Вихровъ, Е. Е. Горбунова, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, А. А. Громбахъ, Н. Н. Гусевъ, Е. А. Дунаева, С. Н. Дурылинъ, И. Н. Живаго, А. У. Зеленко, А. С. Зоновъ, А. А. Зубрилинъ, д-ръ Н. К. Кабановъ, О. В. Кайданова, Е. А. Караваева, акад. И. А. Касаткинъ, М. В. Кистяковская, М. М. Клечковскій, А. Н. Коншинъ, П. В. Кротковъ, С. А. Левицкій, В. И. Лукьянская, Ю. И. Менжинская, К. А. Михайлова, И. П. Шакашидзе, Сергѣй Орловскій, А. П. Печковскій, Е. И. Поповъ, С. А. Первухинъ, А. Б. Петрищевъ, В. В. Петровъ, С. А. Порѣцкій, А. С. Пругавинъ, А. Радченко, Ф. А. Рау, д-ръ В. В. Рахмановъ, Н. А. Рубакинъ, проф. И. Е. Рѣшинъ, М. Х. Свентицкая, И. М. Соловьевъ, Е. К. Соломинъ, В. М. Сухова, Е. А. Фортунатовъ, А. М. Хирляковъ, С. Г. Чефрановъ, Е. И. Чижовъ, С. Т. Шадкій, д-ръ А. Шкарванъ, Л. К. Шлегерь и другие.

Подписной годъ считается съ 1 сентября 1910 г. по 1 сентября 1911 г.

Подписная цѣна: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб., на полгода—1 р. 50 к., безъ доставки въ Москву 2 р. 50 к., для сельскихъ учителей съ доставкой и пересылкой на годъ 2 р., на полгода—1 р. Подписка принимается въ Москвѣ: 1) въ конторѣ редакціи „Свободного Воспитанія“, Дѣвичье поле, Трубецкой пер., № 10. 2) въ книжн. магазинѣ „Посре. нѣкъ“ (Петровский линія) и 3) въ конторѣ И. И. Печковской (Петровской линіи).—Въ другихъ конторахъ и книжныхъ магазинахъ, принимающихъ подписку на журналы.